

*Новый
Журнал*

118

*THE NEW
REVIEW*

THE
New Review
Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

Тридцать четвертый год издания

РЕДАКЦИЯ:

*Г. Андреев (Хомяков), Р. Гуль (главный редактор), Л. Ржеевский
Секретарь редакции: Зоя Юрьева*

NEW REVIEW, March 1975

Quarterly No. 118

2700 Broadway, New York, N.Y. 10025

Subscription Price \$20 — for one year

Publisher: New Review Inc.

*Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.*

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Ю. Мальцев</i> — Оперируемый	5
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	11
<i>В. Шаламов</i> — Домино	13
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	23
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	26
<i>И. Елагин</i> — Стихи	36
<i>Л. Ржевский</i> — Полсантиметра от Воркуты	39
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	55
<i>Г. Андреев</i> — Загадка Чехова	57
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	72
<i>Б. Нарциссов</i> — Письма о поэзии	73
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	84
<i>А. Небольсин</i> — Владимир Вейдле	85
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	92
<i>М. Дубинин</i> — «Меркантильные обстоятельства» Пушкина	94

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Письма И. Бунина к Ф. Степуну</i>	120
<i>Т. Ходорович</i> — Что делают с Л. И. Плющем в психбольнице	129
<i>С. Крыжановский</i> — В. К. Плеве	137
<i>Н. Резникова</i> — А. Ремизов о себе	145
<i>В. Алексеев</i> — Московские протодиаконы	155
<i>А. Рапопорт</i> — В берлинском торгпредстве	162

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>В. Вейдле</i> — Поздний ропот	182
<i>М. Агурский</i> — Неонацистская опасность в СССР	199
<i>Ф. Силницкий</i> — Ленин и боротьбисты	228
<i>О. Ильинский</i> — Неудачные обобщения	236
<i>В. Варшавский</i> — Уроки Нюрнбергского процесса	243
<i>В. Григорьев</i> — Обращение к мировой общественности . .	261

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>О. Иртышева</i> — Солженицын в Стокгольме	270
--	-----

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

 341

ОПЕРИРУЕМЫЙ

Я лежал на операционном столе и слышал над собой негромкие голоса.

— Наркоз?

— Включаю.

Сразу зазвучала приятная баюкающая музыка, и мысли мои стали уноситься далеко, далеко. Станный наркоз, подумал я. Но музыка звучала не очень громко и я по-прежнему отчетливо различал голоса.

— Ну-с, начнем. Скальпель! — потребовал первый голос. Он показался мне знакомым.

Мой живот потерли чем-то мягким, запахло спиртом. Потом я ощутил щекочущее прикосновение лезвия и, замирая, осознал, что внутренности мои раскрываются. Видеть я этого не мог, так как на лице у меня лежала маска.

— Сначала удалим у него собственное мнение, — услышал я прежний голос, и узнал его. Это был голос моего школьного директора. Когда-то в детстве я узнавал его безошибочно даже на большом расстоянии: например, если я курил в уборной, а в другом конце коридора появлялся директор, властным голосом отдавая распоряжения, мое ухо мгновенно это улавливало, и я, слыша этот голос, делал для себя вывод о степени опасности.

Я с содроганием почувствовал, как холодная сталь инструмента прикоснулась к моим внутренностям.

— Нет, куда же вы! — рассердился директор. — Это же печень. Чему только вас учат! Оно правее... Вот, правильно. Понимаю, его, действительно, трудно сразу определить, потому что оно у всех разное и часто принимает такую замысловатую форму, что делает нашу задачу подчас невероятно трудной. И все же это не должно нас обескураживать. Вот, видите,

оно у него слегка покрыто уже слоем жира, а это значительно облегчает нам дело.

Последнее замечание показалось мне оскорбительным и я собирался уже возразить ему, как вдруг меня пронзила острые боль: что-то воткнули мне во внутренности и загоняли все глубже и глубже. Боль стала нестерпимой. У меня перехватило дыхание, на лбу выступила испарина. Я хотел закричать, но не смог. Хотел отчаянно задрыгать ногами, но члены онемели и не повиновались. Наконец, я услышал:

— Хорошо, готово. Теперь все пойдет гораздо легче.

Что-то вынули из меня и я, действительно, сразу почувствовал облегчение. Боль прекратилась, меня охватила приятная апатия, успокоенность.

Я услышал приглушенные шаги, какое-то движение и понял, что подошел кто-то новый.

— А как у него приспособляемость? — спросил директор.

— Средняя, — ответил новый голос. Это был низкий раскатистый бас, и он мне тоже показался знакомым. — Но, к сожалению, тут мы ничем не можем помочь. Она развивается постепенно с годами, и придется положиться во всем на природу.

В это время зазвучала новая музыка. Чудесный женский голос пел нежно и печально. Я заслушался и пропустил часть диалога.

— ...ну, а в крайнем случае, прибавим ему оклад, и стерпит, — громко сказал бас, заглушая пение. И я понял, что это был голос моего первого служебного начальника, у которого я работал десять лет назад.

В конце концов, они меня оперируют или лечат разговорами, подумал я с раздражением. Раздражение усиливалось еще тем, что с этим начальственным басом связывались у меня весьма неприятные переживания. Сейчас, лежа в темноте под маской, я не мог в точности вспомнить, в чем было дело: то ли он принудил меня пойти на какую-то подлость, то ли совершил что-то подлое по отношению ко мне, но слушать мне его было неприятно.

Чья-то рука в резиновой перчатке стала ощупывать мои внутренности. Я почувствовал тупую боль.

— Реагирует? — спросил бас.

— Да, морщится, — ответил кто-то.

— А ну, пощупайте его оклад.

Рука продолжала щупать что-то у меня внутри. Боли я не почувствовал, но все же, на всякий случай, снова поморгнул.

— Ну, это он хитрит. С таким окладом он вполне может прожить еще лет десять, — сказал бас. — Вот, посмотрите, я захватил с собой старый рентгеновский снимок. Смотрите, здесь отчетливо видно, каким был его оклад десять лет назад. Вот. И посмотрите, какой теперь, насколько вырос. Видите? На целых сорок рублей.

Я его ненавидел.

— Дорогу дамам! — внезапно воскликнул бас, и по тону его я догадался, что он галантно улыбается. До меня донесся запах помады, пудры и духов — комбинация, составляющая довольно едкий букет — и я услышал взволнованное дыхание, пахнущее дешевыми конфетами. А может, и не взволнованное вовсе, а просто прерывистое после быстрой ходьбы.

— Дорогу, дорогу! Дорогие дамы, вам карты в руки. То, что по силам вам, нам и не снилось, — рассыпался в любезностях бас, который стал не таким раскатистым как прежде, и вообще походил теперь больше на тенор.

— Приступайте! — строго приказал кто-то, и сразу же над самым моим ухом послышался кокетливый женский смех. При этом опять запахло дешевыми конфетами. Маленькие холодные ручки стали ощупывать мои внутренности, пробираясь все выше и выше, к самому сердцу. Ручки были с длинными ногтями (и наверно, с ярким маникюром, как представилось мне) и при каждом неосторожном движении сильно царапали. Смех на мгновенье оборвался, но потом вдруг раздался притворно испуганный визг и новый взрыв смеха, громкого, вульгарного, фальшивого и бесстыдного. Я вспомнил этот смех (хоть и давно уж это было) и покраснел от стыда. А холодные

ручки уже подбирались к самому сердцу и неожиданно сжали его в своих маленьких цепких тисках. Сердце защемило. Я стал задыхаться. В ушах звенело, а женский смех гремел и отдавался в них. Хохотал все время как будто один и тот же голос, и в то же время я различал в нем много голосов, они двоились, перебивали друг друга, путались и звенели. И все они были мне знакомы. Всех я их знал. Я задыхался. Было нестерпимо, только не знаю отчего — от смеха ли, оттого ли что сердце холодело. Внезапно эти маленькие ручки сжали сердце так сильно, что оно хлюпнуло, словно мокрая губка, и начали тащить его вон. Боль стала невыносимой. Я потерял сознание...

Когда я очнулся, вокруг стоял невозможный шум и гул (или может, это только у меня в ушах гудело?) Внутри все горело и ныло болью. О, когда ж это все кончится? — подумал я. — Я не могу больше. Если бы я знал, я бы лучше согласился умереть, но не пошел бы на эту операцию. Больше нет сил терпеть.

Сквозь гул и шум доносились чьи-то голоса, какие-то неразборчивые выкрики. Да я и не прислушивался. До того ли мне было. Один только крик до меня донесся отчетливо:

— Дурак, а еще шляпу надел! — то был нахал, который толкнул меня на днях в автобусе. Когда я возмутился, он мне именно так ответил.

Потом неожиданно совсем рядом кто-то сказал:

— ...сейчас поищем.

Внутри принялись ковырять чем-то твердым, и боль стала сильнее.

— Вот, что-то прощупывается. Далеко запрятал. В самом укромном уголке, между первым и вторым ребром. Это у него тайничок здесь. *Secretum animae*. То есть тайник души, по просту говоря. Вот смотрите, капитан.

Что-то с хрустом оторвали у меня и извлекли наружу.

— Что скажете, капитан?

— Гм. Что ж, можно осудить по статье 2865. От семи до десяти лет, — сказал другой голос. Мне захотелось спросить, что это за статья. Но я понял, что мне не ответят. Мне этого

знать, наверное, не полагалось. На то и номер придуман.

— Сейчас поищем еще, — сказал первый голос.

И снова стали ковырять чем-то твердым. При каждом прикосновении боль усиливалась. Хотя, казалось, сильней уже некуда. А то место, откуда сейчас оторвали что-то, кровоточило. Я это чувствовал. И горело, и дергало болью. Что им еще от меня надо? Больше не могу! Наверно, сейчас умру. Свыше сил моих эта боль!!! Боже! Не надо! Больно!! И снова, опять сильнее! Больно!!! И сколько же можно терпеть ее, эту боль! Ой! Нет, нет уже сил! Это невыносимо! Больно!!! Что это? Ох! Только не это! Только не касаться этого места, кровоточащего! Ох!! Больно!!!!...

Я снова потерял сознание.

Когда я очнулся, стояла странная тишина. Острой боли уже не было. Только все ныло внутри. Голова стала тяжелой и мысли еле-еле ворочались апатично. Мне было уже все равно.

— Можно зашивать? — услышал я голос.

— Да. Только почистите вот тут, на стенках. Кажется, осталось еще немножко иллюзий.

Послышались скребущие звуки, как будто чистили лошадь, и я почувствовал, что мне чем-то царапают бока изнутри. И по тому, как это делали, я понял, что я внутри совсем пустой. Полый: ребра, обтянутые кожей. Тот, кто царапал, сделал неловкое движение и слегка встряхнул меня. Я издал глухой звук, как будто прикоснулись к плохо натянутому барабану. А скрести продолжали. Меня затошнило...

Потом я погрузился в какое-то странное полузыбтье. Я чувствовал, что со мною еще что-то делают, и в то же время как бы не совсем это сознавал. Я слышал голоса, но не старался вникать.

Вдруг с меня сняли маску, и в глаза ударили ослепительный свет. Я зажмурился, затем снова открыл глаза. Я словно очнулся от забытья и никак не мог понять, что было бредом, а что явью. Человек в белой шапочке, с лицом, закрытым марлей до самых глаз, снимая резиновые перчатки, сказал:

— Ну, вот и все. Можно увозить.

Ко мне подошли два санитара, тоже в белых шапочках и халатах, и стали меня осторожно поднимать. Они положили меня на тележку. Только к чему теперь это все? Вывезли из операционной и покатили по длинному коридору. Куда? Зачем? Я даже не хотел этого понимать. Мне было все равно. Я лежал и смотрел, как плывет надо мной белый потолок и белые стены, белые стены, белые стены, белые стены, белые стены...

Юрий Мальцев



Лунный луч и горсточка пыли
Иль точней — уголек в золе.
Все мы пишем, чтоб нас не забыли,
Чтоб оставить след на земле.

В конце двадцатого века
Ремесло поэта смешно.

Этот склад авангардных затей,
Эти поиски новых путей
С белой палкой, как нищий калека.
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...»
Так сейчас не напишет никто.

Современники, братья поэты,
Сколько б ни было нас, — хоть сто, —
Нет меж нас ни звезды, ни кометы
Все мы канем в медлительность Леты
На земле не оставив следа.



Я благодарна небу и судьбе
За то, что я так много лет
Живу на свете
Всегда с надеждой ожидая завтра
И не жалея о вчера,
За то, что зимний вечер жизни
Принес с собой мне лампу Аладина —
Ту лампу, что своим волшебным светом
Рассеивает мрак, и страх, и скуку,
И превращает будни в праздник,
В очарование и торжество, —
Как будто для меня нежданно наступило
Годами длящееся Рождество.



...Королевская мантия...
Лорелея в лунных волнах...

Надоели мне анти-я,
Анти-я, что живут в зеркалах
И в стихах моих и грехах,
Ну, понятно и в добрых делах,
тех, что я, по ошибке, творю.

Лишь под утро встречая зарю
Расцветающую за окном,
Меж полу пробужденьем и сном,
Возвращаясь в страну дневную,
Я не больше пяти минут
Настоящая.

А потом --
Ничего не поделаешь тут —
Жизнь идет своим чередом
Превращая меня в другую
Иль точнее во многих других
Анти-я мне почти враждебных,
Анти-я обманно волшебных,
Лженесносных — а сколько их!
До чего же они, до чего же
На меня ничуть не похожи!

Ирина Одоевцева, 1975

ДОМИНО

Санитары свели меня с площадки десятичных весов. Могучие холодные руки не давали мне опуститься на пол.

— Сколько? — крикнул врач, со стуком макая перо в чернильницу-непроливайку.

— Сорок восемь.

Меня уложили на носилки. Мой рост — сто восемьдесят сантиметров, мой нормальный вес — восемьдесят килограммов. Вес костей — сорок два процента общего веса — тридцать два килограмма. В этот ледяной вечер у меня осталось шестьдесят пять килограммов, ровно пуд всего: кожи, мяса, внутренностей и мозга. Я не мог бы высчитать все это тогда, но я смутно понимал, что все это делает врач, глядящий на меня исподлобья.

Врач отпер замок стола, выдвинул ящик, бережно достал термометр, потом наклонился надо мной и осторожно заложил градусник в мою левую подмышечную ямку. Тотчас же один из санитаров прижал мою руку к груди, а второй санитар обхватил обеими руками запястье моей правой руки. Эти заученные, отработанные движения стали мне ясны позднее — во всей больнице на сотню коек был один термометр. Стекляшка изменила свою ценность, свой масштаб — ее берегли, как драгоценность. Только тяжелым и вновь поступающим больным разрешалось измерять температуру этим инструментом. Температура выздоравливающих записывалась «по пульсу» и только в случаях сомнения, отпирали ящик стола.

Часы-ходики отщелкали десять минут, врач осторожно вынул термометр, руки санитаров разжались.

— Тридцать четыре и три, — сказал врач. — Ты можешь отвечать?

Я показал глазами — «могу». Я берег силы. Слова выго-

варивались медленно и трудно — это было вроде перевода с иностранного языка. Я все забыл. Я отвык вспоминать. Запись истории болезни кончилась, и санитары легко подняли носилки, на которых я лежал навзничь.

— В шестую, — сказал врач. — Поближе к печке.

Меня положили на топчан у печки. Матрацы были набиты ветками стланника, хвоя осыпалась, высохла, голые ветки угро-жающие горбились под грязной полосатой тканью. Сенная труха сыпалась из тугонабитой грязной подушки. Реденькое, «выно-шенное» суконное одеяло, с нашитыми серыми буквами «ноги», укрыло меня от всего мира. Похожие на бечевку мускулы рук и ног ныли, отмороженные пальцы зудели. Но усталость была сильнее боли. Я свернулся в клубок, обхватил руками ноги, грязными коленями, покрытыми крупнозернистой, как бы кро-кодиловой, кожей, уперся в подбородок и заснул.

Я проснулся через много часов. Мои завтраки, обеды, ужины стояли возле койки на полу. Я протянул руку, ухватил ближайшую жестянную мисочку и стал есть все подряд, время от времени откусывая крошечные кусочки от «пайки» хлеба, лежавшей тут же. Больные с соседних топчанов смотрели как я глотаю пищу. Они меня не спрашивали — кто я и откуда — моя крокодиловая кожа говорила сама за себя. Они бы и не смотрели на меня, но — я это знал по себе — от зрелица человека вкушающего нельзя отвести глаз.

Я проглотил поставленную пищу. Тепло, восхитительная тя-жесть в желудке и снова сон — недолгий, ибо за мной пришел санитар. Я накинул на плечи единственный «расхожий» халат — пальто — грязный, прожженый окурками, отяжелевший от впитавшегося пота многих сотен людей, сунул ступни в огром-ные шлепанцы и, медленно передвигая ноги, чтобы не свалиться, побрел за санитаром в «процедурную».

Тот же молодой врач стоял у окна и смотрел на улицу сквозь закуржавевшее, мохнатое от наросшего льда, стекло. С угла подоконника свешивалась тряпочка, с нее капала вода, капля за каплей в подставленную жестянную обеденную миску. Железная печка гудела. Я остановился, держась обеими руками за санитара.

— Продолжим, — сказал врач.

— Холодно, — ответил я негромко. Съеденная только что пища уже перестала греть меня.

— Садись к печке. Где вы работали на воле?

Я раздвинул губы, подвигал челюстями — должна была получиться улыбка. Врач это понял и улыбнулся ответно.

— Зовут меня Андрей Михайлович, — сказал он. — Лечиться вам нечего.

У меня засосало под ложечкой.

— Да, — повторил врач громким голосом. — Вам нечего лечиться. Вас надо кормить и мыть. Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрацы наши — не перина. Ну, вы еще ничего — ворочайтесь побольше и пролежней не будет. Полежите месяца два. А там и весна.

Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно. Еще бы! Целых два месяца! Но я не в силах был выразить эту радость. Я держался руками за табуретку и молчал. Врач что-то записал в историю болезни.

— Идите.

Я вернулся в палату, спал и ел. Через неделю я уже ходил нетвердыми шагами по палате, по коридору, по другим палатам. Я искал людей жующих, глотающих — я смотрел им в рот, ибо чем больше я отдыхал, тем больше и остree мне хотелось есть.

В больнице, как и в лагере, вовсе не выдавали ложек. Мы научились обходиться без вилки и ножа еще в следственной тюрьме. Давно мы были обучены приему пищи «через борт», без ложки: ни суп, ни каша, никогда не были такими густыми, чтобы понадобилась ложка. Палец, корка хлеба и язык очищали дно котелка или миски любой глубины.

Я хотел и искал людей жующих. Это была настоятельная, повелительная потребность, и чувство это было знакомо Андрею Михайловичу.

Ночью меня разбудил санитар. Палата была шумна — обычным ночным больничным шумом — хрип, храп, стоны, бредовой разговор, кашель — все мешалось в своеобразную

звуковую симфонию — если из таких звуков может быть со-
ставлена симфония. Но заведи меня с закрытыми глазами в
такое место — я узнаю лагерную больницу.

На подоконнике лампа — жестяное блюдечко с каким-то
маслом — только не рыбий жир! — и дымным фитилем, скру-
ченным из ваты. Было, вероятно, еще не очень поздно, наша
ночь начиналась с «отбоя» в 9 часов вечера и засыпали мы
как-то сразу, чуть согреются руки, ноги.

— Андрей Михайлович звали, — сказал санитар. — Вон
Козлик тебя проводит.

Больной, называемый Козликом, стоял передо мной.

Я подошел к жестяному рукомойнику, умылся, и вернув-
шись в палату, вытер лицо и руки о наволочку. Огромное по-
лотенце из старого полосатого матраца было одно на палату
в тридцать человек и выдавалось только по утрам. Андрей
Михайлович жил при больнице, в одной из крайних маленьких
палат — в такие палаты клади послеоперационных больных.
Я постучал в дверь и вошел.

На столе лежали книги, сдвинутые в сторону, книги, кото-
рых так много лет я не держал в руках. Книги были чужими,
недружелюбными, ненужными. Рядом с книгами стоял чайник,
две жестяные кружки и полная миска какой-то каши...

— Не хотите ли сыграть в домино? — сказал Андрей Ми-
хайлович, дружелюбно разглядывая меня... — Если у вас есть
время.

Я ненавижу домино. Это — игра самая глупая, самая бес-
смысленная, самая нудная. Даже лото интереснее, не говоря
уж о картах — о любой карточной игре. Всего бы лучше
шахматы, в шашки хотя бы — я покосился на шкаф — не
видно ли там шахматной доски, но доски не было. Но не
могу же обидеть Андрея Михайловича отказом. Я должен его
развлечь, должен отплатить добром за добро. Я никогда в
жизни не играл в домино, но убежден, что великой мудрости
для овладения этим искусством не надо.

И потом — на столе стояли две кружки чая, миска с ка-
шой. И было темно.

— Выпьем чаю, — сказал Андрей Михайлович. — Вот сахар. Не стесняйтесь. Ешьте эту кашу и рассказывайте — о чем хотите. Впрочем, эти два дела нельзя делать одновременно.

Я съел кашу, хлеб, выпил три кружки чаю с сахаром. Сахару я не видел несколько лет. Я согрелся, и Андрей Михайлович смешал костяшки домино.

Я знал, что начинает игру обладатель двойной шестерки — ее поставил Андрей Михайлович. Потом поочереди играющие приставляют подходящие по очкам кости. Другой науки тут не было и я смело вошел в игру, беспрерывно потея и икая от сытости.

Мы играли на кровати Андрея Михайловича, и я с удовольствием смотрел на ослепительно белую наволочку на перьевый подушке. Это было физическое наслаждение смотреть на чистую подушку, видеть как другой человек мнет ее рукой.

— Наша игра, — сказал я, — лишена самого главного своего очарования — игроки в домино должны стучать с размаху о стол, выставляя костяшки. — Я отнюдь не шутил. Именно эта сторона дела представлялась мне наиболее важной в домино.

— Перейдем за стол, — любезно сказал Андрей Михайлович.

— Ну, что вы, я просто вспоминаю всю многогранность этой игры.

Партия игралась медленно — мы рассказывали друг другу наши жизни. Андрей Михайлович — врач — не работал в приисковых заботах на «общих работах» и видел прииск лишь отраженно — в тех людских отходах, остатках, отбросах, которые выкидывал прииск в больницу и в морг. Я тоже был приисковым людским шлаком.

— Ну, вот вы и выиграли, — сказал Андрей Михайлович.
— Поздравляю вас, а в качестве приза — вот, — он достал из тумбочки пластмассовый портсигар. — Давно не курили?

Я оторвал клочок газеты и свернул махорочную папиросу. Лучше газетной бумаги для махорки ничего не придумать. Следы типографской краски не только не портят махорочного

букета, но оттеняют его наилучшим образом. Я зажег полосу бумаги от рдеющих углей в печке и закурил, жадно втягивая тошнотворный сладковатый дым.

С табаком мы бедствовали, и надо было давно бросить курить — условия были самые подходящие, но я не бросал курить никогда. Было страшно даже подумать, что я могу по собственной воле лишиться этого единственного великого арестантского удовольствия.

— Спокойной ночи, — сказал Андрей Михайлович, улыбаясь. — Я уже спать собрался. Но так захотелось сыграть партию. Спасибо вам.

Я вышел из его комнаты в темный коридор — кто-то стоял у стены на моей дороге. Я узнал силуэт Козлика.

— Что ты? Чего ты тут?

— Я покурить. Покурить бы. Не дал?

Мне стало стыдно своей жадности, стыдно, что я не подумал ни о Козлике, ни о ком другом в палате, чтобы принести им окурок, корку хлеба, горсть каши.

А Козлик ждал несколько часов в темном коридоре.

.....

Прошло еще несколько лет, кончилась война, власовцы сменили нас на золотом прииске, и я попал в «малую зону», в пересыльные бараки Западного Управления. Огромные бараки с многоэтажными нарами вмещали по пятьсот, шестьсот человек. Отсюда шла отправка на прииски Запада.

По ночам зона не спала — шли этапы, и в «красном углу» зоны, застеленном грязными ватными одеялами блатарей, шли еженощно концерты. И какие концерты! Именитейших певцов и рассказчиков — не только из лагерных агитбригад, но и выше. Какой-то харбинский баритон, имитирующий Лещенко и Вергинского, имитирующий самого себя Вадим Козин и многие, многие другие — пели здесь для блатных без конца, выступали в лучшем своем репертуаре. Рядом со мной лежал лейтенант танковых войск Свечников, нежный розовощекий юноша, осужденный военным трибуналом за какие-то преступления по службе. Здесь он тоже был под следствием —

работая на прииске, он был уличен в том, что ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая куски человечины «не жирной, конечно», как он совершенно спокойно объяснял.

Соседей на пересылке не отбирают, да есть, наверное, дела и похуже, чем обедать человеческим трупом.

Редко, редко в «малую зону» являлся фельдшер и проводил прием «температурающих». На фурункулы, густо меня облепившие, фельдшер не захотел и смотреть. Сосед мой Свечников, знавший фельдшера по больничному моргу, разговаривал с ним как с хорошо знакомым. Неожиданно фельдшер назвал фамилию Андрея Михайловича.

Я умолил фельдшера передать Андрею Михайловичу записку — больница, где он работал, была в километре от «малой зоны». Планы мои изменились. Теперь, до ответа Андрея Михайловича, надо было задержаться в «зоне».

Нарядчик уже приметил меня и приписывал к каждому уходящему в пересылку этапу. Но представители, принимающие этап, столь же неукоснительно вычеркивали меня из списков. Они подозревали недобroе, да и вид мой говорил сам за себя.

— Почему ты не хочешь ехать?

— Я болен. Мне надо в больницу.

— В больнице тебе делать нечего. Завтра будут отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?

— Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать.

День проходил за днем, этап за этапом. Ни о фельдшере, ни об Андрее Михайловиче не было ни слуху, ни духу.

К концу недели мне удалось попасть на медосмотр в амбулаторию метров за сто от «малой зоны». Новая записка к Андрею Михайловичу была зажата у меня в кулаке. Статистик санчасти взял ее у меня и обещал передать Андрею Михайловичу на другое утро.

Во время осмотра я спросил у начальника санчасти об Андрее Михайловиче.

— Да, есть такой врач из заключенных. Вам незачем его видеть.

— Я его знаю лично.

— Мало ли кто знает его лично.

Фельдшер, который взял у меня записку в «малой зоне», стоял тут же. Я негромко спросил его — «где записка?»

— Никакой записи я в глаза не видел...

Если до послезавтрашнего дня я ничего нового об Андрее Михайловиче не узнаю — я еду... На дорожные работы, в сельхоз, на прииск, к чертовой матери...

Вечером следующего дня, уже после поверки меня вызвали к зубному врачу. Я пошел, думая, что это какая-то ошибка, но в коридоре увидел знакомый черный полушибок Андрея Михайловича. Мы обнялись.

Еще через сутки меня вызвали — четырех больных из лагеря повели, повезли в больницу. Двое лежали обнявшись на санях — розвальнях, двое шли за санями. Андрей Михайлович не успел меня предупредить о диагнозе — я не знал чем я болен. Мои болезни — дистрофия, пеллагра, цынга — еще не подросли до необходимости в лагерной госпитализации. Я знал, что ложусь в хирургическое отделение. Андрей Михайлович работал там, но какое хирургическое заболевание мог я предъявить — грыжи у меня не было. Остеомиэлит четырех пальцев ноги после отморожения — это мучительно, но вовсе недостаточно для госпитализации. Я был уверен, что Андрей Михайлович сумеет меня предупредить, встретив где-нибудь.

Лошадь подъехала к больнице, санитары втащили «лежащих», а мы — я и новый товарищ мой разделись на лавочке и стали мыться. На каждого давался таз теплой воды.

В «ванну» вошел пожилой врач в белом халате и, смотря поверх очков, оглядел нас обоих.

— Ты с чем? — спросил он, тронув пальцем плечо моего товарища.

Тот повернулся и выразительно показал на огромную паховую грыжу.

Я ждал того же вопроса, решив пожаловаться на боли в животе.

Но пожилой врач равнодушно взглянул на меня и вышел.

— Кто это? — спросил я.

— Николай Иванович, главный хирург здешний. Заведующий отделением.

Санитар выдал нам белье.

— Куда тебя? — это относилось ко мне.

— А черт его знает! — У меня отлегло от сердца, и я уже не боялся.

— Ну, чем ты болен «в натуре», скажи?

— Живот у меня болит.

— Аппендицит, наверное, — сказал бывалый санитар.

Андрея Михайловича я увидел только на другой день. Главный хирург был им предупрежден о моей госпитализации с «подострым аппендицитом». Вечером того же дня Андрей Михайлович рассказал мне свою невеселую историю.

Он заболел туберкулезом. Рентгеновские снимки и лабораторные анализы были угрожающими. Районная больница ходатайствовала о вывозе заключенного Андрея Михайловича на «материк» для лечения. Андрей Михайлович был уже на пароходе, когда кто-то донес начальнику санотдела Черпакову, что болезнь Андрея Михайловича — ложная, мнимая — «туфта» — по-лагерному. А может быть и не доносил никто — майор Черпаков был достойным сыном своего века подозрений, недоверия и «бдительности».

Майор разгневался, распорядился снять Андрея Михайловича с парохода и заслать его в самую глушь — далеко от того дальнего Управления, где мы повстречались. И Андрей Михайлович уже сделал тысячеткилометровое путешествие в мороз. Но в дальнем Управлении выяснилось, что там нет ни одного врача, который мог бы накладывать искусственный пневмоторакс. Вдувания уже делали Андрею Михайловичу несколько раз, но лихой майор объявил пневмоторакс обманом и жульничеством.

Андрею Михайловичу становилось все хуже и хуже, и он

был чуть жив, пока удалось добиться у Черпакова разрешения на отправку Андрея Михайловича в Западное Управление — ближайшее, где врачи умели накладывать пневмоторакс.

Теперь Андрею Михайловичу было получше, несколько вдуваний были проведены удачно, и Андрей Михайлович стал работать ординатором хирургического отделения.

После того, как я немного окреп, я работал у Андрея Михайловича санитаром. По его рекомендации и настоянию, я уехал учиться на курсы фельдшеров, окончил эти курсы, работал фельдшером и вернулся на «материк». Андрей Михайлович и есть тот человек, которому я обязан жизнью. Сам он давно умер — туберкулез и майор Черпаков сделали свое дело.

В больнице, где мы работали вместе, мы жили дружно. Срок у нас кончился в один и тот же год, и это как бы связывало наши судьбы, сближало.

Однажды, когда вечерняя уборка закончилась, санитары сели в углу играть в домино и застучали костяшками.

— Дурацкая игра, — сказал Андрей Михайлович, показывая на санитаров и морщась от стука костяшек.

— В домино я играл один раз в жизни, — сказал я. — С вами, по вашему приглашению. И даже выиграл.

— Немудрено выиграть, — сказал Андрей Михайлович. — Я тоже впервые тогда взял домино в руки. Хотел вам приятное сделать.

В. Шаламов

СЕМЬ ЧАСОВ БЕЗ СНА

1

Вращался звездный циферблат
Над беспокойною рекою,
От Водолея до Плеяд
Весь мир движеньем был объят,
Скакал Возничий, плыл Дельфин...
Улегшись навзничь, я один
Был в относительном покое
И слушал, как едва-едва,
Рождая шорохи равнин,
Американская трава
Росла сквозь русские слова.

2

Плескались Рыбы в омутке,
А звездный циферблат вращался,
И, как мустанг, Пегас брыкался,
Плыл Лебедь, не меняя галса,
Стон козодоя вдалеке —
В кустах иль в детстве — раздавался
И что-то сердцу говорил,
Но по-английски: «Whip-poor-will».

3

Парил Орел легко и грозно,
Свивался кольцами Дракон,
И циферблат вращался звездный,
А я, хотя и Скорпион,
Лежал здесь на Змею похожий,
Не сбросив старую свою,
Но прорастая новой кожей
Сквозь прежних мыслей чешую,

И видел, осознать не смея,
Как превращалось в дабль-ю
Былое М Кассиопеи.

4

Быть может, небо надо мною
Менялось, может быть — мой взгляд,
Но чудилось мне все иное.
Вращался звездный циферблат
Уже четвертый час подряд,
И пахла хладною развязкой
Трава, мокрея без дождя:
Из края в край переходя,
Я ощущал себя Аляской.

5

К рассвету дело шло, как будто,
И можно было бы вставать,
Но тьма сгущалась почему-то,
Как будто время в ту минуту
Внезапно повернуло вспять
И, подгоняемое темью,
Переходило в антивремя,
Где все начала и концы
Сближались, словно Близнецы,
Где я, глазам своим не веря,
Узрел в пространстве надо мной
Под кровлей хижины одной
И дядю Тома и Лукерью.

6

А на Весов незримых чашах
Лежали страны в вышине,
И чаша низких истин наших

Клонилась медленно ко мне.
Я видел, лежа на спине,
Колеблющегося Денеба
В развилике Млечного пути,
Гадавшего: куда идти?
Мерцавшего: причалить где бы?
Но тут, как на востоке небо,
Вдруг сердце дрогнуло во мне,
Когда, напрасней, чем Кассандра,
Заря напомнила без слов
Нелепо пролитую кровь —
Линкольна? или Александра?

7

Пар поднимался над рекою,
Где я в покое ночь лежал...
Что я сказал? Лежал в покое?
Нет, не лежал: я в ночь бежал
К бледнеющей, но звездной Лире,
Где воздух чище, небо шире
Без Солнца бешеных лучей,
Курящих фимиам туманов,
Нас возвышающих обманов,
Патриотических романов
И графоманов-палачей.

Не свой и не чужой: ничей
Я на Земле, как труп, лежал.

Запели птицы. Бог смолчал.

Николай Моршен

СИРИУС

Истинный начальник штаба верховного главнокомандующего найден был через год после начала войны. Истинный верховный главнокомандующий открылся через два года. На несчастье России ему не суждено было стать «верховным», но ничье другое имя не озарило таким блеском русскую армию как его имя.

Где-то, в самом невзрачном углу тысячеверстного фронта, на Гнилой Липе, пропадал затертый штабными ничтожествами единственный полководец Божьей милостью. Ни образцовое командование, ни одержанные победы, обеспечившие успех галицийской кампании 1914 года не в силах были пробить брешь в окружавшем его заговоре умолчания. Его армия на себе вынесла все главные усилия обеспечившие взятие Перемышля, а когда приспело падение этой твердыни, «взятие» ее представили беспросветно тусклому генералу Селиванову.

Брусилов был явно не по сердцу Иванову, главнокомандующему Юго-Западным фронтом, хитроватому мужичку в генеральском мундире. Бездарность чутьем угадывает гения иnochей не спит от тревоги и зависти. Пока начальником штаба при нем был генерал Алексеев, Николай Иудович казался полководцем и главнокомандующим, но оперение его слиняло, как только Алексеев ушел. Открылась вся его непригодность.

Последовавший удар был, как светопреставление: Иванов отставлен, а главнокомандующим Юго-Западным фронтом назначен Брусилов. Старика оглушило. В послужном списке Николая Иудовича, главной заслугой значилось подавление боксерского восстания и усмирение солдатских бунтов в 1905 году — подвиги незабываемые при дворе. Не забыт был и георгиевский крест поднесенный царю старанием и хлопотами генерала.

См. Кн. «Н. Ж.» 104, 106, 109, 111, 112.

На этом зиждалась уверенность в прочном укоренении на посту главкоюза и надежда на высшее заступничество. — «Скорый приезд Брусилова не желателен», — велено было сообщить в штаб восьмой армии.

Но Ставка требовала нового Главкоюза, в Каменец-Подольск, куда ждали царский поезд. Брусилов запросил куда ему ехать: — в Бердичев ли для принятия командования фронтом или в Каменец-Подольск? Прибавил, что без приказа Иванова, своего начальника, никуда не поедет. Николай Иудович спохватился, прислал телеграмму: ждет давно и удивляется почему генерал не едет.

При встрече разрыдался, как младенец.

— За что? За что? Служил верой и правдой, ни в чем не замечен... Ну скажите на милость!... Ах Боже мой! Боже мой!...

Никакого разговора о состоянии фронта не получилось. Из заиканий и всхлипываний можно было заключить одно: к наступательным операциям фронт не способен; дай Бог, что бы оградил юго-западный край от дальнейших нашествий.

При встрече с царем в Каменец-Подольске, новый главкоюз был спрошен, имеет ли доложить что либо императору?

— Ничего, ваше величество, кроме одного несогласия с оценкой Юго-Западного фронта, которая как будто принята Ставкой.

— Что вы имеете в виду?

— Я слышал, будто мой предшественник доносил о полной неспособности войск этого фронта наступать. С такой оценкой я не могу примириться. Если она восторжествует и мне не будет предоставлена инициатива действий, то мое пребывание на посту главнокомандующего окажется не только бесполезным, но и вредным. В этом случае прошу меня сменить.

Император не любил ультиматумов. В этом сухощавом подтянутом генерале, знающем чего он хочет, чувствовалась порода людей с детства несимпатичная Николаю Александровичу. Но он вида не подал.

— Хорошо. Изложите вашу точку зрения на военном совете.



Совет в Ставке происходил при тщательной конспирации. Соседние комнаты закрыты и все из них удалены. Сидя рядом с царем, Брусилов, впервые находившийся в Ставке, внимательно рассматривал присутствовавших. Прямо против государя, по другую сторону стола, сидели Алексеев и Эверт. На самом углу Иванов, молчаливый, занятый разглаживанием своей бороды. Отставленный, но получивший звание «состоящего при особе государя императора», он тоже приглашен был на совет. Одесную царя сидел генерал, к имени которого прилип весь позор русско-японской войны. Брусилов недоумевал, как можно с таким именем показываться в главной квартире армии? Генерал и не показывался. Осенью 1914 года решился попросить «переэкзаменовку» — добивался командования, хотя бы корпусом. Великий князь отказал наотрез. Но совершился переворот, пришел новый главнокомандующий и новый начальник штаба. С этой минуты время стало работать в пользу «генерала от поражений». Пятого февраля в офицерском собрании, во время завтрака седенький стариочек робко направился к свободному у самого края столику. Ему указали на генеральский стол и он пошел туда еще более робко.

Не сразу узнали. Только, когда Кондзеровский скомандовал «Господа офицеры!» — все встали и по залу прошло: «Куропаткин». Раскланивался на все стороны, как бенефициант.

Говорили, будто прибыл, чтобы принять VII армию генерала Щербачева, но ко всеобщему удивлению, получил назначение главнокомандующим Северным фронтом. Через месяц он погубил сорок тысяч русских солдат и офицеров.

Весна стояла ранняя. Снег начал таять быстро и полая вода залила огромные пространства. Разлилась Двина. Это время генерал Куропаткин выбрал для «переэкзаменовки». Утром 8 марта он с довольным видом объявил своему начальнику штаба:

— А я, Михаил Дмитриевич, сегодня ночью сделал большое дело.

Из протянутой ему бумаги, начальник штаба с ужасом увидел, что главнокомандующий, ни с кем не посоветовавшись, приказал частям V армии, оставить двинский плацдарм, перейти в наступление и овладеть находившимися переди высотами. Большего удобства, чтобы расстреливать шедших по пояс в воде русских солдат, неприятель не мог придумать.

Теперь, их могильщик сидел рядом с императором.

Целью совещания было установление плана военных действий на 1916 год. Но молчаливо определившаяся коалиция Куропаткин-Эверт-Иванов, прослушав о наступательных намерениях Брусилова, противопоставили им свой план военного бездействия. Алексеев, однако, начал речь так, будто наступление решено и смысл военного совета сводится к уточнению частных вопросов.

Он объявил, что резервная тяжелая артиллерия и весь общий резерв передаются Западному фронту возглавляемому Эвертом. Он должен нанести главный удар в направлении Вильно. Следующий по важности Северный фронт призван всемерно помогать соседу, по каковой причине получает тоже некоторую часть войск и тяжелой артиллерии общего резерва. Юго-Западному ничего не положено. Задача его, чисто оборонительная; он не способен к наступлению, как утверждал прежний Главкоюз Иванов.

Сам Иванов не проронил ни слова, но Эверт и Куропаткин высказались против всякого наступления, ссылаясь на слабость их фронтов. Военный Министр Шуваев вставил что-то о недостатках в снабжении, а великий князь Сергей Михайлович указал на отсутствие тяжелой артиллерии и снарядов.

Диссонансом прозвучала декларация Брусилова:

— Юго-Западный фронт способен к наступлению и будет наступать вместе с другими, если те перейдут к активным действиям. Конечно, у него мало тяжелой артиллерии, ему отказано в дотациях, но и при таких условиях он готов драться, хотя бы для того, чтобы удержать стоящие перед ним неприятельские войска от переброски против Эверта и Куропаткина.

Напомнил, что неудачи всех прежних действий русской армии объясняются роковой несогласованностью.

— Мы никогда не наваливались на врага всем фронтом. Будучи слабее нас количественно, он пользуется развитой сетью железных дорог и перебрасывает войска куда нужно. Мы ему позволяем стянуть в атакуемый участок должное количество войск и быть на этом участке сильнее нас.

Смушенные Эверт и Куропаткин нехотя дали согласие. Наступление было решено. Алексеев снова подтвердил, что ни на какие резервы Юго-Западный фронт не может расчитывать и если хочет открывать активные действия, то только на свой риск.

В промежутках между заседаниями завтракали и обедали за высочайшим столом. В один из таких промежутков подошел Куропаткин — ласковый, вкрадчивый.

— Удивляюсь вашей смелости, генерал. Вы точно направляетесь на боевые действия. Что вам за охота подвергаться крупным неприятностям и может быть потере того военного ореола, который вам удалось заслужить? Я бы на вашем месте всеми силами откращивался от каких бы то ни было наступательных операций. При настоящем положении дела, они могут вам лишь шею сломать, а личной пользы не принесут.

— О личной пользе, ваше высокопревосходительство, не мечтаю и ничего для себя не ищу. Нисколько не обижусь, если меня за негодность отчислят, но считаю долгом совести и чести действовать на пользу России.

Как только Брусилов уехал, генерал Иванов испросил аудиенцию у государя и умолял не допускать нового главкоюза до наступления.

— Я хорошо знаю Юго-западный фронт и его войска, ваше величество... Ради Бога не позволяйте... Это погубит армию и повлечет за собой катастрофу.

— Почему же вы не сказали это на военном совете?

— Меня не спрашивали и я не считал удобным навязываться.

— Тем более я не нахожу возможным единолично изме-

нить решение военного совета и ничего тут поделать не могу. Поговорите с Алексеевым.

В тот же вечер Брусилов покинул Могилев и собрал в Волочиске всех начальников армий своего фронта с начальниками их штабов, чтобы отдать приказание о подготовке к переходу в наступление через месяц.



Кроме зависти бесталанных генералов надо было преодолеть еще гнет канонов и формул военной мудрости накопленной двухлетним опытом поражений. Совершенно исключалось всякое посягательство на прорыв фронта без ураганного огня, без гекатомб солдатских тел перед проволочными заграждениями и считалось безумием пытаться пробить в неприятельском фронте больше одной бреши. Но творческое дерзание нового начальника поставило именно такую цель. Каждая армия фронта намечала участок для прорыва и вела подготовительные работы, дабы усыпить бдительность противника, чтобы следя за русской подготовкой он не знал откуда начнется наступление и куда надо будет посыпать вспомогательные войска. При полном непонимании врагом русского замысла, окопы на избранных участках постепенно сближались с неприятелем, доходили, местами, до двухсот-трехсот шагов. Солдаты выводились за боевую линию в тыл, но начальники, имея при себе нужные планы, находились постоянно впереди и тщательно изучали поле своих будущих действий. Лишь за несколько дней до наступления введены были незаметно ночью войска на передовые позиции и поставлена хорошо замаскированная артиллерия.

Десятого мая фронт был готов к атаке. Как Колумб, веривший в существование и достижимость Америки, так Брусилов верил в осуществимость своего плана. Но когда пришел день воплощения его в жизнь, творческий порыв сменился страхом. А что если?! Вспоминалось тупое, завистливое лицо Эверта, глупая борода Иванова и молчащее лицо царя, верхов-

ного главнокомандующего — самая зыбкая, самая опасная стихия.

Пришло сообщение о большом поражении итальянцев под Трентино. Генерал Марсенго предъявил Ставке род ультимата. Грозил выходом Италии из войны и заключением сепаратного мира, если русские не нажмут с севера и не оттянут австрийские силы на себя.

— Шантаж! — шумел Алексеев. — Вот сволочь!.. Пусть выходят. Толку от них никакого. И зачем они, вообще, ввязались в войну?

Он запросил Брусилова от имени Главковерха, готов ли тот к выступлению? Ответ: готов. Отдан приказ начать девятнадцатого мая, но с условием, чтобы и Западный фронт двинулся одновременно, дабы сковать стоящие против вражеские войска.

Но по прямому проводу через три дня Алексеев попросил начать атаку не девятнадцатого, а двадцать второго, так как Эверт может начать свое наступление только первого июня. Брусилов с трудом сдержался. Согласился на двадцать второе.

— Надеюсь, дальнейших откладываний не будет?

Но когда уже разосланы были по всему фронту телеграммы, Алексеев, в самый канун наступления начал убеждать отложить операцию, как очень рискованную и самый замысел ее изменить. Сослался при этом на государя. Произошел возмущенный телеграфный диалог. Ответ Главкоюза был: — Изменять что либо поздно; войска наготове и пока распоряжение об отмене дойдет до фронта, начнется артиллерийская подготовка. При частых отменах приказаний, войска теряют доверие к своим начальникам. Если эти соображения не принимаются во внимание, он просит сменить его.

— Сейчас докладывать об этом не могу; Верховный лег спать и будить его неудобно. Подумайте.

— Сон Верховного меня не касается и больше думать мне не о чем. Прошу ответа сейчас же.

— Ну Бог с вами, делайте, как знаете, а я о нашем разговоре доложу государю завтра.



Всю ночь главнокомандующий не смыкал глаз. Приближалась минута стоившая всей его жизни. На рассвете зазвонил телефон. По всей линии фронта начался артиллерийский огонь. Генерал встал и отдал честь своим двинувшимся в атаку армиям.

Двое суток непрерывно шли сведения о разрывах проволочных заграждений, об уничтожении пулеметных гнезд и убежищ врага, об успешных атаках русской пехоты завладевшей всеми линиями неприятельских окопов. Уже к полудню двадцать четвертого мая донесли о девяностах пленных офицеров и сорока тысячах нижних чинов. Два дня спустя пленных было семьдесят одна тысяча, а офицеров тысяча двести сорок; девяносто четыре орудия, сотни пулеметов и бомбометов. Но опять телеграфный разговор: из за дурной погоды Эверт 1 июня атаковать не может, переносит свой удар на пятое июня.

— Но могу ли я быть уверенным, что хоть пятого июня он выступит?

— В этом не может быть сомнения.

Пятого июня оказалось, что разведчики Эверта донесли о громадных силах противника и многочисленной тяжелой артиллерией собранных против участка Западного фронта. Эверт считает атаку обреченной на провал. Он испросил разрешения Верховного главнокомандующего воздержаться от нее, а удар перенести в другое место — к Барановичам. Государь разрешил. Все стало ясно. Случилось то, чего Брусилов боялся: куропаткинцы лишают его поддержки и позволяют неприятелю снимать с неугрожаемых участков своего фронта столько войск, сколько надо, чтобы создать заслон против брусиловского наступления.

И не было в Ставке властной руки, чтобы сместь или отдать под суд двух злостных нарушителей приказа. Верховный главнокомандующий молча сносил их саботаж и обрекал на неудачу блестяще начатое наступление. И вдруг: — «По-

здравляю, целую, обнимаю, благословляю!» — Телеграмма с Кавказа. Великий князь Николай Николаевич приветствовал первого победоносного генерала русской армии. Последовал дружный хор поздравлений, восторгов всей страны.

«Наши взоры, наши помыслы и упования прикованы к геройской и несокрушимой армии, которая, полная самоотверженности, сметает твердыни врага и идет от победы к победе». — Писали министры, члены Думы, студенты, учителя, школьники, духовенство, простые мужики и рабочие.

«С восторгом преклоняясь перед подвигами армии, мы одушевлены стремлением по мере всех сил своих служить ей и, чувствуя в эти дни вашу твердую руку, глубокую мысль и могучую русскую душу, всем сердцем хотим облегчить вам ваше почетное славное бремя».

Вся Россия истомившаяся по добрым вестям с войны, по восстановлению русского имени — видела в командующем Юго-западным фронтом национального героя, подарившего родине посреди невзгод и поражений, светлый час победы. Пришла телеграмма от верховного главнокомандующего — несколько сухих слов благодарности. Генерал долго с задумчивым видом держал ее в руках.

Император Николай II никогда не умел благодарить, не умел разговаривать с войсками и поднимать дух добрым словом. В душе он задет был брусиловскими победами, для успеха которых ничего не сделал, но все сделал чтобы помешать им. У него всегда было тяготение и благоволение ко всему бездарному и ничтожному.



Дондук прибыл в распоряжение армии генерала Лечицкого в самый разгар наступления и долго трясясь в какой-то повозке прыгавшей по ухабам. Повозка часто сворачивала в сторону, чтобы пропустить тяжелые грузовики со снарядами, либо набитые битком солдатами. Солдаты выглядели имянинниками, пели песни, кричали ура. Армия молодеет, когда ее

ведут путем победы. Появился автомобиль с офицерами. Один, в иностранной форме, стоя, махал своим кепи и что-то кричал. То генерал Марсенго приветствовал русских солдат, спасающих итальянскую армию.

Пришло известие, что Лечицкий вдребезги разбил австрийские войска Пфланцер-Болтина, захватил Зеленщики, Черновицы и тридцать семь тысяч пленных. Число их, шестого июня, было уже сорок одна тысяча; восьмого июня — семьдесят две; десятого сто восемь и так изо дня в день все больше и больше.

Разнеслась повсюду телеграмма Брусилова: — Славные войска Юго-Западного фронта! Вашими успехами живет вся Россия! Бейте крепко, держитесь стойко!

Н. Ульянов



Вон человек идет.
И он зайдет в аптеку.
Понадобился йод
Внезапно человеку.

Все так и все не так.
Там в тишине аптечной
В дверях стоит чудак
Трагически беспечный.

И серебро и медь
Уплатит он кассиру,
Чтоб пузырек иметь
И унести в квартиру.

Все так и все не так.
Как на большую льдину
Упал луны медяк
В аптечную витрину.

В рассеянности он
Порезал палец в ванной,
Он несколько смущен
Царапиною странной.

Все так и все не так.
И где-то в сердце самом
Стучит: тик-так, тик-так, —
То кровь шумит по шрамам.

Он осторожно йод
Накапает на ранку
И бережно заткнет
Он пробочкою склянку.

Все так и все не так.
Попробуй с роком сверъся.
Какой-нибудь пустяк —
И разорвется сердце!

И кончится все так:
Обычным некрологом
О том, как шел бедняк
По жизненным дорогам.

Все так и все не так.
Все кончится взрывною
Куда-то в вечный мрак
Катящейся звездою.



Опять кругом слезливая зима.
От непрестанно гаснущих снежинок
Стоят как маслом вытерты дома,
Как будто ряд переводных картинок.

На западе — разваренный крахмал
С вишневой растекающейся пеной.
Мне кажется, что Бога замещал
Какой-то пейзажист третьестепенный.

Я с головой почти что в шубу влез,
В калошах, в шапке, с шарфом до колена...
Не пушкинский пророк, не сын небес,
Бряцающий на лире вдохновенно!

А очень неуклюжий человек, —
Весьма несовершенное творенье, —
Шагающий неловко через снег
В очередное сверхстолпотворенье.

У каждого есть множество обид.
Любой из нас — проситель с челобитной.
И, может быть, всех громче говорит
Тот, кто на свете самый беззащитный.

Иван Елагин

ПОЛСАНТИМЕТРА ОТ ВОРКУТЫ

Конечно, я вздрогнул, как вздрогнули бы и вы, если бы кто-то, вдруг подошедший сзади, положил бы руку на ваше плечо. Добавьте к этому полночь, скучные московские фонари, и вы с вашей подругой, торопясь и толкая друг друга локтями, разглядываете на щите объявлений неясный в полупотемках переполох афиш.

Я вздрогнул и обернулся, и тогда стоявший за мной кротышка в полувоенной форме, которому надо было, вероятно, подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до моего плеча, снял свою руку и сказал тенором, поскрипывающим на ударных гласных:

— Пройдемте со мной, гражданин!

.....

Многоточие обозначает здесь короткую паузу, в которую прошуршили в моем воображении шины «черного ворона» — кошмара московских ночей тридцатых годов, в которую Кира, моя спутница, успела спросить вызывающее: «В чем дело?»; в которую я пытался разглядеть блеснувшее на меня очками лицо и, не разглядевши, послушно повернулся за ним.

Да, теперь, много лет спустя, я с недоумением и досадой решаю этот кроссворд своей прошлой жизни из пересекающихся «почему?» и «как это могло быть?», припоминаю и это, сейчас непонятное, — что так сразу подчинился идти и, только уже шагнув, спросил в свою очередь:

— В чем все-таки дело?

Не оборачиваясь, он сказал:

— Вы срывали со стенда плакат с портретом товарища Сталина. И уничтожили бы, если б я не помешал.

.....

Эта вторая пауза была еще короче. Помню Кирино почти

беззвучное «Ох!» и ее руки, обхватившие мою чуть выше локтя, так что я почти протащил ее за собою несколько шагов.

— Вы что, галлюцинируете по ночам? Я не дотрагивался ни до какого плаката!!

Он молчал, и мы продолжали идти к Кудринской площади, где, я знал, помещалось отделение милиции; в широкую и мутную тишину Садовой сыпались шорохи четырех подошв и щелк Кириных — на босу ногу — лодочек, которые далеко отлипали от ее пяток при каждом шаге и особенно вызывающе и невпопад цокали теперь об асфальт.

Коромысло возмущения и тревоги качалось во мне, и — едва представимый контраст того, что было всего минут двадцать назад, и того, что, может быть, ждало впереди...

Двадцать минут назад была идиллия московского дворика у Девичьего поля, с уже лопнувшими почками сиреневых кустов и сквозь них звездным небом; открытое в этот дворик окно, и мы возле, засидевшиеся допоздна за бутылкой кахетинского, которое Кира любила, и шепелявой музыкой самодельного приемника. Затем — телефонный в коридоре звонок, на который бросалась она всегда опрометью, хотя в квартире жило еще с полдюжины семейств, и — после нескольких восторженных «Ах!» и «Быть не может!» — тоже восторженное, с при-
дыханием: «Понимаешь: у Дома Архитектора, на стене объявлений, — ну, это где-то на Новинском, ты же знаешь, — анонс о выступлении нашей группы. И я там, моя фамилия... Я должна увидеть сама, непременно! Ты понимаешь...»

Если у вас не было никогда подруги-танцовщицы, вы не знаете, что такое тщеславие! Мы сорвались тут же, в чем были, — туфли на босу ногу, и я без галстука и позабыв папиросы... И вот: асфальтовый разлив ночной Садовой, и — цок-цок-цок — Кирины каблуки, и, кажется, она сейчас чуть не плачет...

А коротышка все еще не удостаивает ответом.

— Я вам задал вопрос! — говорю ему в затылок.

— Вы дадите свои объяснения, где полагается...

Давать объяснения не пришло...

В полутемной приемной милицейского участка, куда мы вошли втроем, дремал на скамье дневальный милиционер, поднявшийся нам навстречу. Остальное вспоминается мне теперь как кинофильмовый стремительный репортаж: заспанное лицо дежурного за перегородкой в окошке, потом там же только одни его освещенные сбоку руки, холопски, как мне показалось, державшие удостоверение коротышки; потом — те же руки, схватившие химический карандаш, и коротышкин поскрипывающий голос: «Задержанный мною у доски объявлений Дома Архитектора гражданин с остервенением срывал с нее портрет товарища Сталина»... Потом — перекрывающий наши с Кирой протесты начальственный оклик: «Помолчите покудова, граждане!» и кивок дневальному на меня: «Отведешь в номер первый!»

Он был очень юн, этот перенявший меня дневальный, и плюсняв, как сказала бы Кира про его веснушки, если бы могла сейчас что-нибудь разглядеть. Но она шла за ним, смахивая ребром ладони бежавшие по щекам слезы, а перед дверью, за которой мне надлежало исчезнуть, всхлипнув, бросилась мне на шею: «Что делать? Что же мне делать? Скажи! скажи!»... — спрашивала она, и я беспомощно гладил и разводил с себя ее руки.

— Вот если бы ты могла принести мне сюда папирос! — сказал я, и она, все еще прижимаясь ко мне, умоляюще вскинула на милицейского паренька мокрые ресницы.

«Номер первый» была вытрезвиловка, с оплетенной проволокой электрической грушей и двумя топчанами по стенам. С одного летел задышливый храп. Пахло сивушным дыхом и блевотиной.

Папирос! Папирос!.. Как это часто случается в минуты потеряности, все во мне заплелось вокруг двух-трех вожделенных затяжек, способных всколыхнуть волю, погнать мысли на какую-нибудь спасительную стезю. А сейчас они, мысли, бежали по полутемной Садовой, за Кирой вслед, за чечёткой

ее каблучков, заглядывая в ее все еще, верно, плачущие глаза. Позволят ей передать папирозы? По веснушкам, за дверью, только что, ползало, кажется, что-то вроде сочувствия, даже, пожалуй, и изумление с полуоткрытым ртом. — Немудрено, в общем-то, потому что этот раствор ее глаз, темный и теплый под взмахом щедрых ресниц, на кого уставлялся — всегда производил впечатление.

Сам я влетел в этот раствор, как в силок, весной минувшего года. Это была одна тогда еще не прихлопнутая пивная с воблой, моченым горохом и эстрадой полуцыганского пенья и танцев. Кира отплясывала там нечто весьма эксцентрическое с острым названием «*Trés moutarde*» (по-русски получается «очень горчица», прыщавый объявитель с галстуком-бабочкой произносил «трамутар»). Кто-то тут же, за столиком рассказал мне, что ей всего восемнадцать, что она из семейства сосланных, вроде бы беспризорница в прошлом и прочее... Меня же полонили в равной, должно быть, степени вымахи ее пластики и — ресниц, особенно — в паузах, когда она, вытягиваясь в струнку и сбочив голову, выписывала пуантовым петитом полукруг, не то вбиная в раствор своих глаз нас с нашими нечистыми столиками, не то сама расплескиваясь на нас, как приворотное зелье. Конечно же, была она по-настоящему и не для пивных подмостков талантлива.

Все это я и изложил ей, пройдя за кулисы, точнее — в темный пахнущий пудрой и нужником коридорчик, где она одевалась.

В итоге через три, примерно, месяца она поступила в одну балетную школу и из пригорода, где жила, перебралась ко мне.

И вот теперь я ждал ее с куревом, стоя у липкого топчана, на который не решался сесть, слушая мерзкий храп и одолевая подступавшую к горлу тошноту. Милицейский паренек отобрал у меня часы, и, значит, я не мог в своем ожиданииправляться со временем. Его, казалось, то будто прошло до отчаяния много, хватило бы обогнуть все Садовое кольцо, то вроде бы совсем ничего, едва добраться Кире до дома.

Закрывая глаза, чтобы не видеть хрюпающего падла напро-

тив, я представлял себе: вот она вышла уже со двора в переулок, захлопнув за собой тяжелую с медной сергою калитку — пережиток феодальной Москвы. В пижамном кармашке у нее начатая пачка Беломор-канала. Много ли там осталось? Осталось ли?... Цок-цок-цок... вот она уже на Зубовском. Вместе с ней я миную кварталы, отсчитывая, как секунды по стрелке, шаги. Нет, шаги, конечно, быстрее, потому что она наверно сейчас бежит... Цок-цок-цок... Какая огромная асфальтовая лужа — бывший Смоленский в перемежке потемок и яичных фонарных клякс! Тоже и дальше, к Новинскому, течет этот каньон, притыканный фонарями на месте когда-то деревьев. Цок-цок-цок... Мимо дома, где все случилось! Она не останавливается около, Кира, но я мысленно задерживаюсь и даже припадаю к налепленной на стенде пестряди афиш. Было там различимо, помню: «ВЕЧЕР БА»... — да, только БА... — начало слова, перекрытого сверху вниз плотным бумажным полотнищем, а поперек — мелким цветным первомайским плакатом. За этими вершковыми БА... могло конечно следовать Л, а потом Е и Т и А, то есть Кирино вожделенное, за чем сюда топали, — и я снаструю тоже горел нетерпением раскрыть залепленную справа надежду и — стоп!..

На этом «стопе» тогдашнего моего воображения мурашки бульдозером проскребли по моей спине, — я даже спустился на мерзкий топчан, которого остерегался минуту назад. Мурашки затем, полегчав, скатились с предплечья в пясть правой руки, собравшись под указательный ноготь на манер аккумуляторного готового сорваться заряда. Да, этим самым ногтем я поддел белую кромку рядом с БА..., и она под ним расположилась, — нет, как теперь мне казалось, лопнула с треском, взорвалась как ракета, хвостатый какой-нибудь фейерверк. «Задержанный мною гражданин с осторвенением срывал портрет товарища Сталина»... Был он там, этот портрет, или нет? Если был — значит была в этой проклятой лжи какая-то ничтожная, микроскопическая, тоже проклятая правда! Сколькими годами рискову я за нее заплатить? Десятью? Пятнадцатью? Может быть — жизнью?..

Позже уже, заметив над деревянным щитом, которым забрано было окно, сизый густок рассвета, я понял, что просидел в этом оцепенении страха добрых два-три часа.

А когда безнадежность ожидания Киры и курева перехлестывала уже в отчаяние, — щелкнул в двери запор и, просунувшись ко мне, веснушчатый дневальный поманил меня пальцем.

— Начальник разрешил вам находиться в приемной. И Кире тоже. Покуда сменимся в восемь ноль ноль утра. А тогда отведу вас к районному уполномоченному, — объявил он, и за горизонтом его веснушек взошли на участковое небо два сияющих Кириных глаза. Еще через минуту я сидел на скамье против начальнического окошка в сладком блаженстве осуществленных затяжек, которого ни в сказке сказать, ни пером описать, весь в табачном шевелящемся мареве и слушал сквозь это блаженство теплый прерывистый полушопот у самого уха:

— Понимаешь: мы спасены! Ким говорит, что почти на сто процентов. Он все устроил... Кто он? Ким? Ну, юноша этот в веснушках, как ты не соображаешь. Ким — это его имя. И он сбежал туда, к стенду, обследовать. Да, представь: был плакат с портретом, но портрет совершенно цел. Надорван только кант белый и совсем чуточку фон. И Ким написал рапорт, а здешний дежурный, я говорила с ним, поставил свою резолюцию. Иначе мог бы быть такой ужас — оба они говорят, ты представляешь себе? Ким прямо герой. Сейчас он делает копию для себя — там, видишь?

Юноша действительно сидел в дальнем углу приемной, навалившись на край стола над бумажными четвертушками; в его профиле под настольной лампой, как я сейчас разглядел, было странное сочетание славянских скул с античным скатом лба к переносью.

— Он чудный, — повторила Кира и, переходя на тишайший шепот: — Этот маленький евнух, который нас задержал, говорят, очень важный чекист. Поэтому отпустить тебя сразу отсюда не могут, но только — из районного НКВД. Ким ответит. Мне туда нельзя, но он уверен, что будет только фор-

мальность, а если нет — тотчас же мне позвонит... Да, все, все поправилось!

Я сам тоже чувствовал себя спасшимся от землетрясения, отправив Кири домой и покуда собирались к уполномоченному. Но по дороге начался ливень, который с милицейского плаща-палатки моего спутника скатывался вприпрыжку, а в меня вонзился гвоздем... Из окна передней, где ждали мы два часа, виден был промокший кусок первомайского плаката с вислыми буквами, складывавшими слово «бдительно»; о бдительности же, то есть о подвигах охотников за черепами, вполголоса рассказывал мне разболтавшийся Ким — я с удивлением узнал, что в одном только здешнем районе осквернителей лика «великого корифея» схвачено было до полдюжины, — словом, стало мне снова весьма тоскливо. Потом усатый канцелярист в милицейской форме пригласил за одну из анонимных дверей Кима, а через полчаса и меня.

Мне полегчало немного при взгляде на сидящего за столом: барский этакий облик, и в поставе головы, в розоватых холеных щеках под седыми висками — некий очень памятный мне плюскумперфектум: видно, старый военный, и даже пахло от него дореволюционным шипром.

— Так... — начал он, оглядев в чуть насмешливый прищур мой расхлестанный ворот и просыхающий оазисами пиджак, — Вы под шоффé, что ли, были этой ночью, когда задержали вас?

Вот и это его гвардейское «под шоффе» шло из далекого прошлого.

— Нет, почему... Был совершенно трезв.

— Ну, знаете, совершенно трезвые видят, за что хва-таются. Вы что, не заметили рядом портрета?

— Честное слов, нет!

— Гм... — помолчал он. — Этот парень в веснушках по-казывает в вашу пользу. Можете поставить за него свечку, потому что камуфlet получился для вас угрожающий. Попро-бую вас отпустить, но сперва все-таки напишите мне подроб-ное всему объяснение.

Канцелярист в смежной комнате вручил мне мои часы, бумажник и целую стопку гадкой бумаги, за которую цеплялось перо.

Странным образом провозился я больше часу, с дюжину перепортил листов и безрассудно, как потом оказалось, доканав принесенную Кирой пачку. Мысль о Кире, кстати сказать, отчасти мне и мешала: должен ли ее упомянуть? нужно ли сию вот минуту ей позвонить и можно ли звонить по личному делу из такого, где нахожусь, учреждения...

Наконец, помню, сделал последний росчерк, и запело во мне этакое восторженное кукаре�� и захлопало крыльями: свободен! свободен!.. Так и сбега  вниз по лестнице с крыльями за спиной.

А на последней ступеньке догнал усатый канцелярист и потребовал к уполномоченному обратно.

Он оказался теперь в военной форме, этот уполномоченный, с земляничного ворса петлицами на воротнике, и в глазах — ух, сердце во мне упало! — с какой-то тревожной поспешностью.

— Вышел некий конфуз! — сказал он. — Товарищ, который задержал вас вчера, позвонил в наше Управление — узнать, как поступили в отношении вас. Оттуда запросили меня. В общем, очень удачно, что далеко не ушли. Сейчас проедем вместе. Вашего свидетеля захватчу с собой.

«Свидетель» молча сидел всю дорогу на самом краю пружин, уважительно уставившись перед собою на барскую шею под земляничным околышем и желтые поскрипывающие ремни: от значительности момента у него даже посерели веснушки. Может быть, он робел. Меня же без всякого «может быть» гвоздил страх и заполняла горечь, когда из окна «эмки» — вплотную к тротуару мимо первопечатника Ивана Федорова — видел снующие ноги прохожих, вольные топать, куда глаза глядят, и думал о полоненных своих...

Центростремительная сила сыска и бдительности, я знал, влекла нас в лубянскую многоэтажную двойчатку, которую

ненавидели москвичи лютее, чем когда-то парижане Бастилию. Мне было хорошо знакомо место, где взорвали позднейших девять этажей: там, на углу Большой Лубянки и Фуркасовского, некогда стояла моя гимназия. В том же углу, на стене, обносившей гимназический двор, белела памятная доска с надписью: «Здесь был дом освободителя Москвы от поляков в 1612 году князя Димитрия Михайловича Пожарского». В последние годы, проходя иной раз мимо, я мечтательно фантазировал об исторической неизбежности, которая когда-нибудь взорвет и этот оплот насилия, и новая мемориальная доска станет оповещать об очередном освобождении. Знал я тоже и старое здание двойчатки, с часами, принадлежавшее страховому обществу «Россия». Туда, с началом первой мировой войны, перевели из Польши женскую гимназию Шпинс, а году в 17-ом «размешали» ее с нашей, и мы ходили чуть не каждый вечер «под часы» — танцевать с гимназистками, очаровательно непохожими на наших московских... Но прошу простить мне это лирическое отступление.

Я уже не помню теперь подробностей, куда и как въехали и прошли, но только небольшую комнату, почти пустую (два стула и стол), где я просидел до темна.

Меня в ней не закрыли; стерегли, нет ли — не знаю, но учитывали: пришел раз солдат показать мне уборную. «Там есть и кран — напиться», — сказал он и — на мой полуувопрос-полупросьбу: «К сожалению, не курю».

От всего этого, помню, мучительно грызла меня боль под ложечкой, выгрызая последки мужества; ощущал я себя «бездны на краю», заглянуть в которую мне было страшно; в самом деле: сколько же может человек так вот — ни за что, ни про что — ждать?

Тот же солдат повел меня, наконец, по ковровой плохо освещенной дорожке, через лестничную площадку, еще в один коридор, посадив у какой-то очередной безымянной двери.

Я сидел, обессилев, сцепивши за спинкой стула руки, чтобы не упасть, и — клевок за клевком — стало кидать меня в сон

и в невнятные, сквозь дремоту, припоминания. Минуя лестницу, заметил я странно знакомые мне перила над схваченным сеткой пролетом и, тоже как будто знакомые, зазубренные по краям ступеньки. Значит, находился я в старой части двойчатки, «под часами».

Похожую на тир ужину коридора, в которую я сейчас глядел, прерывала по касательной сбоку дверная створчатая арка, и не за этой ли аркой зеркально стелился зал, в котором мы лет без малого двадцать назад отплясывали со шпиковскими девчонками?.. Арка вдруг тронулась и поплыла мне навстречу, ширясь и покачиваясь, и в растрюбе ее всплыло лицо, тоже бесконечно знакомое и столь же бесконечно забытое, к которому никак не хотело подключиться имя, но подключалась вся стать и смутно — какая-то полуопоцелуйная размолвка в паузе между танцами, и за ней — стихотворные строчки на голубом с пасторальным уголышком альбомном листке:

Я рассердил вас, это горе!
Но все ж благословен тот час,
Когда у зала, в коридоре
Впервые я увидел вас...

Строчки вспыхивали одна за другой и бежали, как световой транспарант по крыше, то рассыпались и гасли, то складывались вновь:

И остальные встречи наши
Позвольте мне благословить...

Последние две строки этих моих школьных стишат никак не хотели появляться. Но помню их и сейчас, а тогда — то казалось мне, что вот-вот их нашел, то проваливался в совершенный мрак и ничто, в котором рассыпался вдруг собственное похрапывание, подумав про себя вслух: «Скажи пожалуйста, задремал!» Тотчас же и разлепил веки, потому что был в них пронзительный свет, и кто-то стоящий на пороге, с фасом, если с испугу сравнить, похожим на Павла Первого, наклоняясь надо мной, говорил, тоже весьма крикливым голосом, — да, это именно он, а не я говорил:

— Скажите пожалуйста, задремал!

Он продолжал говорить, забираясь за канцелярский свой стол, у которого в полуустул-полукресло с полукруглой спинкой показал мне садиться, а я, выкарабкиваясь из топи, куда увязила меня дремота, словно бы издалека и вполслуха слышал его слова.

— У Дюма, кажется, в «Графе Монтеクリсто» есть эпизод, — гово́рил он, — когда герой сладко спит, хотя наутро ожидает его, может быть, расправа. Где-то это в римских катакомбах, у какого-то романтического атамана, не припомню уж, как зовут.

— Луиджи Вампа, — вспоминаю я и тут же совершенно уже просыпаюсь от этой своей подсказки: был Луиджи Вампа, хоть и романтический, но все же бандит, и что если этот курносый просто-напросто спровоцировал меня на такую опасную аналогию.

Но нет, непохоже. Напротив, перехватив жалкий мой взгляд на сигареты в ларчике из карельской березы, он говорит: «Курите, курите!» и довольно долго молчит, давая мне насладиться затяжками, либо чтобы как следует рассмотреть; глаза у него буравчиками и тусменные, как говорят в народе, то есть как если бы кто подышал на роговицу, но позабыл протереть. Сходство со взбалмошным русским царем, кажется, налицо, к нему еще — глубокие в белесые волосы зализы и едва заметный подергивающий одну скулу тик.

Помолчав, он говорит:

— Я не сомневался, что подскажете мне из Дюма, — вы ведь читаете западную литературу в Сокольниках, я знаю. Гм... мог бы объявить, как у нас это принято: все, мол, и обо всех нам известно, но, по правде сказать, знаю о вас от свояченицы — она слушает там ваши лекции.

Помню, после его этих слов запело у меня в груди и замахало крыльями, но тут же и стихло: сигарета вернула мне душевное равновесие и настороженность, то есть память об игре кота с мышкой... Так отчасти в дальнейшем и получилось,

но — лучше, пожалуй, если приведу полностью тогдашний наш диалог, который с тех пор нетленно сидит в моей памяти, как впечатанный туда на машинке.

— Между прочим, — говорит он и кладет короткопалую руку на мышиного цвета папку, которой до сих пор я не замечал на столе. — Все уяснил, кроме, так сказать, предыстории этой вашей атаки на стенд. С чего именно схватились вы сдирать плакаты?

Я рассказываю ему о балетном выступлении, которого ждала Кира и о телефонном звонке насчет виденного кем-то анонса (увы, теперь-то я знаю, что всё это было чьей-то идиотской шуткой!). В заключение добавляю: «Я конечно ничего не сдирал; вы ведь знаете: у меня есть свидетель...»

— Свидетель? — переспрашивает он визгливо. — Вы имеете в виду этого юнца из милиции? Да? У меня есть другой свидетель — тот, который вас задержал. Известный нам иуважаемый товарищ. Кому, по-вашему, из этих свидетелей должен я верить? Вы знаете разницу между рядовым мильтоном и членом Коллегии... Разницу?

Он почти кричит, и на скулах его выступают пунцовые пятна. Все тепло, плескавшееся у меня в груди, скатывается вниз, как в прорубь. Я машинально тянусь к ящику с сигаретами и тотчас же отдергиваю руку.

Мы необыкновенно долго молчим — он думает, закусив нижнюю губу и беззвучно перебирая по столу пальцами; мне кажется, что я слышу, как шуршат его мысли...

Потом крепко проводит по лбу рукой и вдруг пододвигает ко мне сигареты.

— Да, да, курите!.. Кстати, по поводу «разницы» — собираю сейчас современный юмористический фольклор. Интересуюсь... Шуточные эти, к примеру, вопросы: «Что за разница между...» Знакомо вам?

— Не совсем.

— Ах, конечно, знакомо. Ну, скажем: «Какая разница между Волгой и священником?» Священник — батюшка, а Волга — матушка. А? В этом духе. На днях записал очень

даже изысканное: разница между девушкой и дипломатом. Слышиали?

Я слышал, но говорю, что нет, внутренне съеживаясь от этой своей неожиданной и подхалимской лжи.

Он рассказывает про «да» дипломата, которое означает «может быть»; про «может быть», которое значит «да», и про невозможное для этой профессии «нет» («какой же он после этого дипломат?»). — Теперь слушайте, — продолжает он, загибая зачем-то поочередно на ладонь короткие пальцы. — Если девушка скажет «нет», это значит «может быть»; если она скажет «может быть» — это значит «да», а если она скажет «да», то какая же она после этого девушка?.. А? Ловко?...

Он глядит на меня осклабясь и вопросительно — и я до сих пор со стыдом вспоминаю свое дрянное «хи-хи».

— Неужто не знаете чего-нибудь в этом роде? — спрашивает он.

— Нет. Разве насчет самого слова «разница». Но это — анекдот с бородой.

— Давайте, давайте!

Я рассказываю ему про сельского урядника, пославшего по начальству рапорт о прибитом к берегу утопленнике. Рапорт кончался словами: «Пола установить не удалось». — Дурак, разве не знаешь разницы? — спрашивает начальство при встрече. — Так что, ваше высокородие, разницу раки съели.

Никогда б не подумал, что этот горбуновских времен пустяк может вызвать такое оживление. Он долго и увлеченно смеется, странно втянув голову и подпрыгивая плечами. У меня же в груди опять возгорается тепло. «Раки, раки съели»... «разницу»... Какой фольклор! — повторяет он полюбившееся видно слово. Потом, выдвинув в столе ящик, достает kleenчатую, карманного формата тетрадку и, все еще пофыркивая смешком, заносит туда анекдот.

— Ну, разодолжили!... — говорит он, отложив тетрадку

и откидываясь на стуле — и я ловлю в его движениях словно бы некую разрядку и уют. — Ладно... Что ж мне теперь делать с вами? Сказать по совести, этот сосунок из милиции здорово вам помог. И знаете, как написал насчет разрушения, причиненного вами одному плакату? — Он раскрывает мышного цвета папку, перебирая скрепленные в ней листы. — Вот, слушайте: «...кромка порвата — так ведь и пишет, сукин сын, «порвата», хоть семилетку кончил!.. «...кромка порвата на полсантиметра от плечика товарища Сталина». А? Как вам нравится? На полсантиметра от плечика... Тоже ведь своего рода фольклор! В общем — выручил! А были вы сами, фигулярно выразиться, тоже на полсантиметра от... гм...

— Воркуты? — дерзаю я подсказать.

— Броде. Нето похуже...

Следует снова продолжительная пауза. Очень не по себе мне от этих пауз — все чудится за ними беда.

Но он, вдруг положив на стол локти и перегнувшись ко мне, усмехается каким-то своим мыслям и начинает необыкновенно доверительно:

— Пари держу, что раздумываете сейчас насчет веснущего своего спасителя: вот, мол, и под милицейским мундирем жива еще русская душа, богообоязненная, человеколюбивая и тому подобное... Которую, мол, не сумели испортить, несмотря на... и так далее. Ведь угадал?

— Представьте, нет. Я об этом не думал.

— Ах, оставьте! Интеллигенты вашего поколения обязательно все народники и богостроители... А на мой взгляд Белинский был совершенно прав, когда объявлял, что русский народ к Богу и религии совсем равнодушен. Что вы на этот счет скажете?

Я принимаю было вопрос за некий новый кошачий экивок в отношении мышки. Но думаю тут же: или — нет? Или просто ему, полуночнику по роду его неблагодатной работы, хочется почесать со мною язык?

— Мне этой темой как-то не приходилось заниматься.

— Скажи пожалуйста! А я вот недавно так даже пару

богословских книжонок прочел. Полюбопытствовал. Случилось мне тут одного... то есть я хочу сказать случилось мне дискутировать с одним фанатиком. «Народ, говорит, богоносец»... — цитаты разные. «Всю тебя, земля родная / В рабском виде Царь небесный / Исходил благословляя»... И тому подобное. Ну и, конечно, насчет любви и как это, постойте... всечеловечности. А сам проповедь сочинил с этакими скрытыми, понимаете ли, мотивчиками насчет сионских мудрецов, — нетерпимость прет из каждой строки. Как же, спрашиваю, — отец Моисей его по имени, — как же, говорю вы так, отец: Моисей, а антисемит?..

Вглядываясь в меня, он, кажется, замечает у меня на лице смятение, какое случается, когда вы не в силах внимать потоку чуждых вам слов, или, например, если попроше сравнить, когда кто-нибудь непрошенno начинает вас учить игре в бридж. Но тогда не думалось «проще», но казалось невероятным: чекист, интересующийся богословием! Теперь, припомниая, я нахожу это самым, может быть, любопытным в своей записи. Невероятно в мире, в сущности, все живое; вероятны в нем одни покойники... Но тогда я был в замешательстве.

Он замечает и останавливается.

— Вижу, это действительно не ваша область, — вздыхает он. — Жаль... Хотел впрочем только уверить вас в том, что этому вашему милицейскому Адонису просто-напросто подруга ваша вскружила башку, — вот он ради нее и полез в бутылку. Да, не что другое. А не будь подруги — так и не почесался бы!.. Кстати, продолжает он, и этого с небрежной полуухмылкой произнесенного «кстати» мне не забыть никогда, — кстати она, верно, места себе не находит, вас дожидаясь. Время-то — час ночи! Ну, и, конечно, свояченица моя выцарапала бы мне глаза, если б по моей вине вы перестали бы являться на лекции. Потому... — он поднимается, протягивая мне руку, — валяйте домой! Как говорят москвичи: пока!

За дверью перехватил меня солдат и повел. Он смущил меня на мгновенье, солдат, потому что беспокойное «куда»,

кажется, всегда неизбежно, если вас ведут по тюрьме. Но я тут же раздавил гадюку тревоги и — воспарил! Планировал вниз, как на парашюте, косяками и плавно по прямой, жмурясь и захлебываясь от стремительности полета.

Ощущение, когда осталась за спиной дверь и под ногами песчанно шуркнул тротуар, словами не передашь, потому что из любых слов оно переливается через край. Жадно, как никогда, глотнул ночной терпкий воздух вместе с млечным светом фонарей с мерцающей впереди площади. И еще один животворный вздох, и еще...

Улочка, куда меня выпустили, была как пробитая гигантской секирой траншея, каменно взметнувшаяся вверх. Крупные звезды горели там, на синем впрозеленъ небесном полотнище между двумя ребрами крыш.

И я перекрестился на эти звезды...

Л. Ржевский

I

Шел, укрывался — неделями.
Первые ночи — без сна.
Чуть начиналась весна
Сразу за темными елями.

И за лесами-туманами
Серые стлались дымки.
Чудились где-то свистки,
Люди с лиловыми ранами.

Эх, помирать-то не хочется!
Есть еще дома дела.
Лунная ночка смуглa,
Ночь — как цыганка пророчица.

В доме казенном тревожатся:
Дальней дорогой иду.
Эх! На таком холоду
Морщится лунная рожица.

Холод-то, может, во мне?
Плакаться — дело ненужное.
До моря теплого, южного
Я доберусь по весне.

II

О, Судьба, немая криптограмма,
Разве можно разгадать?
(Музыка из дальнего Сезама
Обрывается опять).

Арабески, темные узоры —
Что колдуешь, чародей?
Точно клады, феи, мандрагоры,
Скрыты судьбы от людей.

О, пройдем сквозь темные преграды
К чародейному дворцу!
Там карнатиды и каскады
Темной вечности к лицу.

Подойдем к таинственной Сивилле:
Здравствуйте, ворожея!
Никогда вы нам не говорили
О загадках бытия.

Но она дурманных восклицаний,
Заклинаний — не прервет,
Лишь скривит — в отравленном тумане —
Усмехающийся рот.

Игорь Чиннов

ЗАГАДКА ЧЕХОВА

...До сих пор не понят, как следует: слишком своеобразный, сложный был человек.

И. Бунин: «О Чехове».

Первый раз услышал я об этом давно, лет десять, двенадцать назад, а недавно, тоже случайно, услышал и подтверждение, — о том, что Корней Чуковский был сильно раздражен, прочитав статью Льва Шестова о Чехове «Творчество из ничего». Отозвался он о ней, говорили, уничтожающе. По-моему, есть чему удивляться: Чуковский, ровесник Бориса Зайцева, немного моложе Бунина, дышал воздухом начала века, знал настроения тех лет, когда Шестов писал свою статью, — откуда же такое раздражение?

«Творчество из ничего» Чуковский, как мне передавали, перечитал в пятой книге альманаха «Мосты» (1960), где эта статья, опубликованная впервые в сборнике Шестова «Начала и концы» (Петербург, 1908), была перепечатана. Предложил ее редакции перепечатать Георгий Адамович. Признался, страховки ради я, редактируя альманах, попросил Адамовича написать предисловие: прошло полвека, статья не могла не устареть. Но, как писал и Адамович, стоило познакомить нового читателя с этой интересной статьей, с особым мнением талантливого и оригинального, тогда еще довольно молодого Шестова, мысли которого могли бы вызвать живительную полемику.

Ее однако не последовало. Не в полном ли сходстве с самой судьбой Чехова, — с судьбой его наследства, литературной славы, всеместной любви? Полушутя, он говорил, что читать его будут семь лет, — читают его, чуть не повсюду в мире, ставят в театре его пьесы, экранизируют его произведения уже семьдесят лет, после кончины в 1904 году. И не видно, чтобы влечение к нему прекратилось. Между тем мало

пока было попыток раскрыть, узнать зерно тайны этого влечения к писателю, едва ли не последнему нашему классику, которого на один уровень с Толстым или Достоевским все же не поставишь.

Писали о Чехове, разумеется, много, в особенности в Советском Союзе: там о нем вышли десятки книг и не перечесть статей. Все их можно разбить на три главные категории: 1. Воспоминания, о которых, обобщая, можно сказать, что среди них есть честные и добросовестные, как, например, сестры писателя Марии Павловны (хотя и в них вставлено созвучное соцканонам!), или менее честные, как Максима Горького, большого нелюбителя правды. 2. Исследования документального и текстологического характера, — часть из них ценна и интересна (в том числе и книга Чуковского о Чехове, «тайны» не касающаяся), большинство же бесконечно повторяют давно открытое и не нужны никому, кроме их авторов. 3. Бесчисленные попытки занести Чехова в ряды «предтеч», присвоить его, «поставить на службу социализму». Тут нагорожены неоглядные горы глупостей, вроде того, что сначала Чехов резво «обличал мещанство, пошлость, обывательщину», а потом взялся «рисовать идеальные искания интеллигенции», «разоблачал либерально-народнические иллюзии», «бичевал самодержавно-полицейский режим» (подлинные фразы из советских изданий). Как докучали Чехову дореволюционные критики, объявлявшие его «певцом хмурых людей» и «сумеречных настроений»! Но как далеко им до советских ловкачей, посмертно сживающих писателя со света и поднимающих на пьедестал пестро размалеванное чудище!

Спастись от этой чертовщины в нашей стране некуда, она въедается в кожу, в мозг — и делает свое дело. Вы и не хотели бы, но поддаетесь — и глядь, как по Гоголю, незаметно для себя начинаете дудеть в ту же дудку. Тем более, если у вас есть хоть малейшее к тому предрасположение (а у какого российского интеллигента его не было?) и слабоватым оказался иммунитет. Винить тут некого, — но не похоже ли получилось и с Чуковским, затруднившимся спокойно оценить статью Шестова, хотя он должен был бы хорошо знать продиктовавшие ее взгляды и настроения?

В отношении советских публикаций стоит отметить одно различие, подчас смутное, не всегда легко уловимое. Оно в

том, что в воспоминания М. П. Чеховой о братеозвучное чертвщине вставляют идеино вооруженные редакторы, — другие задачу «осознавания» выполняют сами. Тут тоже в обоих случаях раскрытие «тайны Чехова» остается за бортом.

Эмиграция, слава Богу, свободна от требований «осознавания», но силы ее и в лучшие времена были не так велики. В ней тоже писали о Чехове, однако большие работы, книги, были редкостью. После войны вышли две, обе в Чеховском издательстве: в 1954 году Бориса Зайцева «Чехов» и в 1955 году — И. А. Бунин «О Чехове». Обе они стоят десятков «исследований», выпущенных в Советском Союзе. И обе вызывают не мало попутных размышлений.

Книга Бунина предсмертная, неоконченная, многое в ней недоговорено, оборвано, местами она похожа на черновые наброски. Они сделаны однако сильной рукой большого мастера, как все у него. По сравнению с ней книга Бориса Зайцева может показаться несколько расплывчатой, зайцевски-смягченной, — впечатление это ошибочно. Страница за страницей она подводит к раскрытию «тайны Чехова», — Бунин к «тайне» почти не приближается. У Бунина больше о Чехове-писателе и человеке, — у Зайцева о скрытых токах чеховского творчества, его подпочве: о Чехове-писателе, следующем своему призванию, распространяться о чем он не любил. А Бунин о «призвании» или «долге» писателя не любил говорить не меньше, чем сам Чехов.

Бунин считал, что «Творчество из ничего» — «одна из самых лучших статей» о Чехове. Шестов, писал Бунин, первый увидел, что у Чехова «беспрощадный талант». Согласен он и с утверждением Шестова, которое можно считать кульмиационным в его статье, что — «в руках Чехова все умирало». Правда, делал он и оговорки. Так, по поводу слов Шестова, что «молодое поколение ценило в Чехове талант, огромный талант», Бунин заметил: «Как же могло ценить молодое поколение такого ‘убивателя’?»

Но подобные оговорки, на которые сослался Георгий Адамович (в предисловии к статье Шестова), по-моему, вопреки его мнению, не совсем снимают большое расхождение между Шестовым и Буниным, отмеченное Адамовичем. В предисловии он писал: «Бунин приписывал Чехову суровость, жестокость по отношению к людям, Шестов же говорит лишь о человече-

ских верованиях, об иллюзиях, о ‘цельных’ и ‘стройных’ мировоззрениях и миросозерцаниях, от которых Чехов не оставляет камня на камне. Жалости к людям он у Чехова не отрицает и даже склонен счесть, что человек, у которого иллюзии отняты, больше нуждается в помощи и сочувствии, чем тот, который видит ‘огоньки впереди’... ‘В руках Чехова все умирало’: да, умирали надежды, разлагался упрощенный, наспех найденный ‘смысл жизни’, но и только. Люди не умирали, и во всяком случае в пропасть Чехов их не толкал. Шестов в суждениях о Чехове — лишь частично союзник Бунина и оставляет его на полдороге».

Это весьма существенное расхождение, приписывание Чехову сорности, больше того, жестокости к людям, тогда как беспощаден он был лишь к упрощенным верованиям, показывает, что Бунин увидел у Чехова несвойственные ему черты (может быть, близкие самому Бунину?). Есть у Чехова и Бунина и другие крупные расхождения (некоторые отмечу ниже), — они дают основание говорить, что Бунин, несмотря на хорошее знание Чехова и дружбу с ним, видел его очень по-своему, по-своему и понимал.

Ничего необычного тут нет: они были разными людьми и, поддерживая дружеские отношения и ценя общение друг с другом, ко многому относились различно. Так, невозможно предположить, чтобы Бунин, как Чехов, с увлечением строил школу, больницу, библиотеку, помогал голодающим, поехал на Сахалин. Даже и относя эту его деятельность к заслугам Чехова, Бунин отзыается о ней без большого одобрения, а поездку на Сахалин он осудил.

Вершина различия — отказ Чехова от звания почетного академика, из-за неутверждения избрания в академики Максима Горького. Этот поступок Чехова Бунин, тоже почетный академик, порицает и отказывается понимать. Он пояснил, что Горький тогда находился под следствием, кроме того, он мог бы использовать свое звание неподобающее, — все это верно, но бунинские объяснения не устраниют того, что он в данном случае Чехова не хотел понимать, хотя отлично знал его убеждения.

Разночинец Чехов — типичнейший российский интеллигент, а в то же время и особая его разновидность. Отрицая радикализм, левизму, революционные идеи, беспощадный к «цель-

ным» и «стройным» мировоззрениям, без которых российский интеллигент не легко представим, Чехов вместе с тем болезненно-остро воспринимал каждую несправедливость, унижение человека, неуважение человеческой личности, покушение на ее свободу и достоинство. Случай же с Горьким был возмутительным примером такого неуважения, по отношению не только к Горькому, но и к самому Чехову.

Отказываясь от звания почетного академика, Чехов писал, что извещение об отмене присвоения звания Горькому — «исходит от Академии наук, а так как я почетный академик, то это извещение исходило и от меня. Я поздравил сердечно, и я же признал выборы недействительными, — такое противоречие не укладывается в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».

Бунин заметил: «...мотивировка отказа Антона Павловича от звания почетного академика слабая». Следовательно, строгую принципиальность, щепетильную верность Чехова своим убеждениям (в одном месте Бунин отлично подчеркнул его «великий аристократизм духа»), Бунин как бы посчитал недостатком! Остается разве руками развести или сослаться на бунинское своевольство, не раз вводившее его и не в такие казусы.

Оба они, Чехов и Бунин, относились к Горькому в сущности одинаково, оба не переоценивали его ни как писателя, ни как человека. Тем более поступок Чехова доказывает редкое его благородство. Вообще же этот случай — на совести фронтонировавших академиков, избравших Горького в свою среду, потом взявших свое решение обратно, ни в первый, ни во второй раз видимо не озабоченных возможными для других последствиями. Все вполне в духе того времени, — впрочем, только ли того?

Бунин привел в своей книге цитату из «Самопознания» Н. А. Бердяева, об определении им «творчества из ничего». Бердяев писал, что основная его мысль — «творчество есть творчество из ничего, то есть из свободы... Творческий акт нуждается в материи, он не может обойтись без мировой реальности, он совершается не в пустоте, не в безвоздушном пространстве. Но творческий акт человека не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент сво-

боды, который привходит во всякий подлинный творческий акт. В этом тайна творчества. В этом смысле творчество есть творчество из ничего. Это лишь значит, что оно не определяется целиком из мира, оно есть эманация свободы, не определяемой ничем извне».

Это интересная и глубокая мысль, — но большое ли отношение имеет она к мыслям Шестова в его статье «Творчество из ничего»? Шестов писал о другом: о том, что творчество Чехова было совершенно независимым, даже противоположным всему кругу идей и умонастроений, которыми жило общество его времени и которые Чехов «убивал», не оставляя от них камня на камне, как писал Адамович. Чему же он верил, чему поклонялся, что было движущей пружиной его творчества? Ни во что не верил? И, следовательно, творил из ничего?

Вопрос заключался не в абстрактном определении истоков творчества, а в совершенно реальном, до осязаемости, факте: вот, жил замечательный писатель, творил замечательные произведения, читает их вся Россия, — а почему творил, ради чего? — недоумевает Шестов. Никакие «передовые идеи» не признавал, не восхвалял, напротив, развенчивал, старался убить, ничему не верил, атеист, — что это за явление? Все писатели, как писатели: тот богоисканием занят, другой зовет «вперед, на бой со тьмой», или социализмом увлечен, третий горой стоит за «искусство для искусства», четвертый ратует за что-то еще, — все увлечены своей верой, своими идеями и стараются осчастливить ими других. А Чехов? Что за странная аномалия? И Шестов по-своему логично, в духе времени, предположил, что: «Чехов был кладокопателем, волхвом, кудесником, заклинателем. Этим объясняется его исключительное пристрастие к смерти, разложению, гниению, безнадежности». (Бунин на это ничего не возразил). Иначе говоря, Чехов явление ненормальное, может быть, даже близкое к миру нечистой силы. Недаром еще Михайловский подметил у Чехова «недобрые огоньки» и предостерегал читателей.

Статью Шестова невозможно понять, не помня о господствовавших тогда воззрениях, которыми жило общество, находившееся почти безраздельно во власти рационализма и позитивизма. И Чехов отдавал им немалую дань, — но творчество его оставалось от их груза свободным (Шестов, Бунин, другие писатели отмечали удивительную свободу чеховского твор-

чества) и подчинялось не идеям и настроениям времени, а чему-то другому, высшему. Однако увидеть это тогда было слишком трудно, мешала въевшаяся в душу «прогрессивная» злоба дня, — вероятно поэтому Шестов в своей статье много внимания уделил «Скучной истории», «Палате № 6» и прошел мимо «Дуэли», «Студента», «Мужиков», «В овраге», «Архиерея».

Очень показательно, на мой взгляд: Бунин, высоко ставя статью Шестова, после нее сразу перешел к совсем другим, противоположным мыслям о творчестве Чехова, выделив их тоже особо. Он писал: «По новому подошел к Чехову и М. Курдюмов... указавший на религиозность в подсознании Чехова».*

По мнению Курдюмова: «Чехова у нас просто не дочитали до конца... Без преувеличения можно сказать, что он — один из самых свободных художников в русской литературе. А по значению поставленных им вопросов, по его проникновению в глубину русской души с ее мучительными поисками высшего смысла жизни и высшей правды, Чехов превосходит и гениального бытописателя русских типов Гончарова». (О «гениальности» Гончарова, понятно, есть и другие мнения. Бунин заметил: «Чехов не любил Гончарова и серьезно раскритиковал «Обломова» в письме Суворину»).

Вот еще несколько мыслей Курдюмова о Чехове:

«Никогда ни в чем он не скрывал того, что человеческая скорбь ему всегда была несравненно дороже, важнее, интереснее ‘гражданской скорби’... Чехов, внимательно читаемый теперь, после кровавой русской катастрофы, не только не кажется изжитым до конца, но становится гораздо ближе, во многом понятнее и неизмеримо значительнее, чем прежде...

В то время, как крикливо прославленный современник Чехова, Максим Горький, победно восклицал: ‘человек... это звучит гордо!’, Чехов всем своим творчеством как бы говорил:

* В книге «Сердце смятенное», вышедшей в эмиграции в 1934 году. Г. П. Струве сообщил мне, что «М. Курдюмов» — псевдоним писательницы Марии Александровны Каллаш, в 20-х годах сотрудницы «Возрождения». Книгу ее трудно достать, но в больших университетских библиотеках она наверное есть. Мне было довольно цитат из нее в книге Бунина, откуда их и привожу.

'человек — это звучит трагически. Это звучит страшно и жалостно до слез'...

Для Чехова всегда на первом плане стояла личность, данная индивидуальность, та единственная и неповторимая живая душа, которая, по словам Евангелия, стоит дороже всего мира...

Печаль Чехова и его героев — печаль библейского Екклезиаста, — самой печальной книги в мире: 'Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?.. Не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием'...

Чехов подводит человеческую мысль и человеческое сердце к тоскливой мысли о неразрешимом. Для него проблема неразрешимого гораздо важнее всего остального на свете — важнее 'прогресса', 'блага человеческого' и всех достижений...».

Бунин пишет, что Курдюмов считает «Три сестры», «Дядю Ваню» и «Вишневый сад» лучшими пьесами Чехова и добавляет: «Я не согласен: лучшая «Чайка», единственная. Но все же я неправильно писал о его пьесах. (Уникальное признание в устах Бунина! Г. А.) Прав Курдюмов, когда говорит, что 'главное невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях — беспощадно уходящее время'...».

Замечательно подмечено: главное — беспощадно уходящее время! И поглощенность трагизмом человеческой жизни, скорбью человека, обреченного на конечную неразрешимость, безвыходность, чего могут не знать, не признавать лишь религиозного склада люди. Это тотчас же переводит нас в другой план, на свежий воздух, из темного, в паутине и пауках душного подвала, обиталища нечистой силы, куда заталкивал Чехова Шестов. Разве не в этом опровержение догадки, что творчество Чехова исходило «из ничего»? Разве не создавалось оно исключительным даром, огромным талантом и глубочайшей, в бердяевском смысле, его свободой — плюс такой же скорбью писателя, его видением обреченности живых душ? И разве не тут надо искать разгадку «тайны Чехова», преданного влечения к нему, к его творчеству, по меньшей мере последних пятнадцати лет жизни писателя?

Шестов предположил в своей статье, что когда Чехову было 27-28 лет (1888-1889) и появились «Скучная история» и драма «Иванов», обнаружилось, что — «в нем произошел

внезапный и резкий перелом, отразившийся в его произведениях». До того — «Молодой Чехов весел, беззаботен и, пожалуй, даже похож на порхающую птичку», — после перелома: «...нет прежнего Чехова, веселого и радостного, а есть угрюмый, хмурый человек...».

Шестов преувеличил: даже тяжело больной, Чехов не всегда бывал угрюмым и хмурым. Но он не раз говорил, писал в письмах, что в молодости был «веселым и беззаботным». Л. Авилова в своих воспоминаниях привела его слова: «До тридцати лет я жил припеваючи», хотя, как мы знаем, была и большая нужда, и отчаянная работа, в шуме и гаме семьи, на краешке стола.

Бунин согласен, что «перелом» был, он так в своей книге и написал: «Смерть брата. Перелом» — 17 июня 1889 года умер Николай, брат Антона Павловича. Но был ли вызван перелом этой смертью? И разве в более ранних вещах Чехова не звучали иногда те же тона, что и в поздних? Кроме того, «Иванов» был начат в 1887 году, окончен в 1889, «Скучная история» написана летом 1889-го, а задумана несомненно раньше, до кончины Николая Павловича. И не вернее ли предположить, что настроения, вызвавшие перелом, были у Чехова и прежде и что перелом вовсе не был внезапным: Чехов пришел к нему с годами, а главное, после большого успеха «Степи» (1888), который очевидно заставил его более серьезно относиться к своему дарованию и увидеть наконец себя настоящим писателем. До этого, по его же словам, он, врач, на свою литературную работу смотрел как на побочную, не имеющую первостепенного значения. И не это ли изменение, осознание себя писателем, вызвало перемену в характере его творчества? Тем более при его твердом убеждении, что: «Талант — это труд, талант — ответственность, талант — это совесть», или: «Литератор — это человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совести». Такие утверждения, бывшие для него отнюдь не пустыми словами, иногда встречаются в письмах Чехова, — как же мог он после них вернуться к беззаботности Антоши Чехонте?

Книга Бунина осталась неоконченной и мы не знаем, какой она стала бы после окончательной обработки им. Может быть, он нашел бы нужным некоторые разнотечения в ней, вызывающие противоречия или неясности, устраниТЬ и как-то подытог-

жить свои заметки и размышления. Доподлинно одно: Бунин ни к кому из современников не относился так, как к Чехову. Толстой, конечно, не в счет, он и для Бунина вне сравнений; вообще же Бунин, пожалуй, равным себе никого не призывал, — кроме Чехова, которого, может быть, соглашался ставить и выше (в «Воспоминаниях» выделил он из всех, кажется, только Эртеля, явно ему не ровню). В книге «О Чехове» в одном месте он воскликнул: «Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было!» И не раз подчеркивал необычайную поэтичность чеховских произведений, — можно лишь безоговорочно присоединиться к его такому в данном случае авторитетному мнению. Повторяю однако, что книга его местами говорит об очень своеобразном, «бунинском» понимании Чехова, либо даже о недостаточном понимании, что отчасти отразилось и в строке, взятой эпиграфом к этим моим заметкам.

Читатель ее может обратить внимание на одну казалось бы странность: Бунин довольно подробно сослался на книгу Курдюмова, говорящую о «религиозности в подсознании Чехова» — и ни словом не упомянул о книге Бориса Зайцева «Чехов», в которой еще резче выражено мнение о христианских, даже собственно православных корнях его творчества. Правда, книга Зайцева вышла перед самой смертью Бунина, но отрывки из нее печатались раньше и о взгляде Зайцева Бунин не мог не знать. Причина простая: в послевоенные годы между ними произошла размолвка и хотя Зайцев делал шаги к примирению, ссылаясь на давнюю дружбу, с телешовских «сред» в Москве, и на то, что они двое остались последними русскими писателями начала века, его «противника» ничто урезонить не могло. Он и в письмах, и устно поносил Зайцева, словно стараясь оправдать мольбу о его, Бунина, тяжелом характере. Факт этот известен мало и еще остающимся свидетелям может быть следовало бы пролить на него свет, для историков литературы, устанавливающих обстоятельства создания отдельных произведений, как и писательского быта.

Исследуют историки может быть еще и вот что: книга М. Курдюмова вышла в 1934 году, — книга Бориса Зайцева двадцать лет спустя, в 1954 году. И одна, и другая говорят о религиозных, христианских истоках и основах творчества Чехова, — но можно ли говорить о каком-либо влиянии взглядов Курдюмова на взгляды Зайцева? О заимствованиях или совпаде-

нии? Зайцев о книге Курдюмова не упоминает совсем, однако трудно предположить, чтобы он о ней не знал: в эмиграции о Чехове и до войны вышло всего несколько книг. Бунин считал, что Курдюмов «по новому подошел к Чехову»: не заметить новое явление в литературном кругу эмиграции было нельзя.

Вместе с тем можно допустить, что книга Курдюмова действительно прошла мало замеченной и Бунин оказался счастливым исключением. Ф. А. Степун, живо интересовавшийся литературной жизнью эмиграции, близкий участник «Современных записок», в 1961 году напечатал статью «Б. К. Зайцеву — к его восьмидесятилетию» («Мосты» № 7), в ней о книге Зайцева он писал: «Чехов, и в этом все значение зайцевской книги, видится ему в совершенно новом свете» и дальше говорил о раскрытии «в творчестве Чехова им самим неосознанных, но глубоких в нем религиозных корней». Следовательно, Бунин «новый подход» к Чехову увидел в книге Курдюмова, а Степун в книге Зайцева, вышедшей позже на двадцать лет; книга Курдюмова таким образом осталась Степуну неизвестной. Все это и подлежит исследованию.

Взгляды Зайцева в его книге хорошо аргументированы; сошлюсь на один лишь пример, относящийся тоже к «Скучной истории», увиденной совершенно иначе, с горы, бесконечно далекой от позитивистского подвала начала века. Вооруженный другими взглядами, другими глазами, Зайцев, рассказав о «повестушке», заключает: «Писатель совсем, собственно, молодой... взял уходящего профессора, переоделся частью в него, написал пронзительную вещь и, не сознавая того, похоронил материализм, о котором всегда отзывался с великим уважением. Художник и человек Чехов убил доктора Чехова».

Но сошлюсь лучше на Степуна, он хорошо написал о книге Зайцева в юбилейной статье, в «Мостах». Отметив, что, по его мнению — «портрет Чехова, написанный Зайцевым, верен», тем не менее он пишет о нем как бы несколько со стороны, не сливая полностью свое мнение с мнением Зайцева. Он подчеркивает: «Зайцев считает, что, отдавая дань требованиям своей эпохи, Чехов в глубине души все же не был атеистом, а лишь казался таковым. Не утаивая того, что Чехов был материалистом интеллигентской закваски (выше Степун аттестовал Чехова, как «убежденного материалиста-науковеда». Г. А.), Зайцев обращает внимание и на то, что он очень отличался от защит-

ников быстрого политического прогресса, в чем его неоднократно упрекали не только идеиные критики, но и неидейные друзья... Конечно, он был весьма отзывчивым врачом ...но он никуда не звал, никуда не вел, ничего не исповедовал и ничего не провозглашал. Под его науковерчеством зияла пустота, тоскующая, в изображении Зайцева, по Богу», — что так отчетливо выражено как раз в словах старого ученого в «Скучной истории».

Упомянув, что писал Зайцев о «Степи» и «Дуэли», Степун дальше пишет: «Самой замечательной вещью Чехова Зайцев считает 'В овраге'. Начинается она с дьякона, который один съел икру... а кончается словом 'креститься'. Перед концом рассказ возносится на такую духовную высоту, которую в русской литературе можно встретить только у Достоевского. Мир, который описывается Чеховым в 'овраге' — страшный мир, исполненный озлобленной темноты и прочно укоренившийся, в быту обжитой преступности. Но к концу над этим мраком восходит нездешний свет. Когда затравленная и забитая семьей мужа Липа несет из больницы домой своего мертвого ребенка, она у костра встречает мужиков, которым, — кому повем печаль мою, — и рассказывает о своем горе».

«Старик... подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты мать, — сказал он. — Всякой матери свое дите жалко...

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова».

Степун пишет: «Старик не пророк и не святой. Он из Фирсанова. Но самый тон разговора такой, будто дело происходило не близ Фирсанова, а в Самарии или Галилее.

Все мы читали и перечитывали Чехова. Но тот Чехов, который открылся Зайцеву и которого он написал, мало кому виделся. Да и сейчас против этого нового образа многие протестуют, несмотря на то, что Зайцев в свою защиту мог бы солаться на самого Антона Павловича. В рассказе «Студент», который Чехов по его собственным словам особенно любил, встречаются такие слова:

‘Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно

до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле'...»

Перенесемся теперь в наше время, лет на шестьдесят позже и даже больше. И обратимся к таким строкам:

«Можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего Он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование...» — Это, как вы помните, из «Доктора Живаго» Пастернака, слова Веденяпина, дяди Юрия. Или к строкам из стихотворения «Рождественская ночь», в конце романа:

«И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы...»

И заключительная строфа последнего стихотворения к роману — «Гефсиманский сад»:

«Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплынут из темноты».

Можно бы сказать: круг замкнулся. Но вряд ли, да и «круг» жизни не может замкнуться. Вернее: возвращаются мысли и сердца на круги свои.

Пастернак любил Чехова, есть об этом строка и в «Докторе Живаго». И как знаменательно: пройдя долгий путь увлечений и соблазнов, автор «Доктора Живаго» свои метания заключил мыслями, настроениями, чувством, которые были ему близки в его начальные годы. В этом романе, совершенно не чеховском, в его духовном наполнении, много тесной близости к миру Чехова, к приведенным выше строкам из «Студента» и к таким же местам в других чеховских произведениях. Что

же, заключить, что наша литература, сбитая на окольные и скользкие пути заблудившихся в потемках душ и бесплодно проковылявшая на них несколько десятилетий, начинает вновь находить себя и подниматься на утерянные духовные высоты? Или такое заключение еще преждевременно, несмотря на возращение Пастернака, на появление Солженицына, затем Максимова, идущих тем же путем, других писателей? Может быть они, первые, весны еще не делают?

Помня бунинское «Такого писателя еще не было!», можно бы сказать и так: не явился ли атеист Чехов в нашей литературе, в сгущавшейся, предгрозовой обстановке, накануне величайшего кризиса, как предзнаменование, указание пути, на котором, если бы по нему пошли, даже без отказа от преходящих верований, не злостных заблуждений, могло ожидать здоровое, человечное продолжение? А мы, свернув в сторону, не поняв и не разглядев, от него отказались? Основания для такой мысли, во всяком случае, есть.

Степун писал, что «против нового образа» Чехова, созданного Зайцевым, «многие протестуют». Но это в порядке вещей и ничего не меняет — в том, что смотреть теперь на Чехова ни с шестовской точки зрения, ни тем более с советской, — как и с бунинской, — нельзя. Чехов открывается нам, как большой писатель христианской культуры, ни в чем не изменяющий ей, но умножающий ее богатство. И это надо подчеркивать. Наша большая литература XIX века, классика — литература дворянская; Чехов первым вошел в нее из разночинцев, точнее, из интеллигенции, не как ниспровержатель, а как утвердитель. Другие, из интеллигенции, большей частью замахивались разрушать, и разрушали здание культуры, — Чехов один, из писателей его масштаба, старался укреплять, тем самым поддерживая и укрепляя человека. А этим он вернее и прочнее, чем кто-либо из окружавших его современников, включая и такого замечательного художника, как Бунин, первый у нас лауреат Нобелевской премии, продолжал традиции русской литературы и культуры.

Между прочим, в книге Бунина есть строки, где он ворчит, что вот, теперь Чехову приписывают какую-то там особенную человечность, тогда как ничего такого за ним не водилось и был он человек очень трезвый и цену себе знал. Но разве одно другому противоречит? Или мешает? Бунину, может быть, и

мешало бы, при его душевном складе, — а Чехову? Он в нашей литературе явно из стана человечности: из стана христианского гуманизма, имеющего не так много общего с арелигиозным просвещенческим гуманизмом, способным переходить в атеистический, с завершением в воинствующем античеловечном «социалистическом» псевдогуманизме.

Место Чехова определить не легко. Толстой, так любивший Чехова, хотя и коривший его за то, что пишет пьесы, да еще хуже Шекспира, — олимпиец, он и без малейших претензий к тому располагается на Олимпе, как у себя дома, в Ясной Поляне. Достоевского на Олимп надо как-то взгромождать: всей своей нервностью, издерганностью, непослушно взмахивающими в стороны руками, ногами, упрямой головой он сопротивляется, застревая в любой ширине воротах; он и на Олимпе будет себя чувствовать прескверно, тем более, что рулетки там нет, — но помещать его больше некуда, он прописан на Олимпе на постоянное и почетное жительство.

А Чехов, — что ему там делать? Да и не подходит он никак к Олимпу, со своим докторским пенсне, с тихим покашливанием и смущением, какие ему штаны надеть, идя к Толстому, пошире или поуже. Он же не занимался решением мировых проблем и не старался предписывать, как и чем человеку жить. Он жил с людьми, работал, писал о них и для них, тем и довольствовался. Его не оторвешь от людей, — с нами ему и оставаться. И за это пользоваться не часто высказываемой, но верной, идущей из глубины душ любовной признательностью.

Г. Андреев

В ПЯТИ МИНУТАХ ОТ КАРНЕГИХОЛА

В пяти минутах от Карнегихола
Дома расположились, как оркестр
И светофор, как дирижер веселый
Ведет машины в солнечный проезд.
В пяти минутах от Карнегихола
Какой нибудь прохожий громобой
Прокатит гром и тучей длиннополой
Прикрыв асфальт, пошлет меня домой.
Фонтан клубит и летний густ бензин
И у фонтана музыкален голос,
И музыкой торгует магазин
В пяти минутах от Карнегихола.
Тридцатый год скрывается в такси,
Гремит в подъезде запыленной створкой
И улицы оркестром огласив
Трубит Париж над крышами Нью-Йорка.
Бастуют музыканты, просят льгот
Тридцатый год, семидесятый год,
Афиши на фасаде шелестят
И виртуоз из Токио в гостях.
И чувствуя осеннее тепло
И памятуя бег стихий веселых
Глядит Колумб в оконное стекло
В пяти минутах от Карнегихола

Олег Ильинский

ПИСЬМА О ПОЭЗИИ

I. ИГОРЬ ЧИННОВ

На остров Цитеру. Выпьем в пути.
Ну что? Цикута в бокале?
И горький миндаль. Миндаль? Почти
Цианистый калий.

Игорь Чиннов. Комозиция.

Когда — увы! через много лет — будут писать (без «идеологической» правки) историю русской литературы XX века, то раздел поэзии составят две самостоятельные главы: «Поэзия в СССР» и «Поэзия в эмиграции», причем поэзии в эмиграции уделят места наверное больше, чем поэзии в СССР. Это несопоставимое объема и кажущейся важности объясняется просто: поэзия может быть только настоящей, а настоящая поэзия может быть только свободной.

Тут нужно сделать поправку — не «идеологическую», а фактическую: поэзия в СССР не связана абсолютно, кое-где слышатся свободные голоса, несмотря на общую обстановку «соловья у кошки в лапах»; с другой стороны, свобода поэта в эмиграции тоже не та, которую поэт хотел бы иметь: поэт-эмигрант не легко получает доступ в печать (в журналах тесно, издавать сборники дорого), а, получив этот доступ, получает также и свободу «гласа, вопиющего в пустыне», что, конечно, не может не отражаться на его творчестве. То и другое будущий свободный историк русской поэзии XX века примет во внимание. Но этот историк еще не родился, мы живем еще в XX веке и потому, по мере возможности, мы должны облегчить работу этого будущего историка и время от времени говорить о нашей эмигрантской поэзии, которая все-таки неизмеримо свободнее поэзии «там».

Начиная наше письмо о поэзии, спросим себя: чего мы

хотим или ожидаем от поэта? Прежде всего, если мы начнем читать его, мы хотим, чтобы поэт походил на нас:

Нам нравятся поэты,
Похожие на нас

сказал Бальмонт и сказал верно. И вот тут-то и может быть полезен обычно эгоцентричному читателю критик и рецензент (что не совсем одно и то же: задача рецензента — указать, что и как написано, задача критика — показать, почему и отчего так написано). Рецензент устанавливает факты; критик подобен химику-аналисту.

Правда, особенно в последнее время, критика поэзии в эмиграции склоняется в сторону импрессионистическую: критик говорит только о своем *впечатлении*, которое на него производит поэтическое произведение. В этом нет ничего незаконного (по О. Уайльду «kritik передает другими словами впечатление от прекрасного»), но при этом подходе есть опасность убеждения читателя не рассудком, а чувством — своего рода эмоциональным нападением на читателя. И, может быть, лучше дать читателю некоторые соображения и наши из них заключения, предоставляя эмоциональное решение самому читателю. Критика же и рецензента, который оценивает поэта с отправного пункта: «почему он не написал так, как я хочу...», надо попросту дисквалифицировать: он тот же эгоцентричный читатель, упомянутый выше, а не критик.

Для чего же мы хотим, чтобы поэт «походил на нас»? По Пушкину, «мы ленивы и не любопытны» и не хотим расширять свой эмоциональный спектр спектром чужим. А от поэта мы берем готовые словесные выражения — своего рода кристаллизованную в слове эмоцию, ибо поэт свободнее, чем мы, умеет с этим словом обращаться. Но как только мы попадаем у поэта на эмоцию нам чуждую (или непонятную, что практически одно и то же), мы перестаем читать и не вчитываемся. Здесь как раз может быть полезен критик со своими: «почему?» и «отчего?»

Один из таких поэтов эмиграции, в которых нужно вчитываться, — Игорь Чиннов, ибо иногда (как в своей последней книге *Композиция*) он может отталкивать читателя: предлагать ему «цикуту в бокале».

Может быть, здесь уместно объяснить читателю, почему у Чиннова так выходит? Поэты часто говорят о смерти — по

разному: иногда с ужасом, иногда с надеждой и верой. Это — законная тема. Процитируем два раза Чиннова: сначала из сборника *Монолог* (1950), вкрапленно перепечатанного в *Композиции* (1972):

А лоб под венчиком так детски женствен,

Так странно жив. Не тяжело смотреть
И пальцы тонкие не страшно трогать.
Её черты одушевила смерть,
Нездешняя, задумчивая строгость...

А теперь из *Композиции*:

Душехранилище хоронят.
Из трупных аминокислот
Тюльпан с огнем росы в короне
Над гробом душным прорастет...

Говорит это один и тот же поэт, или два разных автора? Да, разница во времени между датами сборников более двадцати лет и вполне возможно объяснение: «поэт изменился». Изменился ли? Фактура и техника стиха в первом отрывке типично чинновская — особенно рифмы, так сказать, слегка соприкасающиеся (на «женствен» — в тексте — «совершенстве»). Конечно, стихи «Галлюцинаций и аллитераций» резче и грубее перемешанных с ними стихов *Монолога*. Но автор нарочно поместил их рядом: значит, и там, и здесь он хочет сказать одно и то же. Откуда же эта полярность: очарование музыкой своего стиха и точно преднамеренное отталкивание? Почему автор предлагает читателю «цикуту в бокале»? Да потому, что он чувствует этот бокал поднесенным самому себе.

Попробуем теперь объяснить, почему Чиннов хочет разговаривать с читателем таким, «пикасsovским» образом:

И срублен ты, как маков цвет, под корень, на жизненном пути, в житейском море.
Метался, как подкошенный, как вкопанный, убит безжалостной рукой...

Не хватило рифм? Вряд ли, особенно у поэта такой высокой рифмовальной техники, как Чиннов. «Эпатирование буржуа» из веселого озорства? Но блаженные времена Серебряного века прошли: теперь не до веселья и не до озорства... Намеренное желание оттолкнуть читателя? Но за что? Кроме того, когда истинный поэт пишет стихотворение, то он не думает о читателе — не до того: он говорит тогда сам с собой. А отчего начал Чиннов так сам с собой разговаривать? Начал он этот разговор со своего четвертого сборника *Партитура* (1970):

Лошади впадают в Каспийское море.
Более или менее впадают и, значит,
Овцы сыты, а волки едят Волгу и сено...

Предыдущие три сборника: упомянутый уже *Монолог* (1950), *Линии* (1960) и *Метафоры* (1968) написаны в другой тональности — элегически-спокойной, с легким оттенком насмешки и скепсиса. Сходная тональность звучит и в двух других частях *Композиции*: «Элегоидиллиях» и «Полуосанне». Но в сборнике *Партитура* и в «Галлюцинациях и аллитерациях» из примиренной улыбки (над собой, не над читателем!) выходит издевательский смешок, если и не Мефистофеля, то чёрта Ивана Карамазова. Кстати, в *Композиции* Достоевский упомянут: в виде эпиграфа к приведенному выше «макову цвету» взят стишок капитана Лебядкина про таракана, попавшего в стакан с мукоедством. А чем этот капитан Лебядкин не одна из личин Мефистофеля? К этому вернемся ниже, а пока укажем на упомянутое выше слово «тональность». Предпоследний сборник Чиннова озаглавлен: *Партитура*, последний — *Композиция*. Так как поэзия всё-таки ближе к музыке, чем к живописи, предположим, что поэт имел в виду композицию музыкальную. С этой точки зрения надо рассматривать и последний сборник, да и все предыдущие.

В самом деле, органически создавшиеся сборники поэтов напоминают музыкальные композиции своей борьбой тем и тональностей. Именно таким образом и скомпанована последняя книга Чиннова. Её первую часть можно было бы сравнить со скерцо симфоний, с той, однако, оговоркой, что в симфониях скерцо не составляет первой, сонатной части. Надо тут

заметить, что резкая, мефистофельская тема «Галлюцинаций и аллитераций» перемешана со стихотворениями *Монолога*, с темой родственной, но поданной мягче; таким образом сочетание и борьба в тоне все-таки в первой части присутствуют.

Но наши слова, как известно, кроме музыкального значения, имеют еще и значение логическое. Почему же в этом заглавии первой части галлюцинации упомянуты вместе с аллитерациями? Ведь аллитерации в поэзии — технический прием: это повторение начальной буквы слов. Оно было характерным для народных эпосов: германского, скандинавского и финского, — при отсутствии рифм аллитерация украшала звучание, давая ему легкость. Именно в этом смысле употреблял аллитерации (вместе с рифмами) Бальмонт. Совсем не так звучат аллитерации у Чиннова: они соединены с настойчивыми повторами в середине стиха. Для такого настойчивого повторения в психологии есть термин: «персеверация». Он означает назойливое и неотвязное преследование сознания каким-либо словом, фразой или мотивом. Менее всего такая персеверация говорит о легкости. Это — другое выражение угнетенности. Фрейд в своем *Толковании сновидений* говорит о снах, зрительные образы которых вызваны аллитерирующими словами. По Фрейду же, галлюцинации являются своего рода снами наяву и вызываются сходными причинами. Таким образом, соединение галлюцинаций и аллитераций в заглавии части сборника может иметь психологическое обоснование.

Но вернемся к нашему основному вопросу: почему Чиннов так резко меняет свои тональности?

Для лучшего приближения к ответу обратимся к темам *Композиции*, как к сборнику, дающему наиболее репрезентативный (то есть значащий) материал для анализа, и разметим темы по частям «симфонии»:

1. В «Галлюцинациях и аллитерациях» темы сводятся к теме ада, иллюзорности («Галлюцинации..!»), иронии, переходящей иногда в злую сатиру, темы смерти и связанных с ней тем неумолимого течения времени, осени, умирания природы, темы апатии, безнадежности и безвыходности и, наконец, карамазовской темы «возвращения билета». Формальный метод подсчета тем, в общем, скучноват и мало убедителен, за исключением крайних, разительных случаев; но именно такой мы имеем в этой первой части: 40% темы иронии и 20% темы

безвыходности. Остальное — так или иначе связано с темой смерти.

2. В «Элегоидиллиях» темы сходны, но поданы без яда иронии: с одной стороны звучат те же темы смерти, иллюзорности, безнадежности и времени, уносящего жизнь (одна треть), с другой — контрастное звучание темы надежды, примирения со смертью, ощущение другой реальности мира и тема «блудного сына» (тоже одна треть); появляются темы воспоминания детства и ностальгии — по России. Темы «темные» и «светлые» здесь сбалансированы, и вряд ли умышленно, — просто так вышло.

3. «Полуосанна» — в этой части тема иронии отсутствует совсем; только в одном стихотворении сказано о тщете жизни, с реминисценцией темы самоубийства (ритмом, напоминающим ритм Георгия Иванова). Доминируют темы: красоты и примирения с жизнью — и со смертью, ощущения другой, высшей реальности, тема природы и воспоминаний детства; темы светлые составляют приблизительно половину содержания; остальное — темы нейтральные.

Этот тематический анализ трех отделов *Композиции* указывает на некоторый переход, некоторое решение поэтом своей внутренней задачи — точно по плавной кривой на координатах темы «темные» переходят в «светлые». По существу ответ на поставленный выше вопрос дается уже этой кривой. Но читателю нужно еще разобраться в самой сущности поэта, в главном у него — для того, чтобы при чтении «стать похожим»: настоящее чтение поэзии заключается не в том, чтобы понравился поэт «похожий на нас», а в том, чтобы читатель на время стал похожим на поэта. Это — в скучных словах — называется обогащением внутреннего опыта.

Внутренний опыт неизбежно связан с опытом внешним и основан на нем, на впечатлениях внешнего мира. Ощущение красоты и гармонии в душе вызывается красотой и гармонией цветка розы, который мы видим, и пением соловья, которое мы слышим. Или же ощущение дисгармонии и ужаса вызывается гибеллю розы и соловья. Весь вопрос в определении сущности воспринимающего зависит от того, придает ли воспринимающий большее значение внутреннему переживанию или внешнему ощущению. А в определении сущности поэта важно: на чем ставит поэт ударение, на словах о внешнем

или на словах о внутреннем? Здесь лучше всего, для экономии слов и места, дать конкретный пример и воспользоваться методом контрастного сравнения. Бунин в своих стихах говорил про *увиденную* им красоту (а иногда и про ужас) мира внешнего. Блок в своих стихах говорил про *услышанную* им красоту (а иногда и про ужас) какого-то другого мира — как будто где-то внутри мира внешнего. Бунин и Блок — поэтические антиподы: экстроверт и интроверт.

По всей своей тематике и по способу ее выражения Чиннов должен быть определен, как поэт-интроверт. Кто же из современных ему поэтов в эмиграции будет его экстровертным антиподом?

Не надо много гадать, чтобы назвать Ивана Елагина. При всем соответствии их техники, они полярны. Для Игоря Чиннова характерны накопления и повторения сильных эпитетов, что идет от ощущения, а для Елагина — «длинные метафоры» (метафоры с длинной логической цепью сопоставлений), что идет от рассуждения. Елагин, по-моему, хочет что-то *объяснить* своему читателю, а доходящая до афоризма (по замечанию Марка Слонима) краткость Чиннова от желания *ударить* по чувству.

А как же иначе объяснить боль? Здесь да будет позволено не согласиться с одним из заключений Марка Слонима в его очень обстоятельной статье «Поэзия Игоря Чиннова» (*Новое Русское Слово* от 6 мая 1973 г.), относительно «умственности» поэзии Чиннова: при некоторой внешности афоризма она в своей сути основана на некотором эмоциональном шоке и на подавлении и оттеснении этой эмоции, скажем определенное — эмоции депрессии и страха. Чиннов решает в своем творчестве какую-то психологическую задачу (как и всякий значительный поэт) — о решении Чиннова при помощи «плавной кривой», упомянутой выше, речь будет дальше. Елагину необходим внешний мир с его дисгармонией, чтобы поэт почувствовал себя трагически (а отсюда и стихи). Чиннову для того же самого достаточно самого себя. Недаром у него в эпиграфе упомянут Мефистофель-Лебядкин и, хотя и не вполне явно, но достаточно ясно звучит тема карамазовского «возвращения билета»:

А дальше что? Что Бог — благой и кроткий,
Что грешников поджаривают черти,

Что в тишине чадит на сковородке
Немного жизни и немного смерти.

Это из *Монолога*; а дальше, через несколько страниц, в том же разделе *Композиции*:

Да, расчудесно, распрекрасно, распрелестно
.....
Но как же с тем, что по ветру развеяно
.....
Да, как же с тем, кого под корень резали

Под корень? Мы это уже прочитали выше:

И срублен ты, как маков цвет, под коре-
нь
Метался, как подкошенный, как вко-
как вкопанный, убит безжалостной руко-
й, как прошлогодний снег

Отметим тут ряд внешних несообразиц в образах: маков цвет не срубают, подкошенные под корень не мечутся, особенно, если они как вкопанные; и снег, в особенности прошлогодний, не убивают рукой. Какой рукой? Здесь она — безжалостная. И в этом ключ: внешние образы — вовсе не внешние. Все это происходит внутри: там вкопанные могут метаться.

В *Монологе* есть такая концовка стихотворения:

«Всё прекрасно». — Первый сорт. Отлично.
В общем — Абсолютное Добро?

В «Галлюцинациях и аллитерациях» близко к этой концовке помещено такое начало:

Пример предустановленной гармонии:
Новорожденный стал новопреставленным...

У Елагина делает мир несусветным внешняя людская несусветность. У Чиннова, с *Партитуры*, начинается выражение общей, основной несусветности мира и жизни, увы! кончающейся смертью:

И жизнь — будто мельничный жернов на шее,

Будто бревно, рухнувшее на зеваку.

Жизнь, как смерть — только нет в этой смерти покоя.

Что можно поделать, когда делать уже нечего? Можно делать «хорошую мину при плохой игре», то есть, можно бравировать. Бравирование лучше всего выражается иронией — над обстоятельствами и, увы! над самим собой, с этими обстоятельствами не справляющимся. При этом себе остается извинение: форс мажор.

Оттого и звучит в «Галлюцинациях и аллитерациях» эта тема иронии, иногда переходящая и в сатиру: тогда Чиннов, как и Елагин, винит своих со-существователей, подпадающих под форс мажор:

«Ирония судьбы». Смертельное ранение иронией

«Ирония судьбы». Судьба, мы ранены иронией.

Билет на ощущение гармонии мира молчаливо возвращается. Констатируется мировая бессмыслица:

Случайно случившийся случай. В тиски
Тебя схватили за жабры.

Всё мелочи, глупости, всё пустяки,
Детали абраcadабры.

Давайте считать, что дважды два пять,
Точнее семь или восемь.

Головное это или от души? Ирония Чиннова слишком насыщена душевной горечью, чтобы быть только от рассудка, не в пример прочим маньеристам (Чиннов пользуется приемами маньеризма, но так, что за этими приемами чувствуется ободранная кожа души). Когда больно, тогда кричат. Правда, криком делу не поможешь, но тогда как-будто крик делает боль слабее. Чиннов не кричит, но, скажем, когда уж нестерпеть, то стонет сквозь зубы — и за это сердится на самого себя. Оттого у него и впадают лошади в Каспийское море, а волки едят сено и Волгу.

А почему поэт прибегает к резкому способу выражения?

Выше уже говорилось о возможности оттолкнуть читателя. В интересах ли поэта такая резкость? Смена переживаний у Чиннова сходна с лермонтовской: от иронии к смиряющейся тревоге (об этом ниже). Но следовать классической фразе Лермонтова нельзя просто потому, что она уже сказана Лермонтовым. Может быть, кроме того, Лермонтов был выносливее к боли. А есть еще одна, чисто художественная причина: интонации и образы — такой же набор инструментов поэта, как краски и кисти художника. И был уже такой художник, упомянутый вскользь выше, который все время менял (и разрушал) выработанные им раньше средства выражения. Здесь имеется ввиду Пикассо. (Разница в том, что Пикассо действовал слишком от рассудка). Аналогичным образом у Чиннова *Партитура* резко меняет способы выражения после предыдущих сборников. За *Партитурой* следует первая часть *Композиции* в сходном тоне, а после нее изменение тональностей в «Элегоидиллиях» и «Полуосанне», все же не вполне повторяющих *Линии* и *Метафоры*.

Чем же вызывается этот переход? Психологически, ирония над своим положением, над порядком мира (возвращение билета) — не выход из положения. Эта ирония производит только душевную усталость и апатию:

Только тщетно считаешь счета,
Только видишь, что сумма не та;

А умрешь — темнота, немота,
И такая, мой друг, пустота...

Цитированное выше стихотворение с началом: «Пример предустановленной гармонии...» кончается так: — ...И грусть, и жалость, и апатия.

Но кривая поднимается выше: в «Элегоидиллиях» читаем:

А немного повыше —
Скоро музыку сфер
Мы, быть может, услышим.

Dum spiro — spero. Это тоже неизбежный психологичес-

кий выход и вывод. «Полуосанна» — уже не апатия, а успокоение — может быть, через красоту:

Особенно, когда осенне-одиноко,
И облако лежит покойно и широко
У края светлого юго-востока.

.....
Особенно, когда совсем обыкновенно,
Едва озарено, и чисто, и смиренно,
Прозрачно и прощально, незабвенно.

К этому стихотворению взят эпиграф из Лермонтова: «...Тогда смиряется души моей тревога...», и это и служит ключем к пониманию перехода от караимовской иронии *Партитуры* и «Галлюцинаций и аллитераций» к «Полуосанне». Заметим, что и здесь, в этом заглавии, остался след прежнего: еще чувствуется отравленный Мефистофелем протест «таракана».

Указанные выше переходы в сборниках происходят органично, не искусственно. Читатель, может-быть, скажет, что поэт непоследователен? Но поэту и не положено быть последовательным. Достаточно того, чтобы он был — поэтом.

Борис Нарциссов

ДВА КРЫЛА

Не признавая ремесла поэта,
Нельзя надеяться на колдовство
И созидать ничто из ничего,
У вдохновенья требуя ответа.

Необходим талант и мастерство
И те, в ком есть соединенье это,
Не ждут потустороннего привета,
Но в творчестве их дышет волшебство.

Плоды безграмотного вдохновенья
Не слаше бесталанного уменья.
Победа мастерства искусству впрок.

Поэзия не только птичьи трели,
Гармонии и синтеза залог:
Двуликий Янус — Моцарт и Сальери.

Глеб Глинка

ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ

В марте этого года нашему постоянному сотруднику Владимиру Васильевичу Вейдле исполнилось 80 лет. Редакция «Нового Журнала» поздравляет В. В. с днем рождения и от души желает ему здоровья и сил для дальнейшей литературной работы, которой вправе гордиться русская литература. РЕД.

Владимир Васильевич Вейдле — выдающийся русский европеец, знаток искусства, философ культуры.

В. В. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, где познакомился с Осипом Мандельштамом; в начале 20-х годов встречался с Анной Ахматовой. Он не принадлежал ни к одной литературной «школе», но, несомненно, был в «ауре» акмеистов, группировавшихся около Гумилева. Акмеистов отталкивали смелые, но несколько расплывчатые верования или, как тогда говорили, чаяния бардов и теургов символизма. Символистов вдохновляло мифотворчество, они увлекались творимыми ими легендами. Так, Александр Блок ждал откровений от Вечной Женственности или божественной Софии, о которой пророчествовал Владимир Соловьев.

Замечательную характеристику той эпохи Вейдле дал в своем очерке о *Петербургской поэтике*. Далекие прообразы или образцы ее он находит у Пушкина. Начиная примерно с 1910 года обновленная и приближенная к Пушкину поэтика раскрывается в поэзии не только Ахматовой, Мандельштама, но и москвича Владислава Ходасевича. Для этой поэтики характерна предметность в изображении и та «прекрасная ясность» (по определению Михаила Кузмина), которой не было у большинства символистов. Но независимо, или поверх этих различий, Блок оставался для Вейдле величайшим поэтом начала XX века. Когда молодой Вейдле в августе 1921 года вернулся в Петербург и узнал о смерти Блока, ему показалось,

как и многим другим, что с Блоком умерла Россия — или ее лирическая совесть. Блок — петербуржец, но его Петербург — не стройное «Петра творенье» Пушкина, а фантастический гротескный город Гоголя и Достоевского. Все же, для некоторых тогдашних «антисимволистов», например, для юного Георгия Адамовича, числившегося «младшим акмеистом», именно Блок оставался голосом эпохи. А для Вейдле, не принимавшего участия в литературной «борьбе» 10-х годов, здесь не было никакого противоречия: увлечение акмеистами нисколько не мешало ему любить поэзию Блока.

В 1924 г. Вейдле навсегда покинул Россию и с тех пор живет в Париже. После второй войны он некоторое время преподавал в Европейском колледже в Брюгге, в Мюнхенском университете, читал лекции и в Америке, в Принстонском и Нью-Йоркском университетах. Он принимал деятельное участие в ряде международных конференций по вопросам литературы и искусства, написал много статей, на трех или четырех западных языках: его хорошо знают во Франции, Англии, Германии, Италии, а также в США. Одна из самых его известных книг: *Россия отсутствующая и присутствующая*, 1949, написана и издана по-французски и переведена на английский. Его философия русской культуры скорее западническая, но не социально-ориентированная, как высказывания, например, Герцена или Белинского, а — христианская. В этом смысле взгляды его отчасти совпадают с историософией Г. П. Федотова. Вейдле всегда подчеркивал, что Россия — исконная часть христианской Европы. Ее духовные истоки — в православной Византии, но позднее она восприняла и западноевропейские традиции, включая языческое наследие, освоенное через христианство, а отчасти и помимо христианства.

Главный труд Вейдле, написанный до последней войны — *Умирание искусства* (1937), его французская версия была издана еще в 1936 году, под названием *Пчелы Аристея*. Более чем вдвое расширенное издание этого труда вышло также в 1954 году. (Галлимар). Один из тезисов *Пчел Аристея*: искусство живет вымыслом. Вымысел художника не ложь, не обман, а особый метод творческого познания. Вымысел способствует изображению лиц, предметов, событий в разных стилях, как в абстрактном, византийском, так и в ренессансном или барочном, допускающем т.н. реализм. А изображение есть выраже-

ние смысла изображенного, и этот смысл не постигается без вымысла и без выбора соответствующих средств, будь то камень, краска, звук или слово.

Изображение и выражение, по толкованию Вейдле, входят в греческое понятие *мимесиса*. Термин этот, поначалу, не имел ничего общего с «подражанием». Мимесис — культовое перевоплощение жреца в бога; если же говорить о театре, в нем актер перевоплощается в изображаемого им героя. Актер, играя свою роль, не может не выражать себя в образе того, кого он изображает. Иначе говоря: мимесис в искусстве есть изображение, неразрывно слитое с выражением.

Искусство соприродно религии, утверждает Вейдле, и оно постепенно гибнет, когда отделяется от религии. Процесс гибели может длиться века. Для архитектуры, скульптуры, живописи начало этого процесса — утрата стиля, основа которого всегда религиозна. Эта утрата заключает в себе смертельную опасность для сверхразумного, религиозного смысла искусства. Окончательно разрушают его рационализирующие, механизирующие силы, губящие истоки художественного творчества. В связи с этим Вейдле вспоминает слова одного из его любимых поэтов, Поля Клоделя: скверно быть похожим на корову, но быть похожим на машину еще отвратительнее (*Умирание искусства*). Художник борется против машины и нередко гибнет в бою: он призван быть непризнанным мучеником своего времени.

Искусство может существовать и без видимой связи с религией, но при одном условии: не должна прерываться хотя бы невидимая связь искусства с религией. Художники Нового времени, Шекспир, Гете или Пушкин, жили в мире, переставшем быть религиозным, но он еще оставался подлинно человеческим, подчиненным совести. Иначе говоря, он был проникнут тайной религии, а не властью веры лишь в таблицу умножения. «Художник, пусть и неверующий, в своем искусстве все же творил таинство, последнее оправдание которого религиозно. Совершению таинства помогало чувство связи с миром и с людьми. Таинство может совершаться и грешными руками: современное искусство разлагается не потому, что художник грешен, а потому, что сознательно или нет, он отказывается совершать таинство... Рассудок убивает искусство, вытесняя высший разум, издревле свойственный художнику. Там, где этот разум сохра-

нился, — а в современном мире мы еще повсюду наталкиваемся на его следы, — человек уже понял, что искусство он обретет только на путях религии».

Очень интересны некоторые попутные замечания Вейдле в книге *Умирание искусства*, например, о Фрейде, которого он считает гениальным ученым, но слабым философом и критиком. Фрейд взял свое учение об эдиповом комплексе из *Царя Эдипа*, — но Софокл создал трагедию, в ней есть чувство греха, высокое страдание, личность, а психология Фрейда как бы механизирована и детерминирована лишь факторами сексуальной жизни. Объяснить изображенное в классической литературе психоанализ не в состоянии. Комментарии Фрейда к Достоевскому ошибочны, к тому же и очень наивны. Фрейд спутал вымысел с эмпирическим опытом, искусство с действительностью. Так, земной поклон старца Зосимы Мите Карамазову он объясняет злобой, прикинувшейся смиренiem. А на самом деле, по замыслу Достоевского, Зосима, предчувствуя страдания Мити, пожалел его, невинного мученика.

В *Умирании искусства*, в особенности во французской версии этой книги, в *Пчелах Аристея*, Вейдле развертывает широкую панораму современного искусства, которое, изгнав Бога, лишается и человека. Исчезает и вымысел, например, в гениальном романе Марселя Пруста, занятого познанием своей распадающейся личности. Пруст уже не верил в бытие человека и он показал его только таким, каким он представляется рассказчику в *Поисках утерянного времени*. Толстой или Бальзак еще видели человека «во всей полноте его бытия» и своей веры в это бытие, и таким, каким его «должен видеть сам Творец». В этом смысле их искусство религиозно, потому что оно укоренено в бытии независимо от их индивидуальных верований.

В последние годы Вейдле пишет преимущественно о поэзии. Он немало внимания уделяет плоти стихов. Его формальный анализ отличается тонкостью и точностью подхода. Так, в следующих стихах Пушкина он отмечает повторяющиеся унылые певучие «у»:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ли в многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Но у стихов не только плоть, а и душа. Поэтому нельзя ограничиваться одним формальным или структуральным анализом искусства. Структурализм лишь путь к пониманию смысловому. (*«О поэтической речи»*, *Новый Журнал*, 103). В этом стихотворении Пушкина, продолжает Вейдле, унылое певучее элегическое «у» важно и для смысла стансов. Здесь звук «у» сливается со смыслом: это и есть звукосмысл.

Смысл возникает в говорящем сознании поэта и требует выражения в предмете, то есть изображения, которое включает и выражение. Именно так, в понимании Вейдле, как мы уже видели, раскрывается мимесис. Это выражение-изображение связано с тем, что Вейдле называет реальным присутствием божественного бытия в искусстве.

Еще Шеллинг в своей *Философии искусства* (1802) говорил о соприкосновении бесконечного с конечным в искусстве. Самая высшая форма этого соприкосновения, союза, слияния, пишет Вейдле, осуществляется в таинстве Причастия, когда хлеб и вино делаются Его плотью и кровью, оставаясь хлебом и вином. Именно делаются, а не превращаются, как утверждают католики в своем учении, чуждом православной традиции.

В недавних своих статьях Вейдле отметил заслуги Р. О. Якобсона и других русских формалистов, а также Пражского лингвистического кружка, подчеркивая и свое несогласие с ними. Формалисты, пишет Вейдле, хотели приблизить литературоведение к языкоznанию и даже стремились их иногда отождествлять. Якобсон в брошюре о Хлебникове писал: поэзия есть просто язык в его эстетической функции. Он же говорил: поэзия индифферентна к предмету высказывания (см. статью Вейдле *«Еще раз о словесности, слове и словах»*, *НЖ*, 104). Это значит: поэзия не только не дает информации о фактах и вещах, но и не имеет отношения к их смыслу или смыслам. Здесь, по мнению Вейдле, русские формалисты или пражские структуралисты совпадают с американским поэтом Мак Лиш, сказавшим: «Стихотворение не должно означать, оно должно быть». Между тем, пишет Вейдле, стихотворения вообще нет, если оно лишено смысла. Бытие искусства, отрицающее смысл — мнимое бытие. Прибавим однако, что Вейдле, когда дело

идет о религиозной почве искусства, о его укорененности в религии, сходится с новыми американскими критиками, — об этой основе творчества писал, например, Клиант Брукс.

Предмет науки в литературе, писал Р. О. Якобсон в той же брошюре — не литература, а литературность. Те же мысли он повторил в докладе в Блумингтоне, в 1960 году. Поэтика занимается в первую очередь вопросом о том, что делает словесное сообщение литературным (то есть изучает литературность, а не литературу); во Франции Цветан Тодоров перевел это понятие неологизмом «литералитэ». Вейдле ценит структуральный или формальный анализ искусства и, в частности, литературы, но считает, что литература к литературности не сводима. Для него существенно: 1). Как формальный анализ ведется; 2). Чего он, в конечном, счете, добивается. Вот его ответы: формальный анализ не должен умерщвлять смысл, который художник вкладывает в свое произведение, выражающее его понимание предмета, мира; анализ должен вести к пониманию не одних только функциональных связей художественных структур, будто бы независимых от смысла, но и к пониманию самого смысла, вложенного в целое романа или стихотворения. Этот смысл не может быть пересказан «своими словами», но он может быть усвоен и «описан» критиком, анализирующим художественное произведение. Структура художественного произведения не пуста и не должна быть пустой. К тому же, структура и создается в соответствии со смыслом, ради смысла. Это значит: анализ должен вести к его раскрытию. «Искусство есть высказывание несказанного», — утверждал Гете. Но, поскольку оно поддается высказыванию, оно постигаемо. Поэтому нужно учиться понимать то, что в искусстве одновременно выражено, изображено, воплощено.

Русская заумь или цюрихское «дада» как будто непонятны, но это не только звуки: в несуществующие слова футуристы и дадаисты, несомненно, вкладывали, пусть и темный, но все-таки смысл. Есть смысл, хотя иногда и не связанный ни с какими предметами, в «самовитом слове» Хлебникова. У Мандельштама прекрасно его «блаженное, бессмысленное слово», но не было бы оно блаженным и нечего было бы в нем прославлять, будь оно и впрямь бессмысленным. Есть смысл, хотя и дремлющий, в английских абсурдных стихах или в «детских рифмах». Подводя итоги, Вейдле утверждает: «...то, что я

называю звукосмыслом — не сон, не бессмыслица... а видоизменение, обновление, преображенное смыслом».

В начале не было слов, в начале было Слово, то есть мысль, смысл, Логос, продолжает Вейдле. Наши слова на любом языке предполагают осмысленность, которая и дается Словом-Логосом. Поэзия в Слове-Логосе, а не в одних только словах.

Лингвисты, а также литературоведы, иногда оперируют словами, как марионетками кукольного театра. Это их занятие не всегда бессмысленно. Но занимаясь словами, нельзя забывать о Слове, пишет Вейдле: поэзия умрет, если будет заботиться только о словах, тогда ученым придется заниматься одной лишь прежней поэзией, которая еще верила Слову, а не словам.

Статьи Вейдле в *Новом Журнале: О двух истинах, О поэтической речи, Еще раз о словесности, слове и словах, Эмбриология поэзии, Звучащие смыслы*, а также последняя очень значительная его статья *Критические заметки* (кн. 115 и 116 *Н. Ж.*) должны быть изданы отдельной книгой и переведены на английский язык.

Отметим и очерки Вейдле в книгах *Задача России и Вечерний день; Россия и Запад, Пушкин и Европа, Тютчев и Россия*, а также художественные миниатюры об Арефино, Флобере, Байроне, Шелли, о древнем Западе (Уэлльс). Может быть, еще проницательнее и живее написаны его очерки 60-х годов, о Венеции, Сиене, Риме.

Владимир Васильевич Вейдле — русский европеец, большой знаток искусства, мастер слова: он умеет убедительно показать Запад России, а Россию Западу и русским, и нерусским читателям, раскрывая перед ними подлинную, глубокую правду. И в этом служении правде — первая его заслуга.

Аркадий Небольсин

ЭМИЛИЯ ДИКИНСОН (1831 — 1886)

*Спондеями стучा, будила
Глубокой ночью петухов.
Из вечности — не из могилы
Эмилии-сестрицы зов.*

I

В моей новоанглийской Званке,
Где взаперти дышали Вы,
Что лучше может быть изнанки
Лимонно-золотой листвы.

Осеннен-ясная чеканка
Ладошки звездной на виду.
Эмилия-сестра-беглянка
Я с Вами под руку иду

И скатеретку-самобранку
Стелили ангелы, шурша.
Стихи: не смертные останки,
А Ваша и моя душа.

Какая царская осанка
У клена-полумертвца.
Сияла, опадая, Званка:
И ни начала, ни конца.

II

Эмилия-покойница — живая
Не за своей девичьей кисеей —
Оконной дымкой, а опережая
Блаженства — разлетевшейся собой —

И одаряя очи, а не уши —
Листка подкинутого серебром,
Лежанкой мшистой или грудью груши,
Фарфоровыми просинями — льдом,

Дубовой бронзой с лезвиями, ржавой,
Рябиной — апельсиновым огнем,
Брусничинами крови клена — славой,
Которая сейчас, а не потом...

Зияние, сияние, избыток:
Эмилии осенняя псалтырь.
А воздух едко-яростный напиток:
Амврозия по вкусу нашатырь.

Амхерст, Массачузетс.

Юрий Иваск

«МЕРКАНТИЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» ПУШКИНА

(175-ЛЕТИЕ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА)

*О бедность! затвердил я наконец
Урок твой горький! Чем я заслужил
Твое гоненье?..*

A. Пушкин

В десятитомном Собрании сочинений А. С. Пушкина (Москва 1962) девятый и десятый тома отведены письмам поэта. Их 786. Написаны они разным лицам в промежутке времени от 28 ноября 1815 г. до 27 января 1837 (день дуэли). Темой большинства писем служат «меркантильные обстоятельства» — так Пушкин называл свои денежные дела.

От стонов к брату из Кишинева: «Мне деньги нужны, нужны!» и настойчивых просьб к Вяземскому: «Денег, денег!», и до написанного за несколько дней перед смертью письма к своему кредитору Н. Н. Карадыкину: «Вы застали меня врасплох, без гроша денег. Виноват!» — все эти письма сплошной вопль человека, придавленного нуждой, которая преследовала его всю жизнь и даже после смерти: Пушкин лежал в гробу во фраке, за который не было еще заплачено портному. Сам Пушкин с горечью говорит: «Кажется, что судьбой определены мне только два рода писем — обещательные и извинительные».

Письма (особенно 1834-1837 г.г.) объясняют истинные причины, приведшие великого поэта к гибели. Не ненависть к семейству Геккеренов, не ощущение зависимости — тягостной и многоликой, как камер-юнкерство, жандармская опека, перлюстрация писем или строгости цензуры привели поэта к роковому концу. Эти причины ни каждая в отдельности, ни в своей совокупности, не могли бы вывести Пушкина из равно-

весия, если бы не было еще одной — хронического безденежья и связанной с ним заботы о завтрашнем дне, расстраивавшей поэта, и заставлявшей его все жизненные невзгоды принимать болезненно остро. Ведь дуэль с Дантесом, по мнению многих современников Пушкина, не имела разумных оснований и была вызвана главным образом неуравновешенностью поэта, который, согбаясь под бременем долгов, терзаемый обстоятельствами, решился на этот шаг.

Пушкин в душе мог мириться и с ссылкой, и с цензурой, и даже с Дантесом, но с нуждой у него не было примирения: она не выпускала его из своих цепких лап. Это она заставила деликатного Пушкина стать нахлебником у своего начальника, генерала Инзова, брать взаймы деньги от своих литературных недоброжелателей, принуждала гордого Пушкина знать сомнительными картежниками и часто, как милости, просить у них отсрочки карточного долга. Угрозы заимодавцев, шантаж ростовщиков заставляли правдивого Пушкина выдавать заведомо для него невыполнимые обязательства и обещания.

О, бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она!

Постоянное безденежье поэта заставляло его «истекать желчью». Еще в 1833 г. он писал П. В. Нащокину: «Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются через труды, а труды требуют уединения». В конце 1835 г. горечь подобных признаний сказывается еще сильнее: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен», — жалуется Пушкин П. А. Плетневу.



«Русские дворяне то на службе царской, то в борьбе против царей с великими трудами добывали те имения, которые затем выпадали из неумелых рук их потомков. Судьба у всех этих дворянских семей была одинаковая — родовое оскудение. Дед был богат, отец нуждался, внук шел по миру».

А. Пушкин.

Прадед Пушкина, «арап Петра Великого», Абрам Ганнибал «на службе царской» получил несколько десятков деревень в губерниях Псковской и Петербургской. В семействе Ганнибалов, а затем Пушкиных, хранилась старинная Жалованная Грамота в переплете, обтянутом зеленым муаром. В грамоте, богато украшенной акварелью и золотом, за собственноручной подписью императрицы Елизаветы, говорилось: «Нашему генералу-маэору и ревельскому оберкоманданту Абраму Ганнибалу... пожаловали Мы во Псковском уезде пригорода Воронича Михайловскую губу (волость)». Третий сын Абрама Ганнибала, Осип Абрамыч (дедушка Пушкина), получил в наследство после смерти отца село Михайловское, в котором по Межевым книгам тогда числилось 1974 десятины и было около 200 крепостных. Но «африканский характер моего деда, — как пишет Пушкин, — пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения». Дело в том, что Осип Абрамыч, покинув свою жену, Марию Алексеевну, и дочь Надежду (мать поэта), сошелся с новоржевской помещицей Устиньей Ермолаевной Толстой; 9 января 1779 г. обвенчался с ней, показав священнику фальшивое свидетельство о смерти жены. Устинье Ермолаевне дал Рядную Запись в том, что получил от нее приданого на 27.000 р., но 6 мая супруги были распоряжением псковского архиерея разлучены, и тогда на Осипа Абрамыча посыпались обвинения и жалобы со стороны обеих жен: Мария Алексеевна возбудила дело о двоеженстве мужа, а Устинья Еромлаевна подала в суд просьбу о взыскании с него 27.000 р. Ганнибал доказывал, что он приданого от Толстой не получил, но сам издержал на ее прихоти до 30.000 р.: построил дом в Пскове с фруктовым садом, купил в 4 верстах от города дачу, накупил серебряных и золотых сервизов, бриллиантов, экипажей, мебели, прожил 12.000 р., за которые заложил свои имения. Конца судебного процесса Осип Абрамыч не дождался: он скончался 12 октября 1806 г. в Михайловском от «следствий невоздержанной жизни» — по свидетельству своего гениального внука. После смерти Осипа Абрамыча Михайловское перешло к его дочери, Надежде Осиповне Пушкиной.

У отца поэта, Сергея Львовича Пушкина, было родовое имение в Нижегородской губернии, состоящее из сел — Болдино и Кистенево, когда-то богатое и благоустроенное, но бес-

печностью Сергея Львовича доведенное до разорения. У Сергея Львовича и Надежды Осиповны были дети: Ольга, Александр и Лев. Но родители ими не занимались, а более думали о светских развлечениях. Доходов от имений не хватало. Сергей Львович, чтобы добыть средства, «земли отдавал в залог». В доме родителей не было порядка из-за скитальческого образа жизни семьи: то переезжали из деревни в столицу, то из столицы в деревню. А в городе они постоянно меняли квартиру. Но где бы Пушкины не жили, везде устраивались приемы, давались балы, покупались роскошные платья в фешенебельном французском магазине для *«La belle créole»*, как в свете называли блестательную Надежду Осиповну, которая не умела вести хозяйство, что тяжело отзывалось на семейном бюджете и домашнем порядке.

«Дом их представлял какой-то хаос: в одной комнате богатые мебели, в другой — пустые стены, даже без стульев, многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, ветхие рыданы с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана. Когда у них обедывало два-три человека, то всегда присыпали к нам за приборами», — так пишет о Пушкиных близкий их сосед барон М. А. Корф. Поэт с детства привык к такому образу жизни своих родителей и не считал его чем-то особыенным и ненормальным.

Дети ходили в обносках. Няня Арина, истинный ангел-хранитель семьи, кроила какую-то ветошь для Ольги, а крепостной Никита мудрил из старых фраков одеяния для Сашки. Жителей Харитоньевского переулка в Москве очень смешил курчавый мальчик в потертых штаниках из перелицованныго и вылинявшегося сукна.

Но при недостатке средств и при своей скучности Сергей Львович не жалел денег на образование своих детей. (Гувернеры в то время получали в год: 150 рублей, пуд сахару, пуд кофе, 10 фунтов чаю, а кроме того — стол, помещение, слугу и карету). У Пушкиных в доме был гувернером прекрасно образованный и воспитанный французский эмигрант, граф де-Монфор, адъютант брата короля Людовика XVI. Сашу школьные товарищи прозвали «французом», так как он в совершенстве знал этот язык.

В 1811 году Саша поступил в новооткрытый Царско-Сель-

ский Лицей. Отвез его туда дядя Василий Львович. Тетушка Анна Львовна при прощании подарила своему племяннику «на орехи» 100 рублей, из которых Василий Львович Саше вручил только 3 р., взяв себе остальные.

В Лицее Саша стыдился своего белья, залатанного няней Ариной. Но оказалось, что и у других лицеистов оно было не в лучшем состоянии. Инспектор Лицея, Мартин Пилецкий, признавался, что «добрая половина учеников Лицея из семейств развратных, обнищалых». Только пышная лицейская форма спасала воспитанников от их младенческих сюртучков и штанышек, скроенных из ветоши крепостными руками в родительском доме.

Саша из дома денег не получал и поэтому был лишен удовольствия посещать «кавярню», которую соорудил под лестницей в Лицее сторож Леон, и где другие лицеисты наслаждались горячим шоколадом и покупали сладости. По окончании Лицея всем выпускным воспитанникам было назначено жалование: титулярным советникам по 800 р. в год, а коллежским секретарям по 700 р. Пушкин был определен в Государственную Коллегию Иностранных Дел с чином коллежского секретаря, т.е., с окладом 700 р.

Вышедши из Лицея, Саша очутился в таком положении, в каком часто находятся молодые люди, возвращающиеся под убогий родительский кров, из богатых и роскошных учебных заведений; а тут еще примешивалась мелочная склонность отца, которая раздражала Пушкина. Напрасно он добивался у отца позволения поступить в гусарский полк, где у него уже было много друзей и почитателей его таланта среди царскосельских гусар. Сергей Львович отговаривался недостатком средств и соглашался только на поступление сына в один из пехотных гвардейских полков, чего Саша не хотел.

«Пушкин, — как говорит И. П. Липранди, — был создан для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, что она в самом младшем чине пала бы в первом сражении на поле славы». Но пресловутый «недостаток средств» искривил жизненный путь Пушкина.

Три года, проведенные Пушкиным в Петербурге по выходе из Лицея, отданы были развлечениям большого света и увлече-

кательным его забавам. От великолепнейшего салона вельмож до самой нецеремонной пирушки офицеров, везде принимали Пушкина с восхищением. Служба в министерстве иностранных дел, а также родственные связи отца открыли молодому Пушкину вход в лучшие петербургские дома: к Бутурлиным, Воронцовым, Трубецким. Появлялся поэт на блестящих вечерах и балах у графа Лаваля. Супруга его, любительница словесности, с удовольствием принимала у себя молодого поэта, увы, который в это время «уже — по мнению Плетнева, — успел усвоить вредную мысль, что никакими успехами таланта и ума нельзя в обществе замкнуть круга своего счастья без успехов в большом свете». А. В. Никитенко (профессор, цензор, происх. из крепостных, был в очень натянутых отношениях с Пушкиным) пишет: «Как обидно, что он (Пушкин) так мало ценит себя, как человека и поэта, и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы беспредельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у которого больше дохода».

Поэт тщательно скрывал в большом свете свою литературную известность и не хотел ничем отличаться от светских людей, модных франтов, страстно любя танцы и балы. Такая жизнь требовала денег, но отец во всем ему отказывал. С. А. Соболевский рассказывал, что Пушкину приходилось упрашивать отца, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками, и как Сергей Львович предлагал ему свои старые, «времен Павловских», т.е., двадцатилетней давности! Пушкин в письме к брату с горечью впоследствии вспоминал эту совместную жизнь с родителями: «Это напоминает мне Петербург, когда больной, в осеннюю пору или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкина моста, он (отец) вечно бранился за 80 копеек (которых, верно бы, ни ты, ни я не пожалели для слуги)». А барон Корф утверждает, что Пушкин в петербургский период своей жизни был «вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака».

Чтобы добыть средства Пушкин обращался к ростовщикам, или пытался выиграть в карты. Но ему не везло. В ноябре 1819 года он проиграл бар. С. Р. Шиллингу 2000 р., на которые выдал вексель сроком на шесть месяцев, истекавший в мае 1820 г., так что, когда в мае 1820 года Пушкина удаляли из Петербурга, он только облегченно вздохнул:

О юность, юность удалая!
Могу-ль тебя не пожалеть?
В долгах, бывало, утопая,
Заимодавцев убегая,
Готов был всюду я лететь...

Отъезд из Петербурга избавлял его от настойчивых кредиторов, а кроме того, он получил из министерства на дорогу 1000 рублей прогонных. Это дало ему возможность отправиться с семьей генерала Н. Н. Раевского в путешествие по Кавказу и Крыму.



*«Пушкин в Кишиневе пропадает от тоски, скуки и нищеты»
(Из письма А. И. Тургенева к Вяземскому)*

Когда Пушкин вернулся после путешествия в свою кишиневскую канцелярию, то, видимо, от 1000 р. прогонных у него ничего не осталось. В Кишиневе он обратился за жалованием к правительству канцелярии при генерале Инзове — М. И. Лексе, но получил от него такой ответ: «Жалование вы не получали, а пособие от казны. По вашей должности жалования не полагается. А если бы и полагалось, то в гораздо меньшем размере. С переводом же к нам пособие вам выдаваться не может без особого на то распоряжения министерства». Раздосадованный Пушкин бросился к ген. Инзову: «Посмотрим, — сказал генерал, — и что-нибудь выдумаем». И сразу же предложил поэту стол и квартиру в своей резиденции, а также написал рапорт в Петербург: «...В бытность его (Пушкина) в столице он пользовался от казны семьюстами рублями в год. Но теперь, не получая сего содержания и не имея пособия от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании, терпит однако же иногда недостаток в приличном одеянии. По сему уважению, я долгом считаю покорнейше просить распоряжения вашего к назначению ему здесь того же жалования, каковое он получал в Петербурге».

Просьба ген. Инзова была удовлетворена. Но радость Пушкина была коротка. Одновременно с положительным ответом из министерства, в Бессарабское Областное управление пришло отношение о взыскании с Пушкина шиллинговского долга в 2000 рублей.

Неудивительно, что Пушкин застонал брату: «Мне деньги

нужны, нужны!». Питаясь у Инзова, или в гостях (особенно у ген. Орлова), редко в трактире (надо было платить!), поэт острее всего ощущал недостаток в одежде и обуви. Была только одна «приличная» пара. И оттого он ни за что не позволял чужим лакеям брать в руки свой чемодан. А своему Никите Козлову говорил: «Поосторожнее неси, не подорвись!».

Денег из дома не слали. А в Петербурге, когда сестра поэта Ольга читала отцу очередной вопль его «блудного сына», тот, вздымая руки к небу, патетически кричал: «Что вы ко мне приступаете? Я несчастный человек!..».

Значительную долю времени Пушкин в Кишиневе отдавал картам. Тогда игра была в большом ходу, особенно в полках. Пушкин не хотел отставать от других: всякая быстрая перемена, всякая отвага была ему по душе; он пристрастился к азартным играм и всю жизнь потом не мог отстать от этой страсти. Она разжигалась в нем надеждой и вероятностью внезапного большого выигрыша:

Страсть к банку!.. Ни дары свободы,
Ни Феб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры;
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов я в прежни лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
Среди разорванных колод
Дремал усталый банкомет.
А я, нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Пускал на третьего туза.

По свидетельству кн. Вяземского, Пушкин играл в карты из рук вон плохо: «До кончины своей был ребенком в игре, и в последние дни жизни проигрывал даже таким людям, которых, кроме него, обыгрывали все».

В Кишиневе «меркантильные» дела Пушкина были особенно плохи: от отца денег не было, а за стихи он еще ничего не выручал. Кроме того Пушкина мучила мысль, что он первый из русских писателей «начал торговаться поэзией». «На конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих

сапог: продаю их с барышом». Но, видимо, у кишиневских саженников было больше барышей, чем у Пушкина: «Кавказский мой пленик кончен. Хочу напечатать, да лени много, а денег мало — и меркантильный успех моей прелестницы Людмилы отбивает охоту к изданиям», — пишет Пушкин кн. Вяземскому, а Рылееву жалуется: «Там (заграницей) стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них».

Прожиться на таких стихах, какие писал Хвостов, немудрено:

Приближаясь похода к знаку,
Я стал союзник Зодиаку;
Холеры не любя пильоль,
Я пел по старости июль...

Но Пушкин ошибался, думая, что в Европе «стихами живут». Там, как и в России, всецело отдаваться литературе могли только обеспеченные люди: виконт де Шатобриан, владелец чудного замка в Бретани; богач де Ламартин; Стендаль-Бейль — французский консул в Италии; генеральский сын — Виктор Гюго, но множество писателей, несмотря на литературный успех, влачили жалкое существование. Александр Дюма, автор «Графа Монте Кристо», «Трех мушкетеров», которые выходили тиражем в десятках тысяч экземпляров и были переведены на все европейские языки, на старости лет жил в бедности. Бальзак, написавший за 20 лет, кроме бесчисленных драм, новелл, очерков, еще 74 романа, переезжал в Париже с квартиры на квартиру, прячась от должников, чтобы не попасть в долговую тюрьму. Бальзака читали во всем мире. В России выходил журнал «Ревю Этранжер», гордившейся тем, что печатал французские произведения одновременно и даже раньше Парижа. Напр., «Лилия в долине» Бальзака сперва вышла в Петербурге, а потом уже в Париже.

Меркантильный неуспех «Руслана и Людмилы» объяснялся еще тем, что Левушка, брат Пушкина, его «комиссионер» в сношениях с издательствами, присваивал себе деньги, вырученные от продажи книг. По этому поводу Пушкин пишет брату: «Что мой Руслан? Не продается?.. Если же Сленин купил его, то где же деньги? — а мне в них нужда!..»

Подчиняясь своей страсти — «охоте к перемене мест», Пушкин оставляет своего доброго гения — ген. Инозова, и переселяется в Одессу под начало наместника Бессарабии и ге-

нерал-губернатора Новороссии гр. М. С. Воронцова. «В Одессе, — как пишет Пушкин брату, — ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей-Богу обновили душу».

Но «ресторация» и опера требовали денег, а взять их негде. Пушкин умоляет брата: «Изъясни отцу моему, что я без денег жить не могу... Все и все меня обманывают... На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно — крайность может довести до крайности — мне больно видеть равнодущие отца к моему состоянию...»

Везде мучила Пушкина неизбывная спутница его жизни — нужда. В Одессе чувствовалась она более, чем в Кишиневе, где можно было пообедать без ущерба самолюбию у Инзова и Орлова. Хотя Воронцов и предложил Пушкину обедать у него, но поэт не любил чопорного генерал-губернаторского дворца и посещал его редко. А когда правитель воронцовской канцелярии, А. И. Казначеев, объявил Пушкину, что граф из своих личных средств удваивает жалование Пушкину, то строптивый поэт отказался от этого подарка: «Я не могу и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство... по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство...»

В Одессе нельзя было скрыть недостатка в хорошем одеянии каким-нибудь благопристойным чудачеством, как поэт это делал в Кишиневе, появляясь на улице в костюме цыгана, еврея или в русской косоворотке с красным кушаком. Одеситы неодобрительно бы отнеслись к такому неуместному травести... Жизнь в Одессе требовала денег, а также и модного фрака. Сергей Львович обещал прислать «блудному сыну» свой фрак. Достаточно взглянуть на портрет Сергея Львовича кисти К. Гампельна, относящийся к 1824 году, чтобы убедиться, что фрак очень полного и грузного Сергея Львовича не годился бы сыну.

Но вдруг счастье улыбнулось Пушкину. После настойчивых просьб к Вяземскому: «Печатай скорее; не ради славы прошу, а ради Мамона!» — «Бахчисарайский фонтан» был напечатан и Вяземский продал весь наклад в книжную лавку за 3000 рублей, а деньги отоспал Пушкину, который воскликнул: «Начинаю почитать наших книгопродавцев и думаю, что ремесло наше, право, не хуже другого...» Получив деньги, Пушкин начал расплачиваться с кредиторами. Послал долг ген.

Инзову: «Посылаю Вам, генерал, 360 рублей, которые я Вам уже так давно должен; прошу принять мою искреннюю благодарность. Что касается извинений, у меня не хватает смелости Вам их принести. Мне стыдно и совестно, что я до сих пор не мог уплатить Вам этот долг — я погибал от нищеты». Уплатил Александр Сергеевич долг и своему постоянному одесскому извозчику Ивану Березе. Заплативши по ресторанным счетам, угостивши своих приятелей в фешенебельном Оттоне, Пушкин опять остался без копейки. Чтобы поправить дела, он решил переиздать «Кавказского пленника», но столкнулся с большим препятствием: петербургский цензор Ольденкоп издал немецкий перевод «Кавказского пленника» вместе с русским текстом без согласия автора. Пушкину пришлось отказаться от своего намерения, тем более, что он получил выгодное предложение, о котором пишет Вяземскому: «...Теперь поговорим о деле, т.е. о деньгах. Сленин предлагает мне за «Онегина» сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе — а я думал, что это ошибка географов. Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости, мне необходимой...»

Дело в том, что Пушкин вначале считал 1-ю главу «Онегина», с ее язвительным описанием светского общества, совершенно нецензурной. Однако ему удалось «пробиться сквозь цензуру». Окрыленный успехом, поэт решает разделаться с надоевшей ему Одессой, с ее «полуденной пылью», и с ненавистным ему Воронцовым и подает в отставку. С этим он обращается к правителью воронцовской канцелярии, А. И. Казначееву: «Поскольку мои литературные занятия дают мне больше денег, вполне естественно пожертвовать им моими служебными обязанностями... Стихотворство... просто мое ремесло, отрасль частной промышленности, доставляющая мне питание и домашнюю независимость... Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить... я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в моем времени и занятиях...»

Отставка Пушкина была принята, но пришло распоряжение отправиться ему в Михайловское, родовое имение его матери. Хотя Пушкин уже не состоял чиновником, ему выдали подорожных 384 р. 4 коп. на три лошади от Одессы до Михайлов-

ского (1621 верста). Когда Пушкин расплатился с долгами, ему не на что было выехать. Пришлось 600 рублей занять у проживавшей тогда в Одессе кн. В. Вяземской. М. Н. Лонгинов пишет: «Когда Пушкина высыпали из Одессы, финансы его были очень расстроены. Некоторые приятели одолжили ему взаймы, кто сколько мог. Дядя мой дал ему 50 или 100 р. ассигнациями. Вскоре дядя получил письмо от Пушкина. В письме были деньги».



«О, Господи, освободи меня от моих друзей!»
А. Пушкин (в письме к сестре)

По приезде в Михайловское у Пушкина начались столкновения с отцом, который бранил сына зассору с правительством, а сын укорял отца, что тот, не помогая ему, оставил его на произвол судьбы. Вскоре отец с семьей уехал из Михайловского, оставив Пушкина одного на хозяйстве.

Материальное положение Пушкина было настолько скверно в Михайловском, что он был вынужден продать свою коляску соседу, помещику Рокотову: «...Я счел бы своим долгом послать Вам свою коляску, но в настоящую минуту в моем распоряжении нет лошадей». По мнению дворовых: «плохие кони у Пушкина были, вовсе плохие! Вороной, а другой Гнедко».

Хозяйство в Михайловском велось спустя рукава. Староста Михайло занимался хищением, а управляющая имением Роза Григорьевна тоже не отличалась честностью, а кроме того «уморила няню, которая начала от нее худеть». Пушкин велел Розе подать счета: «Она показала мне, что за два года (1823 и 24) ей ничего не платили(?). И считает по 200 р. в год, итого 400 р. По моему счету ей следует 100 р... Я велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т.е. несколько утаенных четвертей! Впрочем она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления».

Е. И. Осипова так описывает Михайловское: «Я девочкой не раз бывала у Пушкина в имении и видела комнату, где он писал. Художник Ге написал на своей картине «Пушкин в селе Михайловском» совсем неверно... Комната Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояла в ней самая простая, деревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки под нее

подставлено было полено; некрашеный стол, два стула и полки с книгами довершали убранство этой комнаты. На этом столе Пушкин и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки».

15 Февраля 1825 г. вышла в свет 1-я глава «Евгения Онегина», встреченная издательским объявлением в газете Булгарина «Северная пчела». Пушкин очень расстроился. Да и меркантильный успех от продажи этого произведения был для поэта не осязаем, так как Левушка, продав издателям 1-ю главу «Евгения Онегина», не особенно спешил с высылкой денег брату, присвоив себе львиную долю авторского гонорара, а кроме того Левушка очень prodешевил, потребовав от издателей 5 рублей ассигнациями за строчку «Онегина». А. И. Семевский сразу согласился и добавил: «Ты промахнулся, Левушка, не потребовав за строчку по червонцу. Я бы тебе и эту цену дал, но только с условием: пропечатать нашу сделку в «Полярной звезде», для того, чтобы все знали, с какой готовностью мы платим золотом за золотые стихи». Ко всему еще Левушка подрывал «книжный торг» своего брата тем, что, стремясь быть желанным гостем петербургских салонов, приносил с собою еще ненапечатанные стихи своего ссыльного брата, читал их перед многочисленным собранием, позволяя делать копии, и вписывал в альбомы столичных красавиц. Например, он всюду читал поэму «Цыганы» еще до того, как она была издана. Пушкин журил брата за его «чтеньебесие». От брата не отставали и друзья поэта: «...Есть у меня еще друзья: Сабуров Яшка, Муханов, Давыдов и проч. Эти друзья не в пример хуже Булгарина. Они наднях меня зарежут... все друзья, треклятые друзья... Плетнев мне пишет, что «Бахчисарайский фонтан» у всех на руках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей славе! Благодарю в особенности Тургенева, моего благодетеля; благодарю Воейкова, моего высокого покровителя и знаменитого друга! Остается узнать, раскупится ли хоть один экземпляр печатный тими, у которых есть полные рукописи; но это безделица — поэт не должен думать о своем пропитании... Душа моя, меня тошнит от досады — на что ни гляну, все такая гадость, такая подłość, такая глупость — долго ли этому быть?»

Отсылая брату 2-ю главу «Онегина», Пушкин делает приписку: «Доставь это Вяземскому, повторив просьбы, чтоб он никому не показывал, да и сам не напакости». За эти труды

брат требовал «комиссионное» вознаграждение, хотя, по мнению Пушкина, «такого бессовестного комиссionera нет и не будет». Пушкин признается Вяземскому: «...Между нами, брат — Лев у меня на руках: от отца ему денег на девок да на шампанское не будет». О Левушке Пушкин пишет Дельвигу: «У меня нет ни копейки денег, я не знаю, когда и как я получу их. Беспречность и легкомыслие эгоизма (Левушкины) извинительны только до некоторой степени. Если он захочет переписывать мои стихи, вместо того, чтобы читать их на ужинах и украшать ими альбом Воейковой, то я буду ему благодарен...» Одновременно (июль 1825 г.) Пушкин пишет брату: «Ты знал, что деньги мне будут нужны, я на тебя полагался, как на брата — между тем год прошел, а у меня не полушки. Если бы я имел дело с одними книгопродавцами, то имел бы тысяч 15. Ты взял у Плетнева для выкупа моей рукописи 2000 р. («тетрадь Всеволожского» — рукопись Пушкина, проигранная поэтом Всеволожскому за 1000 рублей, и возвращенная за ту же сумму. М. Д.), заплатил 500, доплатил ли остальные 500? и осталось ли что-нибудь от остальной тысячи? Заплачены ли Вяземскому 600 р.? (старый одесский долг). Я отоспал мои рукописи тебе в марте — они еще не собраны, не цензированы. Ты читаешь их своим приятелям до тех пор, что они наизусть передают их московской публике. Благодарю... Издание поэм моих не двинется никогда... Словом, мне нужны деньги или удавиться. Ты знал это, ты обещал мне капитал прежде году — а я на тебя полагался. Упрекать тебя не стану, а благодарить ей-Богу не за что».

Оказывается, Левушка 600 р. кн. Вяземской не уплатил, как это видно из письма Пушкина к Вяземскому: «Я думал, что ты давно получил от Льва Сергеевича 600 р. — узнаю, что Лев их промотал...»

Во второй половине июля 1825 г. Пушкин признается Раевскому: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить». Таким образом, в период расцвета его творческих сил в то время, когда он много работает, создавая материал для «книжного торга», при готовой квартире и бесплатном питании в Михайловском, будучи холостым, он все же сидит «без гроша денег». Это объясняется и условиями «книжного торга» и кроме того исключительно легкомысленным и небрежным отношением его приятелей и

его родного брата к материальным интересам поэта.

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 г. Пушкин по приказу имп. Николая неожиданно с фельдъегерем уехал в Москву. Там был принят государем. Аудиенция продолжалась около двух часов, после нее царь на балу у французского посла графа Мармона, герцога Рагузского, сказал графу Блудову: «Я долго говорил сегодня с умнейшим человеком в России — с Пушкиным». Николай I обещал Пушкину освободить его от общей цензуры и быть его личным «цензором».

Но свобода не принесла улучшения «меркантильных обстоятельств» Пушкина. Вскоре из Москвы он опять поехал в Михайловское: «Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму... Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня: у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать; от бешенства я играю и проигрываю». Вяземскому: «Во Пскове вместо того, чтобы писать 7-ю главу «Онегина», я проигрываю в штос — четвертую: не забавно?» (В это время поэт проигрывает в штос Назимову 500 р.).

Но в Михайловском Пушкину тоже не сидится: «Еду в Москву, коль скоро будут деньги и снег. Снег-то уж падает, да деньги-то с неба не валятся». «Приехав в Ворончи в 12 ч. утра, я застал проезжого в постеле. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате недоставало мне 5 р., я поставил их на карту. Кarta за картой, проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 р. и уехал очень недовольный собой».

В 1827 г. Пушкин живет в Москве. Поселился у Соболевского: «...шпионы, драгуны, (— — —) и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера». Пушкина проездом навестил брат: «Лев был здесь — малый проворный, да жаль, что пьет. Он задолжал у петербургского ресторатора 400 рублей... Едет в Грузию, чтоб обновить увядшую душу. Уморительно!» Сам же Пушкин «в заботах суэтного света малодушно погружен» — играет! Понтируя А. М. Загряжскому, Пушкин проиграл все бывшие у него деньги. Он предложил в виде ставки только что оконченную им пятую главу «Онегина». Ставка была принята, так как рукопись представляла собою тоже деньги, и очень большие, — Пушкин проиграл. Следующей ставкой была пара пи-

столетов, но здесь счастье перешло на сторону поэта: он отыграл и пистолеты и рукопись...

В полицейском списке московских картежных игроков в числе 93 номеров значится: № 1. граф Федор Толстой (американец) — тонкий игрок и планист. № 23. Нащокин — отставной гвардии офицер. Игрок и буйн. Всеизвестный по делам, об нем производящимся. № 36. Пушкин — известный в Москве банкомет.

Летом 1827 г. Пушкин отправляется в Петербург «увидаться с дражайшими родителями и устроить свои денежные дела». Покидает Москву, а в ней и своих кредиторов. Один из них, Соболевский, получает от Пушкина письмо: «Посылаю тебе мою наличность, остальные 2500 р. получишь вслед. «Цыганы» мои не продаются вовсе (на руках у всех были списки М. Д.); деньги эти — трудовые, в поте лица моего выполненные у нашего друга Полторацкого». Соболевскому надоело ждать денег, которые должны прийти «вслед» первым, и он вексель Пушкина уступил кн. Трубецкому, который, обождав несколько месяцев, пристал к Пушкину, чтобы тот заплатил ему. «Давай денег! — давай денег! — а где их взять?» — ответил Пушкин Трубецкому. В это время Соболевский, взяв на себя обязанность переиздать в Москве 2-ю главу «Онегина», запоздал с этим по «безалаберности», а из-за этого во всех книжных лавках приостановилась продажа 1-й и 3-й глав «Онегина». Распространился слух, что Пушкин проиграл 2-ю главу, а по городу начала ходить эпиграмма:

Глава «Онегина» вторая
Съезжала скромно на тузе.

Все это Пушкина расстраивало. Он пишет своей соседке по имению, П. А. Осиповой: «Жизнь эта, признаться, довольно пустая, и я горю желанием так или иначе изменить ее... Шум и суетолока Петербурга мне стали совершенно чужды — и я с трудом переношу их. Я предпочитаю Ваш чудный сад и прелестные берега Сороти. Вы видите, что, несмотря на отвратительную прозу нынешнего моего существования, у меня все же сохранились поэтические вкусы».

Жизнь действительно пустая: меблированные комнаты в трактире Демута, картежная игра, проигрыши, долги... Боль-

шую часть ночи Пушкин проводил в обществе картечных игроков, а большую часть дня писал, довольствуясь кратковременным сном в промежутке этих занятий, подрывая этим образом жизни свое, крепкое от природы, здоровье. В Петербурге Пушкин водил знакомство с гвардейской молодежью, бывал в их обществе, принимая деятельное участие в кутежах. Однажды и он пригласил несколько человек в ресторан Доминика и угощал их на славу. Входит граф Завадовский, известный богач, и, обращаясь к Пушкину, говорит: «Однако, Александр Сергеевич, видно, тур набит у вас бумажник!» — «Да я ведь богаче вас, — отвечал Пушкин, — вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный с тридцати шести букв русской азбуки».

О своей жизни Пушкин пишет Н. Языкову:

Теперь докучно посещаю
Своих ленивых должников,
Остепенившись, проклинаю
Я тяжесть денег и годов.

Своих ленивых должников Пушкин посещал гораздо реже (их у него, наверно, и не было!), чем его посещали его энергичные заимодавцы, да, видно, он и не совсем остепенился, по крайней мере он пишет Вяземскому: «Пока Киселев и Полторацкие были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом

А в ненастные дни собирались они
часто.
Гнули, (— — —) от 50-ти
на 100.
И выигрывали и отписывали
мелом.
Так в ненастные дни занимались они
делом.

Но теперь мы все разбрелись».

Пушкин пишет отъезжающему И. А. Яковлеву: «Тяжело мне быть перед тобою виноватым, тяжело извиняться, тем более, что знаю твою delicacy of gentlement. Ты едешь наднях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, ... а я (между нами) проиграл уже около 20 тысяч. Во всяком случае, ты

первый получишь свои деньги. Надеюсь еще их заплатить перед твоим отъездом. Не то позволь вручить их Алексею Ивановичу, твоему батюшке; а ты предупреди, сделай милость, что эти 6 тысяч даны тобою мне взаймы...» (Через семь долгих лет Яковлев возвратится из заграницы домой и только тогда узнает, что Пушкин не заплатил этих 6 тысяч, да и не в состоянии был их заплатить).

До московских друзей поэта доходят слухи, что он «помышляет о напечтании «Мазепы», но игра занимает его более». Вяземский журит его за это: «Слышу от Карамзина жалобы на тебя, что ты играешь не на живот, а на смерть». «В Костроме узнал, что ты проигрываешь деньги Каратыгину. Дело нехорошее. По скверной погоде, я надеялся, что ты уже бросил карты и принялся за стихи». В Петербурге Мицкевич застал Пушкина у одного общего знакомого за банком и Александр Сергеевич сильно замешался от этой неожиданной встречи.

Пушкин хочет освободиться от этой «пустой» жизни и изменить ее, тем более, что кредиторы не дают ему покоя. Они же и подсказывают ему мысль отправиться на Кавказ в армию, где поэт может встретить много скучающих богатых людей и сорвать, играя с ними, изрядный куш для расплаты с заимодавцами. А. Н. Мордвинов, агент III Отд., доносит ген. Бенкендорфу: «Можно сильно утверждать, что путешествие Пушкина на Кавказ устроено игроками, у которых он в тисках. Ему наверно обещают золотые горы на Кавказе». «Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую Азию была устроена, действительно, игроками, — по свидетельству П. П. Вяземского, — Они, по связям в штабе Паскевича, могли выхлопотать ему разрешение отправиться в действующую армию».

Но все расчеты Пушкина, что он может на Кавказе отыграться, не оправдались. Знакомый поэта М. И. Пущин так описывает возвращение Пушкина из действующей армии: «Я пошел в Пятигорске осматривать источники. По возвращении домой я застал Пушкина с Дороховым и с офицером Астафьевым играющих в банк. Астафьев порядочно всех нас в первый раз облупил. Когда Астафьев ушел, я спросил Пушкина, как случилось, что, не будучи никогода знаком с Астафьевым, я нашел его у себя с ним играющего. — «Очень просто, — отвечал Пушкин, — мы, как ты ушел, послали за картами и

начали играть с Дороховым; Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться; мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он добрый малый и любит играть в карты». — «Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым в карты не играть». — «Нет, брат, дудки! Обещания не даю, Астафьева не боюсь и в Кисловодск приеду скорее, чем ты думаешь». Но на проверку вышло не так: более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск, наконец, приехали вместе, оба продувшись до копейки. Пушкин проиграл 1000 червонцев, взятых им на дорогу у Раевского. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься. Приказал моему деньщику приводить ему по утрам одну из моих лошадей и ездил кататься верхом. Скоро я узнал, что в Солдатской слободе около Кисловодска поселился Астафьев, и Пушкин каждое утро к нему заезжал. Однажды, возвратясь с прогулки, он высыпал несколько червонцев на стол: — «Откуда, Пушкин, такое богатство?» — «Должен тебе признаться, что я заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него несколько червонцев». Всего было им выиграно червонцев двадцать. Я ему предсказал, что весь свой выигрыш он оставит в один прекрасный день. Узнал я это тогда, когда он попросил у меня 50 червонцев, ехавши на игру. Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мной мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметева. Тут явилась замечательная личность — сарапульский городничий Дуров (братья Дуровой, славной в 1812 г. — М. Д.). Приближалось время отъезда; Пушкин условился ехать с Дуровым до Москвы; ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издережки; Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался «chevalier d'industrie» (мошенник), выиграл у него 5000 рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана Иловайского, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался и поскакал один в Москву».

Напечатанное «Путешествие в Арзрум» не принесло Пушкину столько прибыли, сколько он проиграл во время этого путешествия в карты. Привез он с собой ничего не стоящий вексель Дорохова, которым тот заплатил Пушкину свой карточный проигрыш.



“Il n'est de bonheur que dans les voies communes.”
Vicomte François de Chateaubriand.

«Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут: счастья не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes (счастье можно найти лишь на проторенных дорогах). Мне 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же... будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью», — пишет Пушкин своему приятелю Н. И. Кривцову.

Остановка за невестой. Пушкин ухаживал сразу за несколькими. Нравилась ему московская красавица Екатерина Николаевна Ушакова, которая была к нему тоже неравнодушна. Но, уехав в Петербург, поэт увлекся там другой красавицей — Анной Алексеевной Олениной. Он сватался, но получил отказ: отец Олениной не хотел выдавать свою dochь за автора «Гавриилиады», а кроме того, брат Олениной, бывая в обществе, где Пушкин играл в карты, хорошо знал о пропигрышах его. Пушкин с горя возвратился в Москву. При первом посещении Пресненского дома он узнал плоды своего непостоянства: Екатерина Николаевна была уже помолвлена с князем Долгоруким. — «С чем же я остался?» — вскричал Пушкин. — «С олеными рогами», — отвечала ему находчивая Ушакова.

У Пушкина в запасе еще была Натали Гончарова, с которой он познакомился в 1828 г., когда будущей его супруге едва наступила шестнадцатая весна. Он был представлен ей на балу и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с молодой особой, обратившей на себя общее внимание. Сначала сватовство поэта не имело успеха: мать невесты, Наталия Ивановна, не говорила ни да, ни нет. Но 6 апреля 1830 года на первый день Пасхи Пушкин сделал предложение Наталии Николаевне Гончаровой, которое, наконец, было принято, что поэт приписывал в значительной мере «счастливому» нащокинскому фраку, в который облекся поэт, за неимением своего. Нащокин

подарил Пушкину этот фрак, который его новый хозяин надевал в важных для него случаях.

«Наталия Ивановна была довольно умна, несколько начитана, но имела дурные манеры. В Ярополке (ее имении) было около 2000 крестьян, но у нее никогда не было денег, и дела в вечном беспорядке. В Москве она жила почти бедно. Дочерей своих бывала по щекам. На балы иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках». (Так сплетничала о Наталии Ивановне кн. Е. А. Долгорукая).

Свекор Наталии Ивановны Гончаровой, Афанасий Николаевич Гончаров, был собственник имения Полотняный Завод, расположенного в 18 верстах от Калуги. (Этот завод, построенный Петром Великим, изготавлял паруса для новостроющегося флота). Афанасий Николаевич за сорок лет своего хозяйствования этим громадным наследством, растратил почти 30-ти миллионное состояние, оставив после себя еще около полутора миллиона долга.

Для женитьбы нужны средства и Пушкин спешит напечатать «Бориса Годунова». Еще в 1826 году царь обещал Пушкину быть его «цензором» и в качестве такового советовал Пушкину переделать трагедию «Борис Годунов» в «историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта», а кроме того сделал несколько замечаний «о местах слишком вольных». На это Пушкин ответил: «Моя трагедия — произведение вполне искреннее, и я по совести не могу вычеркнуть того, что мне представляется существенным». В ответ на это Николай I разрешил напечатать «Бориса Годунова» без изменений «в первозданной красоте». Обрадованный Пушкин обращается к Бенкendorфу: «С чувством глубокой благодарности удостоился я получить благосклонный отзыв государя императора о моей исторической драме. «Борис Годунов» обязан своим появлением не только частному покровительству, которым удостоил меня государь, но и свободе, смело дарованной монархом писателям в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатание». «Во мне почтил он вдохновенье, освободил он мысль мою», — сказал Пушкин о Николае I.

Доход от издания «Бориса Годунова» был ничтожен по сравнению с карточными долгами Пушкина. В 1826-1830 гг. он проиграл значительные суммы, преимущественно профессио-

нальным игрокам: Огонь-Догановскому, Жемчужникову и др. К старому долгу в 20.000 рублей, о котором он писал И. А. Яковлеву, прибавился новый в 25.000 р. — Огонь-Догановскому и Ко, при бесконечном количестве «мелких» долгов.

В эту минуту, которая определила судьбу Пушкина на всю остальную жизнь, он обращается к своим родителям: «Я намерен жениться на м-ль Натали Гончаровой... Прошу вашего благословения... Состояние г-жи Гончаровой сильно расстроено и находится отчасти в зависимости от состояния ее свекра. Это является единственным препятствием моему счастию. У меня нет сил даже и помыслить от него отказаться. Мне гораздо легче надеяться на то, что придетете мне на помощь. Заклинаю вас, напишите мне, что вы можете сделать для меня».

От родителей пришло отеческое благословение и свадебный подарок: деревня Кистинево с 200 душ крестьян. Об этом Пушкин сообщает кн. В. Вяземской: «Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена. Отец мой дает мне 200 душ крестьян, которых я заложу в ломбард, а Вас, дорогая княгиня, прошу быть моей посаженой матерью».

Так как получение денег из ломбарда при залоге имения было процедурой довольно долгой, то Пушкин, не желая откладывать свадьбу, а совершив ее до поста, старается запастись деньгами, пользуясь другими источниками, тем более, что он, — по словам М. П. Погодина, — «Совершенно прогорелся». (В «Московском Вестнике», издаваемом М. П. Погодиным, Пушкин помещал свои произведения).

Поэт пишет М. П. Погодину ряд истерических писем (15 мая 1830 г.): «Сделайте одолжение, скажите, могу ли я надеяться к 30 мая иметь 5000 р.?» Через четыре дня (19 мая 1830 г.): «Сделайте божескую милость — помогите. К воскресенью мне деньги нужны непременно, а на вас вся моя надежда». Через десять дней (29 мая 1830 г.): «Выручите, если возможно, а я за вас буду Бога молить с женой и с малыми детушками». Через несколько дней (около 6 июня 1830): «Могу ли к вам заехать и когда? и будут ли деньги?» Около 6 июня 1830 г.: «Как вы думаете, есть надежда на Надеждина или Надоумко недоумевает? (При посредстве Погодина денежный заем был совершен у Н. И. Надеждина — известного критика

и журналиста, неоднократно выступавшего против Пушкина. Надоумко — псевдоним Надеждина. *М. Д.*).

Около 6 июня 1830 г.: «Если часть, так большую, ради Бога». Между 30 мая и 6 июня 1830 г.: «Надеждин хоть изрядно нас ТЕШЕТ (от слова — тесать. Подразумеваются неблагоприятные критические статьи. *М. Д.*), но лучше было бы, если он теперь потешил. Две тысячи лучше одной, суббота лучше понедельника». 9 июня 1830 г.: «Слава в вышних Богу, а на земли вам! ваши 1800 р. ассигнациями получил с благодарностью, а прочие чем вы скорее достанете, тем более меня одолжите». 12 июня 1830 г.: «Чувствую, что я вам надоедаю, да делать нечего. Скажите, сделайте одолжение, когда именно могу надеяться получить остальную сумму». И наконец, — вторая половина июня 1830 г.: «Сердечно благодарю вас, любезный Михайло Петрович, заемное письмо получите на днях».

В то время, когда Пушкин с таким трудом старался раздобыть 5000 рублей, В. С. Огонь-Догановский потребовал от него уплаты 25.000, проигранных ему в карты. К этой неприятности присоединяется и другая: мать невесты, Наталия Ивановна, находясь в стесненных обстоятельства, не готовит приданого дочери и откладывает свадьбу. Пушкин неистовствует. В поисках средств, Гончаровы, особенно дедушка, Афанасий Николаевич, придумывают разные способы добыть их, и обращаются к Пушкину, Ташенъкиному жениху, пользующемуся расположением государя, помочь им в осуществлении разных планов, фантастичность которых явствует из письма Пушкина к Бенкendorфу: «Прадед моей невесты некогда получил разрешение поставить в своем имении Полотняный Завод памятник имп. Екатерине II. Колossalная статуя, отлитая по его заказу из бронзы в Берлине, совершенно не удалась и так и не могла быть воздвигнута. Уже более 35 лет погребена она в подвалах усадьбы. Торговцы медью предлагали за нее 40.000 р., но нынешний ее владелец, г-н Гончаров, ни за что на это не соглашался... Неожиданно решенный брак его внучки застал его врасплох без всяких средств... Г-н Гончаров, хоть и неохотно, соглашается на продажу статуи... Поэтому я покорнейше прошу, ваше превосходительство, не отказать исходатайствовать для меня разрешение на переплавку названной статуи». Разрешение на переплавку статуи, или «бабушки», как назвал ее Пушкин, было дано. Но напрасно беспокоили государя и Бен-

кендорфа: за «бабушку» никто из купцов более 7 тысяч давать не хотел, «поэтому нечего тревожить ее уединение», — решил Пушкин.

Кроме того, Афанасий Николаевич хотел использовать Ташенькиного жениха, как ходатая при дворе, для получения из министерства финансов «временного вспоможения» 200.000 — 300.000 рублей. Но Пушкин нашел ministra финансов графа Канкрина к этой просьбе «довольно неблагосклонным». Афанасий Николаевич считал, что все эти неудачи происходят от «недостатка усердия» со стороны Пушкина, который сам страдал от этих неудач: «Серьезно я опасаюсь, что это задержит нашу свадьбу, если только Наталия Ивановна не согласится поручить мне заботы о вашем приданом. Ангел мой, постараитесь, пожалуйста», — пишет он своей невесте.

В довершение всех бед 20 августа 1830 г. умирает дядя Пушкина, Василий Львович. Раздосадованный жених пишет по этому поводу Е. М. Хитрово: «Надо признаться, никогда еще ни один дядя не умирал так некстати. Итак, женитьба моя откладывается еще на полтора месяца».

Это время Пушкин решил использовать для поездки в нижегородскую деревню, чтобы вступить во владение оной. Перед отъездом пишет он П. А. Плетневу: «Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдино... Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день от дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни... Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает — а я должен хлопотать о приданом да свадьбе, которую сыграем Бог весть когда... Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь...»

Пушкин думал, что земля, которую отец дал ему, составляет отдельное имение, когда же приехал, то оказалось, что это — часть деревни в 500 душ и что нужно произвести раздел, на что необходимо затратить несколько дней. Пушкин торопился покончить дела, но в той местности появилась холера, были установлены карантинные пункты и Пушкин очутился в плену «колера морбус». Но поэт не тяготился в своем плену,

а восторгался деревней: «Степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов» — пишет он своему издателю Плетневу.

«Болдинская осень» 1830 г. была в жизни Пушкина временем исключительного по своей интенсивности творческого труда; Пушкин пишет П. А. Плетневу из Москвы: «Вот что я привез сюда — 2 последние главы «Онегина», 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть (стихов 400) — «Домик в Коломне». Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, именно: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан» («Каменный гость»). Сверх того написал около 30 мелких стихотворений... Написал я прозою 5 повестей...» И это за неполных два месяца!

Наконец Пушкин получил деньги из ломбарда под залог своего имения. Он пишет П. А. Плетневу: «Заложил я моих 200 душ, взял 38.000 и вот им распределение: 11000 теще, — пиши пропало. 10000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Отстается 17000 на обзаведение и житье годичное».

Когда Пушкин заложил имение, то привез деньги к Наталии Ивановне и просил шить приданое. «Много денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Наталии Ивановны», — далее сплетничает кн. Е. А. Долгорукая.

Пушкин обращается к Наталии Ивановне: «Перейдем к вопросу о денежных средствах; я придаю этому мало значения. До сих пор мне хватало моего состояния. Хватит ли его после моей женитьбы? Я не потерплю ни за что на свете, чтобы жена моя испытывала лишения, чтобы она не бывала там, где она призвана блестать, развлекаться. Она вправе этого требовать. Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайности существование. И все же не станет ли она роптать, если положение ее в свете не будет столь блестящим, как она заслуживает и как я того хотел бы?»

Исполнение этого обещания Пушкин сделал как бы целью своей жизни. Он никогда ему не изменял. Он действительно принес ему в жертву свои увлечения, вкусы и свое вольное существование, но и свой досуг, без которого он не мог творить.

Хотя Пушкин и «придавал денежным средствам мало зна-

чения», но его друг, Н. Смирнов, считал, что недостаток денежных средств у Пушкина, после его женитьбы, был роковым для поэта: «Женитьба была его несчастье, все близкие друзья его жалели, что он женился. Семейные обязанности должны были неминуемо отвлечь его много от занятий, тем более, что, не имея еще собственного имения, живя произведениями своего пера и женясь на девушке, не принесшей ему никакого состояния, он приготовил себе в будущем грустные заботы о необходимом для существования. Так и случилось. С первого года Пушкин узнал правду, и, хотя никто из самых близких не слыхал от него ни единой жалобы, беспокойство существования омрачало часто его лицо».

(Окончание следует)

М. Дубинин

ПИСЬМА И. А. БУНИНА К Ф. А. СТЕПУНУ

Публикация писем И. А. Бунина к Ф. А. Степуну мотивируется тем, что Бунин считал Степуна одним из лучших критиков его произведений. Бунинские письма публикуются с оригиналов, хранящихся в Йельском университете, с разрешения доктора А. Раннита, которого я сердечно благодарю. Письма печатаются по новой орфографии, сокращения в оригинале заменены полной формой.

А. Звеерс, германо-славянское
отделение Ватерлооского уни-
верситета в Канаде.

28 января 1951 г.

Дорогой друг, дорогой Федор Августович, очень очень благодарю Вас за те слова, которые только Вы могли сказать обо мне (в 13-й тетради «Возрождения»).¹ И как горюю всегда, что мы с Вами так мало встречались когда-то (а теперь уж никогда, верно, не встретимся, ибо я человек уже мало по малу умирающий) и что было время, когда я был вполне сумасшедший, списавшийся в дребезии и писавший даже Вам письма того бесноватого, из которого бес мог войти только в одну из тех свиней, что бросились с обрыва в озеро Геннисаретское! Обнимаю Вас с неизменной любовью и целую руку дорогой Наталии Николаевны. Напишите пожалуйста или попросите ее написать в свободную минуту хоть несколько слов о том, каковы Ваши планы, — едете ли Вы куда-нибудь или нет? С Маргой и Галей² мы часто переписываемся, рады, что они уже спокойно устроились.

Вера Николаевна³ шлет Вам обоим сердечный поклон.

Ваш Иван Бунин

¹ См.: Ф. Степун, «И. А. Бунин и русская литература», *Возрождение*, 13 (1951), 172.

² Маргарита Августовна, сестра Степуна и Галина Кузнецова, писательница.

³ Вера Николаевна, жена Бунина.

10.3.1951

Дорогой Федор Августович, уже давным давно я послал Вам письмо — благодарность за Вашу статью обо мне в «Возрождении». Очень, очень прошу дорогую Наталью Николаевну написать мне 2 строки на открытке: получили ли Вы это письмо?

/.../ Жаль, что Вы написали в «Возрождении», что «в Темных аллеях» есть некоторый избыток рассматривания женских прельстительностей; /.../. Какой там «избыток»! Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет (вплоть до всякой даже моды женской): последите-ка, как жадно это делается даже в каждом трамвае особенно когда женщина ставит ногу на подножку трамвая! И есть-ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, почти страшное?

Целую Вас и руку Натальи Николаевны.

Ваш Иван Бунин

П.С. Есть ли [у] Вас моя книга «Воспоминания»? Верно есть. Так прочтите там — на странице 95 — что сам Чехов рассказывал мне про нужник /.../.¹

26.3.1951

Дорогой Федор Августович, чрезвычайно благодарю Вас за Ваше чудесное и такое во всем правильное (о том, что сейчас в Европе, — особенно во Франции, — да и во всем мире) письмо. И жалко чрезвычайно, что не могу ответить на него как хотелось бы, — на письма я всегда был бездарен, ничтожен (м.б. по лености прежде всего), а теперь и совсем никуда не гожусь: до возвращения в Париж из Граса, до мая 45-го года, я молодым козлом носился вверх и вниз по той почти отвесной горе, на которой стоит та английская вилла, где жили мы все время войны, да даже первый и, кажется второй год в Париже был еще ничего себе, а осенью второго года схватил воспаление легких, — всю мою жизнь бывших на редкость отличных, а с тех [пор] пошла писать губерния! И в Париже и в Жуан-лэ-Пен, куда мы ездили года три подряд на 2, на 3, на 4 месяца, эти вос-

¹ На этой странице сказано: «А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует! Испугаемся друга друга ужасно!».

паления без конца валили меня в постель, — спасал только пенициллин, — а в прошлом году, с весны, я заболел уже *смертельно* (простат) и *непременно* бы умер, если бы не сделал мне операцию некий Дюфур, уже знаменитый теперь хирург, француз, родившийся и проживший до 1917 года в Петербурге, — операцию без усыпления, продолжавшуюся ровно час без перерыва и настолько мучительную, что, думаю, сделала бы она честь самым страшным пыткам в московских застенках. А к этому прибавьте еще и астму, которая началась у меня в Париже тоже года три тому назад и душит меня с каждым месяцем все чаще и все сильнее. Был я прежде всю жизнь в отца, тут вдруг пошел в мать, лет 20 погибавшую от астмы в последнюю третью своей жизни. И Вы не можете себе представить, что я такое теперь! «Длинное море — бессонные ночи мои!» — так сказал, кажется, Иоанн Златоуст. И такое же «длинное море» каждая ночь моя теперь: не сплю, задыхаюсь, иногда добираюсь с постели до письменного стола, кое-что записываю (так написана половина книги моих «Воспоминаний»), потом опять в постель — что-нибудь читать, а больше всего — думать, думать — и тупо дивиться: как же это так — вот — вот ложиться в могилу?!! Худ я стал просто чудовищно — нечто такое, что я видел когда-то в Каире, в булакском музее, — мумия Рамзеса, slab так, что 2-3 шага по комнате и того гляди полетишь на пол от сердцебиения и головокружения. С тех пор, как привезли меня из клиники, — в начале октября прошлого года, — на улицу даже из открытого окна носа не высовывал. Месяца 2 тому назад открыли окно минут на десять, укутав меня всячески в постели, я глотнул свежего воздуха — плеврит! «И царь Давид состарился и вошел в лета, и не мог согреться, сколько ни одевали его... и положили с ним девственную, дабы согрела его, и он не познал ее...». Все это вполне мое. Нет только девственницы, — так редки они теперь! И хорошо, что нет: не познал бы и я, к великому стыду своему, я, автор будто бы бесстыдных «Темных Аллей», столь недавно написанных! Кстати: откуда Вы взяли «избыток» в них «разглядывания женских прельстительностей»? Это ошибка, происшедшая от рассказа «Визитные карточки», где писатель и впрямь очень пристально разглядывает, наблюдает, считая это своим *домом*.

С радостью прочел о прекрасном дне и о Вашей прекрасной квартире, где Вы диктовали Наталье Николаевне письмо ко мне,

и чрезвычайно благодарю Вас за разрешение взять из Имки Ваши «Воспоминания» для прочтения: вполне уверен, что прочту их с великим наслаждением; /.../

Простите ради Бога это мерзкое письмо — я нынче слаб и задыхаюсь особенно, пишу в постели. Сердечно обнимаю Вас, целую руку дорогой Наталье Николаевне.

Вера Николаевна шлет Вам обоим дружеский поклон.

Ваш Иван Бунин

29.3.51

Дорогой Федор Августович,

Вчера Зуров,¹ по моей просьбе, ходил в Имку за Вашей рукописью: оказалось, что она еще не пришла. В Имке беспокоятся, беспокоюсь и я: уже не пропала-ли в дороге? Ведь во Франции уже 2 недели происходит чорт знает что, — железнодорожное сообщение правильно возобновилось только недавно.

Досадую, что Вера Николаевна отнесла на почту утром, когда я спал, мое *предыдущее* длинное письмо Вам: оно бестолково, болтливо, вообще на редкость скверно. А причина тому та, что писал я его поздней ночью, шальной от антиастматических таблеток, — задыхался в эту ночь очень сильно. Так что — «извиняюсь».

Ваш Иван Бунин

22.VI.1951

Дорогой Федор Августович, получил Ваше письмо от 13 июня (почему-то только вчера — так долго шло!). Не помню, писал ли я Вам, каков я теперь. М.б., нет, и потому сообщаю: прошлым летом я был так смертельно болен, что если бы не операция (*несказанно* жестокая, без общего наркоза), я был бы уже с год в могиле. С тех пор (с конца сентября прошлого года) я ни единого раза не был вне дома, сижу (точнее сказать 20 часов в сутки лежу) в своей комнате по своей просто младенческой слабости и потому, что астма моя душит меня все чаще и все беспощаднее, а *артерит* правой ноги довел мои передвижения от постели до письменного стола до постыдно жалких скачков, до подпрыгивания на левой ноге да и то при помощи костыля. А все таки «сочиненница мои меня еще и до сих пор

¹ Леонид Федорович Зуров, писатель, жил у Буниных.

занимают», как писал Петрарка в старости. Было мне очень и очень лестно и приятно прочесть поэтому в Вашем письме, что Вы «целых три часа» читали обо мне где-то — и немецкие студенты так хорошо слушали Вас и так интересно отзывались на Ваше чтение: вот французские студенты не таковы — они на все смотрят сверху вниз, все на свете, кроме своего, французского презирают!

Целую Вас, дорогой мой, и руку Натальи Николаевны. Не смею торопить Вас с присылкой Ваших воспоминаний.

Ваш Иван Бунин

28 августа 1952 г.

Мой дорогой, высокий друг, милый Федор Августович, Я все слабею, все больше задыхаюсь, жить мне осталось, думаю, немного, но делаю усилия, добираюсь до письменного стола иногда, с помощью Веры привожу в порядок мой архивчик для отправки в Америку, в Архив Колумбийского Университета, и вот нашел нынче Вашу замечательную статью о «Митиной любви» в «Современных Записках» 1926 г. и хочу Вам сказать, до чего я тронут Вашим вниманием ко мне! Благодарю Вас, обнимаю от всей души! С неизменной любовью целую руку дорогой Наташи, — пусть простит она мне, старику, что я осмеливаюсь так называть ее.

Ваш Иван Бунин

Воскресенье, 12 октября 52 г.

Дорогой Федор Августович, очень, очень благодарю Вас и дорогую Наталью Николаевну за Ваше последнее, столь сердечное письмо ко мне! Благодарю так поздно потому, что был болен тяжким гриппом (да и сейчас еще не совсем оправился). То, что Вы будете читать обо мне, новое доказательство Вашего внимания ко мне, такого ценнего для меня. Простите за нескромность: я вскоре отправляю свой архивчик в Архив Колумбийского университета, — увы, вообще привожу свои делишки в некоторый порядок в ожидании близкого конца своих дней, — и лежа в постели, пересмотрел целый сундук критических отзывов о моих писаниях, — великих похвал им, — но как резко выделяются среди них, бывают в нечто главное Ваши! И потому с радостью послал бы Вам хоть чтонибудь из моих книг, но уж давным давно все, все разошлись они, а издает меня теперь только

Нью-Йорк, «Чеховское издательство», которому поручил я послать новое издание «Арсеньева» и те 2 новые книги (сборник разных рассказов), которые, вероятно, выйдут в конце сего года. Вот все, что я могу сделать!

Обнимаю Вас, дорогой друг, целую руку Наталии Николаевны и передаю поклон Веры Вам обоим.

Ваш Иван Бунин

П.С. Тэффи была очень плоха последнее время и все же поразила нас ее смерть.

13 октября Понедельник

Только что получил письмо из Нью-Йорка, из «Чеховского Издательства»: книги мои, о которых писал Вам вчера, пошли в набор, — значит, к Рождеству, Бог даст, выйдут и немедленно будут доставлены Вам. Вы найдете в них многое годное для Вашего чтения обо мне. Ваш Иван Бунин
П.С. Корректуру этих книг будут читать Галя и Марга.

Роды моих сочинений¹

О НАРОДЕ

Подторжье. Н.В. Деревня. Сосны. Мелитон. На край света. Древний человек. Сила. Н.В. Хорошая жизнь. Сверчок. Ночной разговор. Н.В. Весенний вечер. Захар Воробьев. Н.В. Иоанн Рыдалец. Н.В. Н.В. Жертва. Н.В. Оброк. Н.В. Лирник Родион. Н.В. Ермил. Князь во князьях. Забота. Будни. Личарда. Сказка. Хороших кровей. Н.В. Н.В. Аглая. Н.В. Я все молчу. Н.В. Святые. Мухи. Лапти. Слава. Н.В. Косцы. О дураке Емеле. Обуз. В саду. Н.В. Божье древо. Муравский шлях. Распятие. Пожар. Журавли. Сокол. Людоедка. Н.В. На базарной улице.² Илюшка. Полдень. Бродяга. Слезы. Блаженные. Коренней. Комета. Строшила. Летний день. Дедушка. Канун. До победного конца. Письмо. Птицы небесные. Поруганный Спас. Н.В. Сны. Н.В. Полуденный зной.³

Подчеркнутое считаю наиболее ценным, Н.В. особенно.

¹ Интересно заметить, что в список рассказов «Господин из Сан-Франциско» и «Братья» не вошли.

² Так написано, а не: «На Базарной».

³ По всей вероятности Бунин имеет в виду «Полуденный жар», 1947 г.

О ЛЮБВИ

Митина любовь. Н.В. *Последнее свидание. Легкое дыхание.* Сын. Н.В. *Сны Чанга.* При дороге. Клаша. Н.В. *Грамматика любви.* Н.В. *Солнечный удар.* Мордовский сарафан. Н.В. *Ида.* Н.В. *Иннат.* Дело корнета Елагина. Н.В. *Готами.* *Метеор.* *Полуночная зарница.* Н.В. *Неизвестный друг.* Н.В. *В ночном море.* Старый порт. Н.В. Убийство. Н.В. Ущелье. Первая любовь. Прекраснейшая солнца (о Петрарке). Заря всю ночь. Осенью. Маленький роман. Н.В. «*В такую ночь...*». Памятный бал. Н.В. *Весной, в Иудее.* Костер. Н.В. *Ночлег.* Н.В. *Вся книга «Темные аллеи».* В этой книге особенно «*Поздний час*». Н.В. Н.В. *Казимир Станиславович.*

МИСТИЧЕСКИЕ

Третья петухи. *Преображение.* Пингвины. Музыка. В некотором царстве. Именины. Н.В. *Ночь отречения.* Н.В. *Безумный художник.* Ночь (ночные цикады).

О СМЕРТИ

Смерть пророка. Н.В. *Исход.* Огнь пожирающий. Н.В. *К роду отцов.*⁴ Алексей Алексеевич.⁵ Ландо.

РАЗНЫЕ

Страшный рассказ. История с чемоданом. *Идол. Телячья головка.* Цыфры. Молодость. Благосклонное участие. Красные фонари. Небо над стеной. Свидание. Петухи. Ужас. Подснежник. Первый класс. *Далекое.* Грибок. Надписи. Пост. Слепой. *Обреченный дом.* Конец. Отто Штейн. Н.В. Н.В. *Петлистые уши.* Постоялец. Старуха. Н.В. *Нессрочная весна.* Богиня. Н.В. *Воды многие.* Н.В. *Жизнь Арсеньева* (издание «И-ва имени Чехова»). Н.В. *Суходол.* Н.В. *Последний день.*

Может быть, дорогой друг, Вам это не понадобится? Думаю, что понадобится. Очень многое из этого списка вошло в те две книги, что выйдут не позднее Нового года. Обнимаю Вас, целую руку дорогой Наталии Николаевны.

Иван Бунин

⁴ Так написано, а не: «К роду отцов своих».

⁵ Так написано Буниным, а не «Алексей Алексеич».

Половину того, что издано в 6 томиках Марксом в 1915 г., отвергаю!

СТИХИ

Избранные стихи. Переводы в стихах: Н.В. *Три мистерии* Байрона (Каин, Манфред, Небо и Земля). Н.В. *Песнь о Гайавате* Лонгфелло. Четыре фрагмента из «Золотой Легенды» Лонгфелло.⁶ *Годива Теннисона*.

три фрагмента из «Золотой Легенды» Лонгфелло.

Н.В. *Книга «Освобождение Толстого»* Н.В. *Книга «Тень Птицы»* Н.В. *Книга «Воспоминания»* Н.В. *Книга «Окаймленные дни»*.

КНИГА «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»⁷

Темные аллеи. Кавказ. Н.В. *Баллада*. Степа. Муза. Н.В. *Поздний час*. Н.В. *Руся*. Красавица. Дурочка. Антигона. Смарагд. Гость. Волки. Н.В. *Визитные карточки*. Н.В. *Зойка и Валерия*. Н.В. Н.В. *Таня*. Н.В. *В Париже*. Н.В. *Галя Ганская*. Н.В. *Генрих*. Н.В. Н.В. *Натали*. В одной знакомой улице. *Речной трактир*. Кума. Начало. «Дубки». Барышня Клара. Н.В. *Мадрид*. Второй кофейник. Н.В. *Железная шерсть*. Н.В. *Холодная осень*. Пароход «Саратов». Н.В. *Ворон*. Камарг. Сто рупий. *Месть. Каучели*. Н.В. *Чистый понедельник* Н.В. Часовня.

13 октября 52, понедельник.

Дорогой Федор Августович, продолжая разбирать свой «архив», нашел открытку, которую прислал мне в Грасс покойный Илья Исидорович¹: вся эта открытка состоит из выписки из тель, близкий друг Буниных.

Вашего письма к нему относительно моего рассказа «Божье древо», напечатанного в «Современных Записках» в 1928 г. Вы писали Илье Исидоровичу следующее: «Божье древо Бунина один из самых пленительных и самых глубоких его рассказов. Яков² Демидыч написан им совершенно изумительно. Если на-

⁶ По всей вероятности Бунин имеет в виду: «Псалом жизни» и

⁷ Список следующих рассказов — по книге: И. А. Бунин, *Темные аллеи, Париж 1946*.

¹ Илья Исидорович Фондаминский (1879-1942), издатель и писа-

писать философский комментарий ко всем его разбросанным по рассказу словам и изречениям, то выйдет большой философский труд. Неприятно мне в рассказе, что это изумительное миросозерцание дважды садится на корячки по своей надобности, но это в конце концов не главное».

Напоминаю, — м.б., Вы забыли, — что этот Яков Демидыч — караульщик сада, липецкий крестьянин, *однодворец*, говорящий старинным, великолепным языком.

Дорогой Федор Августович, «не могу молчать!» — нынче послал Вам avion и вот опять пишу: Вы ошиблись, уже кое-что запамятали относительно моего рассказа, спутали, когда писали Илье Исидоровичу! Яков Демидыч — деликатнейший человек, умница, натура тонкая, благородная, он *никак не мог* садиться на корячки при авторе (рассказа о нем)!!! Это не он, а какой-то «*московский обуватель*²» (обыватель), «*стрюцкий*», приехав в деревню, сел где-то на корячки — позорно бежал от собак, прибежавших к нему в чаянии поживиться последствием его сидения. Это о нем, помирая со смеху, рассказывал Яков Демидыч.

Ваш Иван Бунин

² Эти слова подчеркнуты красным карандашом.

Примечание: см. «Письма И. Бунина к Н. Тэффи», третью ссылку на стр. 149, 117-ой книги Н. Ж. Я профессору Г. Струве очень благодарен, что он мне сообщил, что для него сомнения нет, что В. Б. — профессор Василий Борисович Ельяшевич, в доме которого в Бюссинген-Отте Тэффи останавливалась. А. Звеерс.

ЧТО ДЕЛАЮТ С Л. И. ПЛЮЩЕМ В ПСИХБОЛЬНИЦЕ

Эта статья Т. С. Ходорович получена нами из Самиздата. Она написана для Самиздата, как предисловие к сборнику статей Л. И. Плюща. Статья названа автором «Не совсем обычное предисловие». В кн. 116 «Нов. Журн.» мы напечатали достаточно жуткий «Репортаж из сумасшедшего дома» Ю. В. Мальцева: рассказ о его пребывании в психбольнице им. Кащенко в Москве на положении «душевнобольного». Описанная Т. С. Ходорович психбольница в Днепропетровске, куда помещен Л. И. Плющ, представляется еще страшнее. РЕД.

Леонид Иванович Плющ родился в апреле 1939 г. в пос. Нарин Тянь-Шаньской области, в семье железнодорожного служащего. В самом начале второй мировой войны отец Леонида Ивановича ушел на фронт, откуда уже не вернулся. Мать Леонида Ивановича, Евгения Николаевна, после окончания войны переезжает с сыном в Одессу — у маленького Леонида врачи обнаруживают костный туберкулез и советуют увезти его к Черному морю.

В Одессе Евгения Николаевна устраивается на работу уборщицей в санаторий, а сына помещает на лечение в детский туберкулезный санаторий вблизи Одессы.

Четыре года — годы учения в школе — Л. Плющ прикован к постели. В 1956 г. он заканчивает школу с серебряной медалью, в 1962 г. — механико-математический факультет Киевского университета. С сентября 1962 г. по июль 1968 г. Л. Плющ работает в Институте кибернетики Академии Наук УССР в должности инженера-математика. Занимается моделированием биологических систем; опубликовывает статьи: «Математическое моделирование системы управления уровней сахара на аналоговой вычислительной машине» (Семинар «Математические модели в биологии», 1965 г.); «К оценке организации нейронных структур» (Научно-техническая конференция, по-

священная Дню радио, 1966 г.); «Функция близости и критерий самоорганизации» (Сборник «Бионика. Моделирование биосистем», 1967 г.).

В июле 1968 г. Л. И. Плющ уволен в связи с тем, что написал и отправил в газету «Комсомольская правда» резкую статью по поводу суда над А. Гинзбургом. В Трудовой книжке Плюща запись — «уволен по сокращению штатов».

В характеристике, выданной Л. Плющу незадолго до его увольнения, сказано, что он «вдумчивый, исполнительный работник», относящийся к делу творчески, добросовестно; активно участвует в разработке инженерно-психологической тематики; руководит философским семинаром, посвященным вопросам марксистско-ленинской этики и эстетики. Почти год «вдумчивый и исполнительный работник», отец 2-х детей — без работы: никуда не принимают.

Наконец, в мае 1969 г. принят на временную работу рабочим-брошюровщиком. Вскоре — уволен, за то, что подписал в составе Инициативной группы защиты прав человека в СССР письмо в ООН. Вплоть до ареста все попытки Леонида Ивановича поступить на работу терпят крах. Его отказываются принять даже кочегаром. «Из-за состояния вашего здоровья — говорят ему в отделе кадров — вы же хромаете...»

После нескольких обысков, 15 января 1972 г. Л. И. Плющ арестован по обвинению по статье 62 УК УССР (соответствует ст. 70 УК РСФСР) — за «антисоветскую агитацию и пропаганду». С этого времени он находится в заключении; до июля 1973 г. — в следственных изоляторах КГБ Киева и частично Москвы, затем — в специальной психиатрической больнице в г. Днепропетровске.

На допросах Л. Плющ молчит — такова его позиция, позиция неучастия.

Киевский областной суд (январь 1973 г.) признал, что Л. И. Плющ совершил опасное государственное преступление, квалифицируемое по ст. 62 УК УССР, в невменяемом состоянии. Верховный Суд УССР, 5 июля 1973 г., вынес решение: «Направить Леонида Ивановича Плюща на принудительное лечение в специальную психиатрическую больницу ввиду особой опасности его антисоветских действий».

Уже год математик Леонид Плющ, после полуторагодового заключения в следственных тюрьмах, находится в Дне-

пропетровской тюремной психиатрической больнице. Условия содержания в этой больнице — нечеловеческие. Однако врачи, по-видимому, не считают это препятствием для проведения лечения больных и *не-больных* мощными дозами сильнодействующих нейролептиков.

В течение 7-8 месяцев в организм математика со светлой головой насильственно вводится галоперидол. В камере вместе с ним — 25 тяжело психически больных заключенных: убийц или потенциальных убийц, садистов, поджигателей и т.д. Обстановка такая, что читать — невозможно, говорить — не с кем, писать — нельзя (только один раз в неделю выдаются письменные принадлежности — писать письма).

22 октября, во время свидания с женой и пятнадцатилетним сыном, у Л. Плюща начались судороги, конвульсивные движения, перерывы в речи, и он попросил прекратить свидание. (Л. Плюшу разрешено 2 свидания в месяц, по 1 часу каждое).

Жена Л. И. Плюща, Т. И. Житникова, пишет заявление начальнику этого «учреждения» — тюремной психиатрической больницы, — в котором требует отмены назначенного мужу лечения в связи с резким ухудшением его состояния. Спустя некоторое время она получает документ следующего содержания: — «В ответ на Вашу жалобу сообщаю, что состояние здоровья Вашего мужа, Плюща Л. И., удовлетворительное; в больнице он получает необходимое ему лечение. Никаких судорог на свидании не было. На свидании присутствовал врач».

Эту ложь повторяет и начальство Главного управления исправительно-трудовых учреждений Министерства внутренних дел Украины, в ведении которого находятся тюрьмы, лагеря и так называемые *специальные психиатрические больницы*:¹ «...У Вашего мужа на свидании 22-го октября никаких судорог или потери речи не было... На свидании присутствовал врач».

А жена и потрясенный увиденным пятнадцатилетний сын Л. Плюща, Дима, с ужасом и страданием вспоминают это свидание, муки отца и мужа, его старание скрыть от них свое состояние сильнейшим напряжением воли, и срыв — конвуль-

¹ На Украине существует только одна такая «специальная больница» — Днепропетровская.

ции и досрочное окончание свидания... «Судорог не было...».

Мать больше не берет с собой детей — неизвестно, что будет в следующий раз, каким они увидят отца. Однако следующие свидания проходят не так напряженно: судорог и конвульсивных движений больше нет. По-видимому,² стали давать корректор. Общее же состояние Плюща тяжелое. Апатия. Леонид Иванович стал молчаливым, вялым, в глазах — безнадежность и грусть. Таким он был и на свидании 4 января 1974 г. Жаловался, что все время хочет спать.

— Ничего не хочется: ни читать, ни даже думать — все бессмысленно и беспространственно. Только спать...

В феврале-марте 1974 г. галоперидол заменяется инъекциями инсулина с возрастающей дозировкой. У Леонида Ивановича появилась сильная отечность, боли в области живота, он стал мерзнуть и поэтому отказывается от полагающихся ему прогулок по тюремному двору.³ Его трудно узнать: распухший манекен с остановившимся взглядом. Лишь тогда, когда он смотрит на жену, глаза оживляются, становятся прежними, всепонимающими. И еще глаза меняются при взгляде на медперсонал, присутствующий при свидании, — но как меняются! — появляется нездоровый блеск, глаза как бы тонут в расплывшейся маске, приобретают недоверчивое, затравленное выражение...

Лечащий врач Л. Плюща, Людмила Алексеевна Часовских⁴ сообщила жене, что экспертная комиссия (состоявшаяся в феврале-марте) сочла необходимым продолжить лечение Плюща. Члены Комиссии с Плющом не беседовали.

— Какие же симптомы заболевания свидетельствуют о необходимости продолжения лечения?

— Его взгляды и убеждения...

— Что же является основным показателем заболевания?

— Идеи реформаторства и изобретательства.

И далее:... «И вообще я вам и так слишком много сказала. Психиатрия — сложная наука, вы не сможете понять. Вам не

² Приходится писать «по-видимому», потому что «лечебие» Леонида Плюща — тоже «государственная тайна».

³ Одна прогулка в день, продолжительностью один час.

⁴ Людмила Алексеевна не хотела сообщать свою фамилию, и ее удалось узнать с большим трудом, буквально вычислить.

на что жаловаться — ему у нас очень хорошо. Мы очень к нему внимательны, и *что ему еще!*: ест, спит».

Во время этого диалога улыбка не сходила с лица врача. Людмила Алексеевна была заискивающе мила и любезна.

На свидании 4-го марта, которого жена ждала 5 часов, стоя на улице, у здания Днепропетровской тюрьмы, первое впечатление от введенного в комнату свиданий Леонида Ивановича было жуткое: надутая резиновая кукла с растопыренными руками и ногами, на которую натянута арестантская одежда; лицо распухшее и бессмысленное — *не он!* Лишь спустя некоторое время оживился и осмыслился взгляд, обращенный к жене, и перед нею снова — прежний, очаровывающий добрым и умным взглядом больших красивых глаз, — Леонид Плющ. Говорила и спрашивала жена, Леонид Иванович молчал. Он сказал лишь, что врачи настаивают на том, чтобы он, обязательно в письменной форме, отрекся от своих взглядов и убеждений.

— Но ведь тогда я буду как Иван Дзюба, — говорит Леонид Иванович и жалобно смотрит на жену.

— Все-таки подумай. Надо же отсюда выбираться.

— Я подумаю. А как же все, как друзья? Ведь я их подведу.

— Но выдержишь ли ты?

— Да, я выдержу, — говорит Л. Плющ.

И снова перед Т. И. Житниковой возникает надутая резиновая кукла с отсутствующим взглядом.

Апрель. Снова экспертная комиссия, которая рекомендовала продолжить содержание Л. Плюща в специальной психиатрической больнице. Основание для продолжения лечения в тюремных условиях — наличие идей «реформаторства» и «изобретательства». Ранние признаки «заболевания», в частности появление идеи «реформаторства», члены комиссии усмотрели даже в том, что в студенческие годы Плющ был членом отряда «Легкой кавалерии».⁵ Идеями «изобретательства в области психологии» были названы серьезные занятия Л. Плю-

⁵ Отряды «Легкой кавалерии» создавались официально в те годы для борьбы против пьянства, хулиганства, хищений и т.п. За участие в таком отряде Л. Плющ был награжден Грамотой обкома комсомола.

ща теорией игр и психологией игры, а также составление им интеллектуальных игр.⁶

Считаю уместным напомнить, что проф. Снежневский в своем заключении, основанном на экспертизе Л. Плюща, проведенной им около двух лет тому назад, когда Плющ был в Лефортовской тюрьме, отметил, что идеи «реформаторства» трансформировались в идеи «изобретательства в области психологии». Однако до сих Плюща «лечат» и от «реформаторства» и от «изобретательства». Никаких бесед ни на психологические темы, ни на темы, скажем, об устройстве человеческого общества и об отношении к этому «устройству» Л. И. Плюща никто с ним не вел, так что какие «идеи» им владеют и владеют ли, никто из врачей (и не-врачей) знать не может.

Плющу предложили написать подробную автобиографию, из которой было бы ясно, как формировались его взгляды, как появились у него «бредовые идеи». Плющ отказался написать такую автобиографию.

На свидании 12 мая становится известным, что с апреля Плющу перестали давать какие бы то ни было препараты. Он объясняет это тем, что у него появились боли в области живота, и врачи испугались. После отмены лекарств состояние Плюща улучшилось: стали спадать отеки, прошли боли. Его перевели в другую палату; там меньше больных,тише. Он опять стал читать, правда, теперь уже не научную, а только художественную литературу; стал писать письма. Характер писем тоже несколько изменился: они стали короче, чем были в самом начале его пребывания в специальной психиатрической больнице; Плющ уже не рассуждает на философские темы, не излагает жене новые мысли о теории игр и т.д.

На свидании 29 мая жена узнает от Леонида Ивановича, что с 13 мая ему снова стали делать инъекции инсулина; доза с каждым днем возрастает. Появилась аллергическая сыпь, зуд. Однако инъекции не прекратили. После каждого укола Плюща привязывают на четыре часа к кровати.

29 мая начальник специальной психиатрической больницы г. Днепропетровска (тел. больницы 42-34-00) Прусс на вопрос жены, когда же выпустят ее мужа, ведь скоро, 15 июля, испо-

⁶ Если не ошибаюсь, этими проблемами занимаются некоторые университеты, Прованский, например.

няется год, как он находится в *специальной* психиатрической больнице, и может ли она чем-нибудь помочь для скорейшего его возвращения домой, ответил примерно следующее:

— Ваш муж слишком много читает, нельзя присыпать ему столько книг — его больной мозг необходимо щадить, он нуждается в длительном лечении, вы не должны этого забывать.

В тот же день в беседе с лечащим врачом, который категорическим тоном заявил, что Л. Плющу вредно читать (при вяло-текущей-то форме шизофрении!), выяснилось, что ему разрешают читать очень мало, так мало, что он откладывает чтение как лакомый кусочек на вечер, и целый день живет ожиданием вечернего чтения. Беседа с лечащим врачом шла на этот раз в присутствии Леонида Ивановича, который очень испугался, услышав, что его хотят лишить и этого, единственного возможного в его условиях, общения с человеческой мыслью.

Письма родных и близких сразу после прочтения у Плюща отбирают; да и передают их ему в последнее время отнюдь не все. Его письма тоже не всегда попадают к адресатам. С марта по май жена получила от него всего три письма, теперь уже не столько потому, что ему трудно писать, сколько потому, что их не стали отправлять. Ему не разрешают иметь при себе даже фотографию жены и детей — показали и тут же отобрали.

На свидании 3-го июля Л. Плющ сообщил, что в течение 7-8 дней ему не вводили инсулин — он был простужен. С 30-го июня уколы возобновили; в первые сутки доза была очень маленькой, на третью сутки она резко возросла — полный шприц.

Я имела возможность проконсультироваться с психиатрами, стоящими в стороне от сообщества «психиатр-КГБ». Они утверждают, что такое «лечение» инсулином может пагубно отразиться на психическом состоянии пациента.

Утром 3-го июля Л. И. Плющ был освидетельствован психиатрической комиссией, состоящей из местных врачей; вынесено решение продлить лечение в условиях Днепропетровской тюремной психиатрической больницы; санкционировано продолжение инъекций инсулина.

Члены комиссии задали Л. Плющу три вопроса:

- Как вы себя чувствуете?
- Удовлетворительно.
- Как на вас действует инсулин?

- Вызывает аллергию.
- Как вы относитесь к своей прошлой деятельности?
- Жалею, что в это ввязался.

Человек, который выдержал допросы «экспертизы», следственные изоляторы, постоянное длительное окружение душевнобольными, отсутствие воздуха, грязь, холод, плохое питание, по-видимому, не в силах выдерживать все это в совокупности с химическими препаратами. Воля человеческая и силы не беспредельны.

22-го июля, после свидания, начальник медицинской службы Днепропетровской специальной больницы заявил, что через месяц Леониду Плющу будут вводить тристазил.



Содержание Леонида Плюща в Днепропетровской тюрьме для умалищенных — страшнее пытки. Это — постепенное уничтожение человеческого разума, эмоций, духовных и физических сил. На наших глазах погибает незаурядная человеческая личность. Мы не вправе допустить это. Мы *обязаны* ее спасти, нас много!

Западные коллеги Леонида Плюща! Люди свободного мира! Вы обладаете большей свободой, а, следовательно, и большими возможностями. *Помогите нам!* Добивайтесь *освобождения* узника совести, заточенного в сумасшедший дом!

Не заблуждайтесь: *спасение погибающего* — это не вмешательство во внутренние дела другой страны, *это вообще не политика!* Любъ к ближнему, милосердие — это человеческая сущность. Если проявление этих природных свойств человека рассматривать как политические действия, тогда *нет* человека, тогда мы *не люди!*

июль 1974 г.

Т. С. Ходорович

В. К. ПЛЕВЕ

В конце 70-х годов я зашел как то летом к своему гимназическому товарищу А. А. Корнилову, отец которого управлял Варшавской Контрольной Палатой. В прихожей высокий, элегантный мужчина, с любезной улыбкой убеждал в чем то моего небольшого ростом товарища, но тот видимо не сдавался. Посетитель ушел с недовольным видом. «Вот назойливый человек», — сказал Корнилов, — «который раз приходит, знает, что отец терпеть не может принимать по делам службы на дому, а лезет». «Кто это?» — «Товарищ Прокурора Палаты, Плеве, у них там какие то недоразумения с контролем». То был В. К. фон Плеве, впоследствии грозный Министр Внутренних Дел.

Личность В. К. Плеве была окружена каким то туманом, который особенно сгустился ко времени назначения его Министром. Фамилия с ее неловкими созвучиями подавала повод к всевозможным каламбурам: «Плевое Министерство», «Плевое дело», «Плевок» — сын Плеве, «плевела» — его мысли и действия и т.д. Про С. Ю. Витте, свергнутого усилиями Плеве и А. П. Безобразова, говорили, что он ушел «оплеванный и обезображеный».

Самое происхождение Плеве возбуждало сомнения. Говорили, что не то отец, не то дед его был выкрест из евреев, состоявший кистером при лютеранской церкви близь Кейдан

Мы печатаем отрывок о В. К. Плеве из неопубликованных воспоминаний С. Е. Крыжановского, быв. товарища министра внутренних дел в 1906 г. и быв. государственного секретаря в 1907 г. Рукопись воспоминаний С. Е. Крыжановского любезно предоставлена нам Г. Докторовым (Харвардский Университет), за что мы приносим ему нашу благодарность. Часть воспоминаний С. Е. Крыжановского была опубликована в 1938 г. в Берлине изд-вом «Петрополис». Мы также благодарим Архив русской и восточно-европейской истории и культуры при Колумбийском у-те за разрешение напечатать этот документ. — РЕД.

(последнее слышано от Н. Н. Покровского, имение которого расположено было около Кейдан); говорили, что он был незаконным сыном какого-то польского магната и был крещен в католичество, а затем перешел в лютеранство и наконец в православие, два раза переменив религию, приставил и затем отбросил частицу «фон», что он предал по какому то поводу своего отца и т.п. Все рассказы эти очень распространенные и проникшие впоследствии в печать, были происхождения легендарного. Отец Плеве был не то учителем, не то почтмейстером в городе Мещовске и был женат на русской местной помещице из старой дворянской семьи, а следовательно сам Плеве мог быть крещен не иначе, как в православии. С отцом его была, однако, какая то неясность, вероятно и подавшая повод к легендам. Когда отец умер, В. К. Плеве, в то время уже Государственный Секретарь — объявил его лютеранином, но пастор требовал доказательств, а их не было; тогда отца объявили реформатом, но и тут отсутствие документов порождало затруднения. Говорили, что затруднения эти устранил Э. А. Эрштрем, в то время управлявший канцелярией Финляндского Статс Секретариата, чем и обезпечил свою дальнейшую при Плеве карьеру. Не мало, конечно, оснований к легендам давали и нравственный облик Плеве и всем известная слабость его к грязноватым Петербургским салонам (Богдановича, Мещерского и проч.).

Молодость Плеве провел в скучности. Семья была незажиточная и первые годы службы он сильно нуждался. По рассказам Н. Н. Анциферова, дядя которого был Председателем Суда в Рязани, где Плеве начал службу кандидатом на судебные должности, ему дарили ношеные сапоги, а когда случалось он приходил обедать к Анциферовым, то поражал своим аппетитом голодного человека, так что, если его ждали, то готовили обед с большим запасом. В студенческие годы Плеве был, по-видимому, народником, ходил, как утверждали люди его знавшие, в красной рубахе и с сучковатой дубинкой, по моде того времени. Вообще же он прошел много метаморфоз нравственного порядка. По службе он быстро сделал карьеру и вскоре стал Директором Департамента Полиции, где проявил способности, приведя в порядок и наладив сыскную часть, до того времени находившуюся в хаотическом состоянии; создал охраны отделения и более действенную постановку политического

розыска. По должности этой он успел завязать личные отношения среди высшей бюрократии и сумел сохранить положение при весьма различных режимах (гр. Д. А. Толстой, Лорис-Меликов, гр. Игнатьев, П. Н. Дурново) неизменно находя способы войти в милость начальства, даже и предубежденного против него как гр. Д. А. Толстой. К власти он, как и впоследствии П. Н. Дурново, пришел поздно и уже, вероятно, человеком значительно выдохшимся.

Выходя в люди, Плеве усвоил себе торжественную важность, которой отличались былье поколения сановных бюрократов, к моему времени уже сходившие со сцены. Он не шел, а «шествовал», не говорил а «вещал», пересыпая свою речь аттической солью, до которой был большой охотник, и оттеняя ее эффекты продолжительными паузами, он не смеялся, а «изволил смеяться». Дом свой он поставил на пышную ногу и любил делать торжественные приемы.

Скудная молодость, усилия, которые Плеве прилагал, чтобы сделать карьеру, частая смена направлений, а может быть и убеждение в ничтожности человеческой добродетели, которое он мог вынести из своей полицейской практики, положили отпечаток на его нравственный облик. Души он был невысокой и всех с ним соприкасавшихся считал таковыми же, но только менее умными, ибо был убежден в своем превосходстве. Излюбленным приемом его действий было обойти противника, втереть очки в надежде подчинить себе и вести на поводу, но приемы его были неумелы и невыдержаны.

Был ли он умен? По общему отзыву — да.

Многие считали его даже человеком ума выдающегося. П. А. Столыпин, вспоминая свои встречи с Плеве, любил говорить, что тот был «ума палата». Думаю, что впечатление это объяснялось недостаточным знакомством с Плеве, при котором естественно воспринимались по преимуществу лишь внешние риторические эффекты. Справедливость требует, однако, отметить, что мнение П. А. Столыпина разделял и человек хорошо знавший Плеве — Д. Н. Любимов, его Управляющий канцелярией, который преклонялся и перед умом и перед личностью Плеве и имел мужество выступить печатно в защиту его памяти, притом в то время, когда все бралили Плеве; того же мнения был и В. И. Гурко, связанный с Плеве прежней служ-

бой в Государственной Канцелярии и взятый им в Управляющие Земским Отделом.

Лично я вынес из близкого хотя и чисто делового, знакомства с Плеве иное впечатление.¹ Я имел возможность близко его наблюдать за время работы в Министерстве с точки зрения его политики, творческих способностей и отношения к людям. Я был техническим автором всех тех государственных актов, возникших по почину Плеве, которые успели получить законодательное утверждение: «Положения об управлении городом С. Петербургом» и «Положения о Совете и Главном Управлении по делам местного хозяйства» и, наконец «Положения о Главной Врачебной Инспекции» — предтече Министерства Здравоохранения — и вынес впечатление, что ума, соответствующего его государственному положению, у Плеве не было. Даром слова он бесспорно владел, умел облекать свою речь в торжественные, пышные формы, не лишенные иной раз остроумных сочетаний и ярких образов и тем производить впечатление. Но живой, творческой мысли под ними не было. Его мысли расплывались в риторике и дать им практическое воплощение он в большинстве случаев не умел, или не мог. Образ действий Плеве в качестве Министра Внутренних Дел свидетельствовал, что он не представлял себе ясно, чего можно достигнуть властью фразы и чего силой власти, которую он непрерывно угрожал, но которую он не сумел ни привести в действие, ни даже организовать; правительство, в смысле аппарата власти, осталось при тех же старых органах и столь же бессильным при уходе Плеве, каковым было и при его появлении на политическом посту.

Преследуя какую либо цель Плеве в большинстве случаев делал как раз обратное тому, что требовалось сделать для ее

¹ Беспристрастие требует оговорки. Плеве меня сильно недолюбливал и к концу своего пребывания в Министерстве собирался удалить. Причиной было, как передавал мне Н. А. Зиновьев, то, что Плеве стал подозревать меня в революционности, что, конечно, не свидетельствовало о его проницательности в суждениях о людях. Как бы то ни было, но в портфеле Плеве, который он вез с собою в день его убийства, едучи к Государю, оказался всеподданейший доклад, коим испрашивалось Высочайшее соизволение на причисление меня к Министерству с увольнением от занимаемой должности. Трагический случай избавил меня от этого.

достижения; не достигнув же цели, он впадал в раздражение и начинал действовать в состоянии запальчивости и гнева. Примером могут служить отношения его с Д. Н. Шиповым и местными хозяйственными учреждениями. Переговорив с Шиповым раз-другой, вскоре после вступления в управление Министерством, Плеве решил, что обошел того, приручил и будет вести на поводу, а за ним и Московское и прочие земства. Убедившись же в своей ошибке, Плеве тотчас провозгласил Шипова нарушителем слова и решил посрамить всю вообще земскую среду, доказав воочию непригодность ее к осуществлению своих задач в области местного благоустройства. Отсюда возникли ревизии земских учреждений и С. Петербургского городского управления, поставленные так, что единственным результатом их было восстановление против правительства всех, даже самых благонадежных местных общественных сил. Ревизии были поручены Товарищу Министра В. Д. Сенатору Зиновьеву, человеку оченьциальному, но не уравновешенному, раздражительному, не терпевшему противоречий. Имея за спиной долгие годы губернаторской службы в нескольких губерниях, Зиновьев имел большой опыт в уловлении хозяйственных недочетов. Он твердо знал, где следует искать тараканов в богоугодных заведениях, какие уловки допускают экономы для извлечения выгод от поставки дров и пищевых продуктов и где чаще всего встречаются ошибки в статистических изданиях.² и т.п. На эти стороны он и обращал преимущественное внимание и очень умело их выявлял и по ним устанавливал общие заключения. В результате отчеты заполнялись тьмой мелочей, в которых тонули действительно отрицательные стороны ревизуемых учреждений и порядков. Главное же, что попутно Зиновьев сумел всех задеть и всех оскорбить, прибавляя с каждым своим наездом новых врагов правительству в тех губерниях, кои он посещал. Еще большее раздражение возбудил Плеве ревизией Тверского губернского и Новоторжского уездного земств, произведенной Б. В. Штурмером при

² Зиновьеву везло в этом отношении. Например все взятые на выборку колонны цифр в статистических изданиях Московского губернского земства, редактированных проф. Каблуковым и снабженных сложными выводами и коэффициентами, оказались к великому конфузу ученого руководителя подсчитанными не точно, что разумеется уничтожало цену всех сделанных им выводов.

содействии И. Я. Гурлянда, которого Плеве любил именовать «мыслительным аппаратом Бориса Владимировича», каковым тот в действительности и был.³ Ревизию свою Гурлянд, человек очень способный, проделал и описал гораздо более умелым чем Зиновьев, да и материаль для нее был обильный в хищениях, которые свили себе прочное гнездо в Новоторжском земстве, но самая личность ревизоров действовала на всех угнетающим образом. Штюрмер это впрочем и сам сознавал и по уходе Плеве тотчас пустился отбирать повсюду, где они были разданы, экземпляры своих отчетов; у меня он выманил его под предлогом замены некоторых листов с опечатками, неправильно прокорректированных, да так и не вернул.

Вообще же Плеве за два года, проведенные в должности Министра Внутренних Дел сумел — сам того не замечая — восстановить против себя всех и вся, буквально всю Россию: и дворянство, и земство, и даже чиновничество, начиная с самых ближайших сотрудников и объединить все оппозиционные элементы в борьбе против государственности, не приобретя в то же время ни одного союзника и не укрепив ни государственного строя, ни правительской власти даже и в организационном отношении. Самая даже весть о трагической кончине Плеве была принята в Министерстве со вздохом облегчения. 15 июля мне позвонил по телефону Секретарь Главного Управления местного хозяйства С. А. Щелкунов и радостным голосом сообщил это известие. Казалось рассеялся какой-то нависший над всеми кошмар.

Подобное отношение со стороны своих подчиненных Плеве

³ Б. В. Штюрмер был человек очень хитрый и ловкий и всю свою карьеру сделал на этом качестве. Он был мастер налаживать отношения с простоватыми, но имевшими вес людьми, как напр. гр. С. Д. Шереметев, любитель русской старины, ревностным адептом которого стал Штюрмер и тем обеспечил себе многие возможности. Но ума и способностей он был невысоких. Состоя в должности Директора Департамента Общих Дел, он готовился к докладам у Министра В. К. Плеве по шпаргалкам, которые ему заготовляли секретари и старался заучивать их наизусть. Плеве, который не известно по каким своим соображениям взял его в Директора, скоро подметил это и усвоил себе привычку перебивать Штюрмера и затем наслаждаться его растерянностью, когда тот терял нить заученного доклада и не мог вновь попасть в строку.

заслужил, как неприятными особенностями характера, так и той бесцельной в большинстве случаев деловой суматохой, которою он заполнял ведомство и изводил его чинов. Эти качества не покрывались даже той щедростью, с которой Плеве оплачивал их труд. Мы никогда не получали за сверхурочные работы столь больших дополнительных денежных выдач, как то было при Плеве; я лично, за его время, получил за разные законодательного свойства записки и проекты более 20.000 рублей дополнительно к содержанию.

Будучи человеком души невысокой и почитая таковыми же своих сотрудников, Плеве был до крайности недоверчив и подозрителен. Каждый, кому приходилось иметь с ним дело, чувствовал себя в атмосфере недоверия и подозрения, в желании в чем то схитрить, в подвохе и в интриге. А такая атмосфера естественно мертвила все, потому и все его начинания оставались мертвыми. За что бы Плеве не брался — а в инициативе у него недостатка не было — все было заранее обречено на бесплодие. «Бесплодная смоковница», так прозвали его в Министерстве. Он все хотел перестроить, но как и для чего именно, он как будто не отдавал себе ясного отчета. Перекраивал он организацию Министерства, пересматривал законы о крестьянстве, переделывал Земское Положение, доверив в этом деле свои планы Б. В. Штюрмеру и И. Я. Гурлянду, втайне от тех, кто официально при этом деле состоял, брался за переустройство губернских учреждений, переделал Городовое Положение в применении к С. Петербургу и т.п.

В этом последнем деле мне пришлось принять участие и оно являлось ярким примером бесплодных потуг Плеве что-то сделать. Должен сказать, что хотя я и писал этот закон, как впрочем почти все те, которые прошли за время Плеве через Государственный Совет, но затруднился бы сказать — зачем? Особые условия Петербурга бесспорно делали невозможным управление им в рамках того самого Городового Положения, которое было установлено для рядовых городов. Государственный интерес явно преобладал здесь над муниципальным, как по особому значению столицы, так и по источникам ее благосостояния, ибо здесь расходовалась чуть ли не третья государственного бюджета. Вполне естественно поэтому, чтобы в городском управлении правительство имело преобладающий голос, как оно имеет, например в Париже — столице республи-

лики, где городское управление находится почти всецело в руках администрации. Соображения эти давно уже подсказывали мысль о необходимости создать для Петербурга особое Городовое Положение, открывающее правительству путь для воздействия на ход городского хозяйства, тем более, что как показал опыт все существенные улучшения в этом хозяйстве приходилось и в прошлом проводить принудительно, — даже водомеры и те были установлены силою Высочайше утвержденного мнения Гос. Совета в порядке изменения постановления Думы.

C. E. Крыжановский

А. М. РЕМИЗОВ О СЕБЕ

Успех Ремизова во Франции, широкое признание со стороны русских за рубежом, интерес к нему советских ученых, исследователей древне-русской литературы, в последние годы его жизни, радовали и ободряли его. Но это признание шло вразрез с тем образом, который Ремизов создавал о себе в течение всего своего писательского пути: образ не признанного, отталкиваемого, гонимого жизнью и людьми человека.

Такое ощущение себя в жизни шло у него с самого раннего детства. Он рано почувствовал, что был нежеланный, пятый ребенок в семье. Мать его была ему не рада и не скрывала этого. «Я и на свет появился — хочется сказать «по недоразумению», нет, другое слово: рождение мое не по желанию. В одну из горчайших минут своей отчаянной жизни, моя мать мне рассказала: я пятый — и при рождении моем не причинил ей ни малейшей боли и даже не крикнул — каким значит, молчком, нахрапом вошел я в мир! — но когда она все поняла и все представила себе, что будет дальше, из ее сердца вырвалось проклятие, и темная горькая тень покрыла мою душу...» — пишет Ремизов в конце жизни (*«Начало слов»*, неизд. книга *Иверень*).

Алексей Ремизов с детства был необычайно одарен: редкая память, способность к наукам (математика и естествознание), богатая фантазия, страсть к чтению и рисованию, исключительный музыкальный слух и редкий голос, участливое отношение к боли и страданиям людей и животных. Но детство его проходило в довольно мрачной обстановке, при полном безразличии окружающих; мать во всем в жизни разочаровалась и бросила мужа. Она находила утешение в алкоголе и в чтении, на целый день запиралась в своей комнате с книгой: читала и пила. Детям часто приходилось слышать крики становившейся невменяемой женщины. Ее братья, Найденовы, у которых она жила, были культурные, но душевно сухие и даже не бескорыстные люди. Состояние сестры: ее приданое, которое,

после ее ухода, вернул ей муж Михаил Алексеевич Ремизов, и, после его смерти, часть наследства, принадлежавшего детям, попали в руки Найденовых. Все необходимое для жизни Марии Александровны, ее детей и прислуги покупалось «на книжку». В годы студенчества Алексей Михайлович не имел даже минимальных карманных денег. Двадцати лет, попав в тюрьму и ссылку, он не получал от своей семьи никакой помощи.

Братья Найденовы, дядья Алексея, по-видимому, только отталкивали талантливого мальчика, находившего выход своему темпераменту в шалостях и каверзных проделках. И это было единственное, в чем его поддерживала мать. (Разным людям, часто незнакомым, посыпались без марки большие конверты, туда набитые нарезанной газетной бумагой).

Читая письма А. М. к невесте, а потом к жене, я натолкнулась на выражение чувства своей «гонимости», непонятости, и это несмотря на то, что признание представителей литературной элиты пришло к нему рано. В 1902 году находясь в ссылке, Ремизов переписывался с Валерием Брюсовым, который считался с ним как со зрелым писателем. Ремизову тогда было 25 лет.

Когда А. М. женился на любимой девушке, Серафиме Павловне Довгелло, он не встретил сочувствия и поддержки ни своей, ни ее семьи. Семья Серафимы Павловны не скрывала неприязни к начинающему писателю, и С. П. гордо отказалась от причитающейся ей части наследства. После ссылки Ремизовы жили трудно. Заработка — гонорары и переводы, был очень мал, а у них ожидался ребенок. Эта крайняя бедность усиливала горькое чувство отверженности — и Ремизов ввел его в свое литературное творчество, стилизовав, утверждая себя в образе гонимого судьбой и непонятого людьми писателя. Так создал он легенду о себе, которую потом культивировал всю свою жизнь. В произведениях Ремизова, как и в его письмах, постоянно наталкиваешься на выражение этого чувства, к которому прибавилось еще сознание вины перед женой.

В ранних вещах (*Пруд, Часы!*) Ремизов доходит до самого темного дна жизни. Там, в непроглядной черноте, он старается найти выход из отчаяния, спастись от жестокой человеческой судьбы на земле. У него возникает смелая идея, он пишет о ней в 1902 году жене в письме, где излагает свои мысли о *Пруде*: он будет говорить о зле, своим голосом, и, может быть,

что-то повернет в мире. (Аналогичные мысли высказывались французскими сюрреалистами).

Дно жизни в произведениях Ремизова того периода — не «дно» Горького и других писателей реалистической школы. Ремизов стремился дойти до метафизических глубин он хотел услышать «поддонное» человеческого существования, чтобы увидеть выход. Он верит в могущество слова. Заключительная глава книги *Подстриженными глазами* (*Злые слезы*) кончается так: «...во время всенощной, после моления о России и о всех православных и о всякой душе скорбящей и озлобленной, помохи требующей, мое сердце как осветило: и в другом, понятном мне свете, я увидел весь «ад», весь мрак нашей жизни, всю черноту, отравляющую и самую весеннюю мою звонкую радость. Передо мной заблестели не материнские глаза с чудотворного образа, а «злые слезы» надорвавшегося и все-таки непокорного виновного сердца, а еще и это — нестерпимо человеку смотреть — глаза со следами выжженных слез. И один открылся мне путь — мой голос, как кремлевский ясак прозвучит через колокольную черноту не «Господи помилуй», а своей волей и своим словом — за весь мир — «за всех помохи требующих». Послушайте, вот откуда — за что меня будут гнать, по тюрьмам, и неприкаянным проживу жизнь среди людей».

Материально Ремизову всегда жилось трудно. В 1971 году Б. К. Зайцев, в беседе со мной, вспомнил о своем первом знакомстве с Ремизовым в 1905 году, когда приехал в Петербург к Чулкову, — Чулков жил при редакции журнала *Вопросы Жизни*, а Ремизов работал в редакции и жил в той же квартире с женой и маленькой дочерью. Зайцев говорил об их бедности. По словам Бориса Константиновича, Ремизов был тогда уже известен и занял почетное место, «как изысканный стилист», но, конечно, в ограниченном кругу, — прибавил Зайцев. В те годы Ремизов печатался во всех журналах художественного авангарда. Блок, Белый, Сологуб, Розанов, Вяч. Иванов были его друзьями и часто восторженно принимали его произведения. В переписке Блока имя Ремизова упоминается часто и с неизменной симпатией, Андрей Белый писал ему письма, полные чувства восторженной дружбы.

Война и революция принесли неизмеримые беды. Многие писатели эмигрировали, — на чужбине возможность печатать и

издавать свои произведения резко уменьшилась. В особенности для Ремизова, читаемого главным образом элитой, положение оказалось исключительно тяжелым. А. М. это остро чувствовал, много говорил и писал об этом, подчеркивая и тут свою «гонимость». От этого накапливалась горечь. Но если редакции журналов и газет, считаясь со средним читателем, не всегда принимали произведения Ремизова, лучшие умы зарубежья, — например, Шестов, Бердяев, Святополк-Мирский, Цветаева, как и поэты и писатели младшего поколения, высоко ценили творчество Ремизова. В личном плане, Ремизовы и их обстановка привлекали людей: вокруг них всегда были друзья, желающие помочь и что-то сделать для них. И эта помощь давала им возможность существовать в общем не слишком плохо. Конечно, было очень нелегко: каждый раз, когда подходил срок «терма» (трехмесячная квартирная плата) требовалось настояще чудо, чтобы найти деньги. Бедность, а главное, неуверенность в завтрашнем дне, всю жизнь точили и преследовали Ремизовых. Но они были не единственные. Можно сказать, бедность была общим достоянием эмиграции.

Огромному большинству русских заграницей было трудно, из молодых только немногим удалось получить образование и специальность. Остальные пробивались, кто чем мог: работой на заводе, за рулем такси, в швейных мастерских, в типографиях, кустарными ремеслами. В 1920-30-х годах условия работы были несравненно тяжелее, чем теперь, рабочий день тоже был длиннее, а заработка плата ниже. После войны положение русских во Франции начало постепенно меняться к лучшему: русский язык стал специальностью и, в последующие годы, для большинства эмигрантской интеллигенции положение стало сносным. Не то было прежде. А. М., глубоко жалея отдельных людей (многие из его знакомых бедствовали), упускал из вида общую картину жизни эмиграции и выделял себя, рисуя черную картину своей жизни.

Сейчас, когда мало осталось свидетелей жизни Ремизовых в те уже далекие годы, меня посещают литературоведы — и нередко мне приходится опровергать установленвшееся, на основании писаний Ремизова, мнение о том, что жизнь Ремизовых в Париже проходила исключительно под знаком нужды. Это не совсем верно: было у них много и радостного. Начиная с того, что А. М. шел по избранному им пути и в творчестве

своем оставался верен себе. Вся его жизнь была проникнута искусством и артистическим творчеством.

А. М. очаровывал людей, попадавших у него в обстановку искусства, веселых шуток, необычного оживления. Заботы повседневности быстро забывались. В то же время, в отношении себя самого, А. М. был сдержан, даже аскетичен. Так, он любил, когда о нем писали, понимали и хвалили его искусство, но сам никогда собой не любовался и не позволял себе, кроме как для работы, перечитывать свое. Запомнился один случай. В 1954 году больной А. М. захотел внести поправку в главу *Подстриженными глазами* — о церкви Василия Блаженного. Это одна из самых сильных глав книги: о пожаре типографии Ивана Федорова. А. М. лежал в постели и говорил, что я должна делать. Окончив поправку, я пробежала глазами страницу и сказала: «Можно прочесть вам дальше?» Сначала А. М. ответил — «нет», но потом, движимый любопытством, согласился. Я прочла про кружашую метель, про опаленные руки; холодная вода ожгла их как огнем. Взглянула на А. М. и увидела в его глазах торжество и гордость. Красота этой прозы, услышанная врасплох, как бы со стороны, вызвала восхищение его самого, такого требовательного автора.

И Серафима Павловна занималась своим любимым предметом — палеографией и преподавала в Школе восточных языков. Квартира, в которой они жили, была хорошая, светлая, теплая зимой. У А. М. всегда были книги, которые ему хотелось иметь. Летом Л. И. Шестов доставал средства для поездки С. П. на курорт, в Виши, для необходимого ей лечения. Иногда, каким-то чудом, удавалось летом уехать на месяц в Бретань, к знакомой французской семье.

В 1960 году вышла книга Н. В. Кодрянской, посвященная Ремизову. А. М. сам подготовлял и давал материалы для нее. В ней дан именно тот образ, который А. М. хотел оставить о себе в памяти своих современников и последующих поколений: непонятый, гонимый людьми и жизнью... много горечи. В детстве нелюбимый, в юности, едва начав занятия в университете — арест и тюрьма; при аресте был принят товарищами за провокатора. После тюрьмы ссылка. Ссыльные сторонятся, кто-то его в чем-то обвиняет. Любопытно, что об этом же периоде (Пенза, 1890-е годы) сохранились воспоминания В. Мейерхольда, который говоря о своей работе с А. М. в подпольных

и одновременно в театральных кружках, не скучится на восторженные выражения, отзываясь о Ремизове как о человеке и художнике

В книге Н. В. Кодрянской упомянуто и дело «о плалиате». Оно возникло в 1908 году в Петербурге, где, после ссылки, жили Ремизовы с 1905 года. А. М., пользуясь сказками Афанасьева как материалом, написал две сказки: «*Небо пало*» и «*Берестяной клуб*». А. М. почти не расцвечивал эти сказки и мало изменил текст Афанасьева (Марина Цветаева тоже пользовалась сказками Афанасьева, как источником для поэмы *Молодец*). Газета «Биржевые ведомости» (Биржевка) обвинила Ремизова в плалиате. А. М. пишет подробно об этом деле в неизданной книге *Петербургский Буерак*. Друзья из писателей волновались, А. М. вспоминает о некоторых заступничествах, даже, например, со стороны Московской биржи. В 1968 году литературовед, изучавший Хлебникова, показал мне, в изданной переписке Хлебникова, его письмо А. М. Ремизову. Хлебников, возмущенный низостью нападок на Ремизова, предлагал ему... драться за него на дуэли. От А. М. я никогда не слышала об этом. Ради утверждения созданного им самим «образа», А. М. мог умалчивать о самоотверженных поступках по отношению к нему. Его легко можно было бы обвинить в неблагодарности: и во время революции, в России, и во время войны, в 40-х годах во Франции, бывало, люди отдавали Ремизовым последнее.

Когда Н. В. Кодрянская писала свою книгу о нем, подчеркивание нужды, неустроенности и заброшенности у старого писателя было уже болезненной манией. Мне больно читать некоторые письма в книге: приведенные в них факты безусловно неверны и обидны для друзей А. М. Приведу два случая. Есть письмо, написанное в 1953 году на Страстной неделе, в котором А. М. говорит, что все его друзья, «занятые приготовлением куличей и пасок», совсем забыли о нем и оставили совсем одного. Мне эти дни особенно памятны: это было после болезни А. М. и неделю я почти целиком провела у него. Мы вспоминали С. П., как она любила церковные службы этих дней. Я спросила: «Что бы сказала С. П., одобрила бы она меня, или осудила, за то, что я все время у вас, а не в церкви?» А. М. взглянул на меня и твердо произнес: «Конечно, одобрила бы!» Очевидно, этот короткий разговор дал А. М. тему: на сле-

дующий день снова было написано письмо Н. В. Кодрянской о том, что он оставлен всеми: «Сижу один».

Другой случай сознательного искажения истины относится к французской радио-передаче произведения Ремизова *Панна Мария* (*Шумы города*) в Нанте, в 1952 г. К общему огорчению, А. М. и его друзей, нам сообщили, что *Панна Мария* будет передаваться только на волнах частотной модуляции, которые обычным аппаратом принять нельзя. Это было сказано в объявлении специального журнала. Все же многие друзья А. М. в какой-то четверг тщетно крутили кнопки, но безнадежно: шла драма Чехова *Иванов*. А. М. это отлично знал, но почему-то написал Кодрянской: «*Панна Мария* прозвучала в Париже, но никто из русских не полюбопытствовал покрутить кнопку, чтобы ее услышать».

Многие письма А. М., приведенные в книге Н. Кодрянской, явно написаны с этой целью: создать самую мрачную картину окружавшей его обстановки. Например, А. М. утверждал, что ему, некому прочесть свои произведения, — но это не соответствует истине. В то время в Париже жили многочисленные друзья А. М., писатели или близкие к искусству люди. Назову: С. Ю. Прегель, В. Л. и О. В. Андреевы, Виктор Емельянов, Иосиф Чапский, Резниковы, В. Мамченко, В. Б. Сосинский, П. Сувчинский, Сергей Маковский, приезжали писатели из Нью-Йорка и из других мест. Живо помню как мы, дружно окружив А. М., затаив дыхание слушали его чтение.

Наверно, я лучше чем кто-либо другой знаю, как трудно было жить А. М. перед концом. Он был болен, задыхался, его душил кашель. Зрение угасало; из-за слабости было трудно передвигаться. Я старалась как можно чаще приходить к нему, проводить с ним долгие вечера, делить часы одиночества, когда только голос кукушки нарушал тишину. Бывало, в передней раздавались выкрики пьяной женщины, — А. М. говорил, что это напоминает ему начало его жизни и крики другой женщины, его матери — очевидно, такова его судьба. Он часто сидел один в слaboосвещенной комнате, курил папиросу за папиросой, пепел сыпался кругом и на него. Читать он уже не мог и, конечно, несмотря на добрую волю и готовность друзей, приходивших регулярно или просто заходивших почитать ему, чтецов не хватало (Борис Константинович Зайцев приходил каждую среду). Все же надо сказать, что в жизни Ремизова,

до самой смерти, было и другое. Его окружали сохранившие привязанность к нему и согревавшие А. М. своей дружбой и любовью друзья, и он это знал, хотя часто писал противоположное и, казалось, друзей не замечал. По выходе очередной книжки «Оплешника», А. М. рассыпал ее всем знакомым, даже тем, кто легко мог приобрести книгу сам. В ответ на замечание кого-то из друзей, А. М. твердо и горячо возразил: «Поймите, для меня это единственная возможность отблагодарить людей, за все, что они для меня сделали и делают!»

Натура А. М. была не только богатая, но и очень сложная. У него часто возникали «двойные мысли», как он говорил о Розанове: он мог иметь совершенно противоположные мнения об одном и том же предмете. И двойные чувства, может быть. Чем иначе была вызвана сознательная неточность в передаче некоторых фактов? Надеждой, что люди помогут ему? Но с тех пор, как умерла С. П., ему лично мало что было нужно. Немного еды, тепло в квартире. Правда, у него была ненасытная страсть к изданию своих книг. После смерти А. М. почти не осталось страницы, не напечатанной в каком-либо журнале или газете, но это не шло в счет. Из вырезок составлялись книги; таких ненапечатанных книг осталось несколько: Иверень, Петербургский буерак — моя литературная карьера, Учитель музыки, Павшим первом — Полевые цветы, Россия в письменах, и А. М. это беспокоило.

Может быть, жалуясь на бедность и описывая трагически-ми тонами свое существование, он подсознательно надеялся на чудо. «Вот откроется дверь и войдет кто-то сильный, имеющий средства и желание, кто поможет не только заплатить за квартиру, за газ и электричество, — еще и издаст книги». Но чудо в жизни А. М. было, постоянно, понемногу и с разных сторон, но не так, как ему хотелось. Жизнь А. М. была особенной, необыкновенной, — он сам о себе написал:

«Я прожил богатую полную жизнь, окруженный пламенной любовью — чего еще надо человеку? Я прожил полную завидную жизнь — ведь одно то, что я пишу и читаю и рисую только для своего удовольствия, и ничего из-под палки, и ничего обязательного! Но и трудную: вся моя жизнь как крутая лестница. Людям, привыкшим все «вовремя» и «по-человечески» лучше не заглядывать в эти пропастные колодцы:

для ихних глаз ад. И во всю мою писательскую жизнь с той же игрой судьбы, как и в моей житейской жизни у меня одна была цель и единственное намерение: исполнить словесные вещи, как музыкант исполняет музыку на своем инструменте. И неизменно мое смутное чувство через всю жизнь точит меня, что я не на своем месте. И не поступить ли мне в огородники — и чтобы по весне первой зеленью насытить ненасытное, и надышаться до одури теплым паром раскнутанных парников. Или это тень проклятия? Мне все давалось и вдруг все теряю: отняли.

А слово люблю, первозвук слова и сочетание звуков. Люблю московский напевный говор, люблю русские природные ощущения слов (эллипс), когда фраза глядится, как медовые соты; люблю путаницу времен — движущуюся строчку, с неожиданным скачком и — сел; чту и поклоняюсь разумному слову — редчайшее среди груды тусклых дурковатых слов безлепицы, но приму с радостью безумную выпуль и вздор, сказанные на свой глаз и голос.

Все ваши дары в моих глазах — солнце, месяц, звезды, радуга. И под вашим сиянием волной выются слова — эти звонкие и крепкие, эти «бессмысленные» закорючки — хвосты на голове и голова на хвосте обгоняют свою тень, и все, что прет и выбивает из мысленной крути, из словесного водоворота и смерча звуков — звуковая сценка — гуд и балагурье.

Хочу писать, как говорю, а говорить как говорится. «Познай самого себя!» На этом стоит вся исповедь: Житие протопопа Аввакума, Страды Кондратия Селиванова (Хлыст XVIII века), Показания вора и разбойника и московского сыщика Ивана Осипова — Ваньки Каина. Вот и я, с моим русским ладом и закорючкой нашел таки себе определение — место в литературе.

Никогда не успокоенный, с заботой на спине, и сердце бьется птицей, в вихре музыки, прохожу по улице. Какими глазами я смотрю на встречных — плывут колыхаются лица, эти скулы, уши, глаза, носы, губы, и все вместе и все непросто, а напоено и в своем осиянии, и дети — гномы и эльфы снуют и выются с топориками и молоточками.

И с моим пропадом мое слово, музыка, весенний воздух,

весенняя песня — куда вы уйдете? И никого-то на земле, кто меня слышал: Брюсов, Андрей Белый, Блок, Волошин, З. Гиппиус, Гумилев, Есенин, Кузмин, Сологуб, Вяч. Иванов, Замятин — одни немые кресты на могиле да бескрестные». (*Лит. Совр.* 1954 г., из книги *Начало слов, Иверень*).

Оглядываясь на пройденный путь и на себя, А. М. написал эти строчки в конце своей жизни.

H. Резникова

МОСКОВСКИЕ ПРОТОДИАКОНЫ

Закончив краткие заметки об о. Михаиле Холмогорове,* я почувствовал, что на меня, как обычно пишется в таких случаях, вдруг нахлынула волна воспоминаний, — а тут, как бы для того, чтобы еще усилить эту волну, попался некролог протоиерея Н. Воробьева: «Архиdiакон Владимир Прокимнов — Владимиров». Оказывается, 12 июня 1973 года умер очень известный и лично мне знакомый Владимир Николаевич Прокимнов, «сей осталной из стаи славной» московских протодьяконов 20-х годов нашего столетия.

Протоиерей Н. Воробьев почти так и пишет об о. Владимире: — «Он много лет служил и пел в московских храмах, и его с большим основанием стали относить к плеяде старых московских протодьяконов. Церковный композитор протоиерей Григорий Извеков в 20-х годах гармонизировал для четырех басов догматик 5-го гласа ‘В Черннем мори...’, имея в виду известных протодьяконов того времени: В. Д. Прокимнова — первый голос, М. К. Холмогорова — второй, Н. М. Остроумова — третий и М. Д. Михайлова — четвертый голос». (См. Протоиерей Николай Воробьев, «Архиdiакон Владимир Прокимнов-Владимиров», *Журн. Моск. Патриархии*, 1973, стр. 36-37).

Признаюсь, что меня более всего поразило сообщение о специальной композиции для четырех басов. До чего же это в стиле русского православного богослужения! Приходилось слышать от старых москвичей, что в главном московском соборе, Успенском, в котором происходили все коронации, не только протодьяконы, но и священники подбирались из лиц, обладавших хорошими басами. Я никогда не слышал о знаменитом протодьяконе-теноре. У Лескова, понимавшего толк в протодьяконах, знаменитый дьякон Ахилла (в «Соборянах») обладал, конечно, потрясающим басом.

Посещающих теперь православные богослужения в Рос-

* См. Новый Журнал кн. 117.

ции туристов умиляет всенародное пение некоторых молитв прихожанами, среди которых решительно преобладают женщины. В 1920 годах были приходы, скажем, Св. Василия Кесарийского на Тверской-Ямской, в которых толпа молящихся на 80% состояла из мужчин. Протодьяконом там был о. Максим Михайлов, обладатель самого низкого баса из всех протодьяконов, а пела толпа тоже тысячеголосым басом. К сожалению, догматика 5-го гласа для четырех басов я не слышал, но выбор протодьяконов оценить в состоянии — всех четырех знал прекрасно, а с двумя был знаком лично.

Все четыре составляли цвет московских протодьяконов своего времени. Каждый был своеобразен. Не прав протоиерей Воробьев только в том, что без оговорок причисляет о. Владимира Прокимнова к «плеяде старых московских протодиаконов». Что понимать под выражением «старых»? Уже Холмогоров, начав петь ектенью Чеснокова, стал новатором. Троє остальных следовали по его пути и, помимо ночных — Великой, Сугубой, Просительной и Заупокойной ектенеи, пели традиционно произносимое речитативом «Спаси Боже люди Твоя» после Евангелия за всенощной. Конечно, кроме этих, чисто протодьяконских молитв, они постоянно выступали и как солисты хора. Таким образом, все четверо были когда-то в числе новаторов.

Их легко можно разделить на две пары: Холмогорова и Михайлова, помимо пения ектенеи, протодьяконов вполне традиционных, и Прокимнова и Остроумова, любивших некий модернизм, в особенности во внешности. Оба, когда я их узнал, были бритыми, без привычных бород и длинных волос. Правда, Остроумов отпустил бороду уже в конце двадцатых годов. Прокимнова же я увидел с бородой только на фотографиях в «Журнале Московской Патриархии». Что касается манеры служить, то Холмогоров был строго традиционен и вообще избегал всяких внешних эффектов. Сила его, как я уже писал, была в необыкновенной проникновенности. Михайлов служил предельно скромно и просто, отличаясь от рядовых протодьяконов только феноменальным голосом. Совсем иными были Прокимнов и Остроумов.

О. Владимир Прокимнов служил в небольшой старинной Николо-Стрелецкой церкви на Знаменке, против дома Пашкова — старого здания Румянцевской (ныне Ленинской) биб-

лиотеки. Был он коренастый, круглолицый, среднего роста, необыкновенно живой, увлекавшийся всеми деталями богослужения, и к тому же очень музыкальный. Служил Прокимнов, конечно, как протодьякон, но не мог утерпеть и появлялся на левом клиросе, помочь что-нибудь прочесть псаломщику, затем оказывался в хоре и если не пел соло, то подпевал басам. Голос в начале у него не похож был на холмогоровский, но почти равной красоты, высокий бас, очень бархатный, глубокий и подвижной. Жалел о. Владимир свой голос мало, и не только во время богослужения. Помню, он как-то пел у нас в доме. Пел еще один молодой профессор консерватории, обладавший неплохим тенором. Профессор был сдержан, берег голос, заставляя себя упрашивать. Когда попросили спеть о. Владимира, тот не долго думал и сразу отправился к роялю: — «Мы споем, за нами дело не станет!»

Пел Прокимнов только светские вещи. Как-то само собою получилось, что про профессора забыли, а Прокимнов пел и пел. Успевал выпить вина, ел орехи и пел и пел. Странно подумать, что было это около полустолетия назад, а я и сейчас помню, как Прокимнов вдруг подбоченился, тряхнул черными вьющимися волосами, повел густыми бровями и запел «В селе малом Ванька жил». Толстовка стала походить на русскую рубаху, а о. Владимир превратился в живого Ваньку. Быть бы ему оперным артистом, а не протодьяконом! А вот в артисты попал менее всего для сцены подходящий Михайлов, да еще в «народные», а Прокимнову было суждено дожить до 1973 года в протодьяконах. Орехи, вино, небережение голоса привели к тому, что в течение двух-трех лет грудной мягкий бас превратился в суховатый, хотя все еще красивый низкий баритон. Недаром Извеков дал Прокимнову первый голос в квартете для четырех басов.

Вскоре о. Владимир перешел в одну из известных больших московских церквей — Большое Вознесение, что у Никитских ворот; в этой церкви венчался Пушкин, отпевали в ней Марию Николаевну Ермолову, прихожанами была интеллигенция. Тут о. Владимир, как и можно было ожидать, проявил кипучую деятельность. Интеллигенция, конечно, легко прощала ему светские манеры и бритые щеки. Хор Семенова был не лучшим в Москве, но из хороших. Регент любил фортепиано, пели у него хористы Большого театра, и темперамент напоминал

прокимновский. Как-то, на Двенадцати евангелиях, они спели «Разбойника» не три, а шесть раз — почти совсем как лесковский дьякон Ахилла, когда начал повторять, потеряв счет «и страстью уязвлен». К сожалению, о. Владимир был-таки уязвлен страстью, что бывало ясно видно, когда он ходил по храму с тарелкой, предназначенней для особых сборов, раздвигая толпу дам-поклонниц своего голоса. Зато никто другой, как именно Прокимнов, сумел организовать прекрасный мужской хор, которым сам и руководил на еженедельных всенощных с акафистами в том же храме Большого Вознесения.

Помню и другое его хорошее дело. В те же двадцатые годы протоиерей, профессор Страхов, читал цикл публичных лекций по истории церковного пения. Иллюстрировал лекции, конечно, мужской хор Прокимнова.

В начале тридцатых годов, когда шел беспощадный разгром Русской Православной Церкви, когда Михайлов стал артистом Большого театра, а Холмогоров был удален из Москвы, многие спаслись в знаменитом хоре Свешникова. В советском «Музикальном словаре» издания 1966 года об этом хоре написано в связи с биографией А. В. Свешникова: «1928-1936 организатор и рук. вок. ансамбля (хора) Всесоюзного Радио». Насколько знаю, Прокимнов пел в этом хоре и, по-видимому, выступал как солист под псевдонимом Владимира. Почему же он все-таки не попал если не в Большой, то в какой-либо другой оперный театр? Думается, потому, что во-время не поберег своего голоса. А при его темпераменте быть бы ему артистом, а не дьяконом.

Остроумов, среди извековских басов, исполнителей квартета, занимает третье место — между Холмогоровым и Михайловым. Это по высоте голоса. По моще звука он уступал только Михайлову. По красоте и певучести голоса, вероятно, уступал всем остальным. Большого роста, на полголовы выше толпы, прямой и широкоплечий, он напоминал не русского протодьякона, а какого-то важного оперного жреца. Все жесты у него были рассчитаны. Двигался и кадил он как на сцене, читал превосходно, так, что слышно было каждое слово. Недаром на юбилее Чеснокова именно Остроумову было поручено чтение адреса юбиляру. Говорят, что иногда во время свадеб Остроумов устрашал невест при чтении апостола. Со словами: «и жена да боится своего мужа», вдруг поворачивался к бра-

чующимся и указывал могучей дланью на жениха и трепещущую невесту. Куда пропал Остроумов во время погрома тридцатых годов, не знаю. Больше я о нем никогда не слышал. Протодьяконом он был у Богоявления в Елохове, храме, ставшем теперь собором для Московского патриарха. Думается иногда, впрочем без всяких к тому оснований, не был ли Остроумов до своего протодьяконства офицером российской императорской армии? Уж очень его выправка подходила бы для командования парадом.

Вспоминая православную Москву двадцатых годов, я, конечно, вспоминал не одних протодьяконов, но и хоры, и знаменитых проповедников, и архиереев, и всех новых мучеников российских, значительная часть которых была связана с Москвой. Обо всем этом скажу потом, а пока опишу юбилей знаменитого композитора и регента Павла Григорьевича Чеснокова. Было это в 1925 году, вскоре после смерти патриарха Тихона. Похороны патриарха я уже описывал в своей книге «Невидимая Россия». Они буквально потрясли тогдашнюю православную Москву. Достаточно напомнить, что, по общему мнению, на них присутствовало больше народа, чем на похоронах Ленина, а ведь на похороны Ленина сгоняли, заставляли идти и тех, кто сам бы не пошел.

Юбилей Чеснокова, конечно, не мог вызвать сколько-нибудь похожего подъема, но и он был отпразднован по-своему грандиозно, стал как бы парадом московских хоров и протодьяконов. Согласно уже цитированному советскому «Энциклопедическому музыкальному словарю» издания 1966 года, в 1925 году исполнилось тридцатилетие со дня начала преподавания Чеснокова в Синодальном училище и пятилетие профессорства в Московской консерватории. Возможно, что была еще какая-нибудь памятная дата — не знаю, но помню хорошо, что празднование происходило в 1925 году. Чесноков в то время управлял хором в храме Св. Василия Кессарийского на Тверской-Ямской. Храм этот был сравнительно новый, большой, широкий, но приземистый, всегда полный молящимися, главным образом мужчинами, причиной чему был не только хор Чеснокова, но и протодьякон Михайлов.

Обедня в день юбилея началась в десять. Я пришел в девять и с трудом пробрался только к середине храма. Дальше стояла сплошная людская стена. Главное торжество должно

было произойти во время молебна, но и обедня шла торжественно. Служило несколько архиереев, пел сборный хор московских церквей в 150 человек. В маленьком, от руки написанном объявлении так и было сказано: будет служить сонм московского духовенства при московских протодьяконах, петь сборный хор московских церквей. К началу обедни стало так тесно, что трудно было поднять руку, чтобы перекреститься. Встречи архиереев я не видел за толпой, только слышал рокотание голоса Михайлова, тихо читавшего молитвы, положенные при облачении архиереев. Вспомнились строки Лескова, как елецкие купцы, пробуя протодьяконов, говорили, что у них в Ельце любят, чтобы издали ворчание доносилось. При низах Михайлова получалось не ворчание, а рокот далекого органа на глубочайших низах. Проплыли от входа к царским вратам многокрасочные блистающие митры. Хор пел много-голосно и слитно. Но где же сонм протодьяконов? — думал я. Служили только местные: Михайлов и Облаев — громадный, как лунь седой старик с сильным, но старчески вибрирующим голосом. И вот, уже наверное после часу дня, толпу с трудом начали прорезать могучие мужи — московские протодьяконы. Отслужив в своих приходах, они спешили к молебну. Прошел — претиснулся — красавец Олерский, проплыла вдали голова Пирогова, брата двух знаменитых оперных артистов, прошел совсем близко от меня Туриков, бывший машинист паровоза, с басом, чуть напоминавшим паровозный гудок.

Причастный стих солировал Холмогоров, затем наступила короткая пауза и из царских врат медленно поплыли к кафедре на середину храма архиереи,protoиерей и протодьяконы. Такого Москва еще и не видела. Пара за парой, сияя облачениями и широкими шитыми орарями, вышло одиннадцать пар, двадцать два лучших московских протодьякона. Вышли и стали двумя шеренгами друг против друга от кафедры до амвона. Снова многоголосо запел хор. Вздрогнул тяжелый храм, когда ответило ему духовенство. Действительно такого еще не слышал никто: двадцать два лучших московских протодьякона! Все мы забыли про усталость, про то, что стояли уже больше пяти часов. «Смотри-ка, всех собрали!», — шептал на ухо соседу рыжеватый любитель басов. «И соборяне бывшие из Успенского тут, и Ризположенский, и Кругликов...» Вдруг все затихло. На амвоне появился Остроумов, монументальный,

как бронзовая статуя. Слова адреса юбиляру прибоем прокатились над толпой так, что все вздрогнули... «Сладкопевцу, рабу Божию Павлу от православной Москвы...» Конечно, через пятьдесят лет я не помню точных слов приветствия, но помню, что голос чтеца без напряжения, играя, наполнял храм, гремел под сводами, ударялся о стены и волной откатывался от них. Нет, есть еще вековая мощь в русском православии, нет, еще не сломлено оно и внешне!

«От благодарного населения Москвы... лето 1925 года», — прогремел Остроумов и замолк, и снова наступила тишина. Не помню, кто из архиереев вышел на амвон с крестом, но вслед за этим показалось, что стены собора расступились и на молящихся вдруг хлынул океан звука, наростая с самой невообразимо низкой октавы, сильнее, шире, шире, все усиливаясь так, что и места уже не хватало под сводами, а храм трепетал вместе с ликующим победным многолетием: двадцать два протодьякона возглашали многолетие хором. Умолкли. Подхватили 150 человек хора и вот снова они, а хора уже нет. Замолк? Нет, его не стало слышно.

Многолетие для двадцати двух протодьяконов написал специально в честь Чеснокова Кастальский.

«Ну, а как было впереди?», — спрашивал я потом одного друга, оказавшегося прямо около духовенства.

«Как было? Да думал, что на воздух поднимает, вот как было!»

Нет, такого, конечно, и Лесков не слышал. И был этот юбилей одним из последних таких торжеств перед началом самых страшных в истории христианства гонений — перед «штурмом неба», как провозгласили комсомольцы. И штурм этот, во всяком случае временно, развеял внешнюю мощь русского православия, разогнал хоры, разогнал протодьяконов, но главный удар пал не на них, а на проповедников, на епископат, на монашествующих, на простых верующих мирян, на новых мучеников российских. О них нужно писать отдельно.

Василий Алексеев

В БЕРЛИНСКОМ ТОРГПРЕДСТВЕ

ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА*

1929 ГОД

1 мая

Бухгалтер С. служил 2 года в Лондоне в Аркосе, потом год в Берлине, потом был откомандирован в Москву, где работал около года. А потом... его арестовали по обвинению в экономическом шпионаже в... 1921 году. Отправили на Соловки. Жена стала хлопотать в ГПУ. Там ей сказали, что произошло недоразумение и что ее мужа отправят на 3 года в Астрахань. На вопрос жены, почему его отправляют в Астрахань, последовал классический ответ: Астрахань тоже не плохой город. Другого спеца из торгпредства по возвращении в Москву отправили на 3 года в Соловки за то, что он накопил за время службы в течение 3-х лет 20.000 марок.

Во время моего недавнего пребывания в Москве пришлось впервые предстать перед светлые очи наркома Микояна. Это было на рауте в немецком посольстве. Микоян, молодой человек, высокий, тонкий, с переломленным носом, с типичным армянским лицом. Он пожелал ознакомиться с делом об иске, предъявленном русскими эмигрантами по поводу аукциона художественных ценностей когда-то национализированных у этих эмигрантов. Микоян допрашивал меня, почему немцы отказываются урегулировать вопрос о подобных исках в торговом договоре. Я ему объяснил, что по словам немцев они не могут оказывать давление на независимый суд. На это Микоян заявил мне буквально следующее: «Если немцы хотят иметь независимый суд, то пускай не заключают договора. С такими нам не нужно договоров...»

Тот же Микоян выказал себя очень ярко в следующем

* См. кн. 116 «Н. Ж.»

инциденте с Ленгиэлем. Мы вели в Москве очень напряженные переговоры с немцами. Вот как-то Ленгиэль, обедая у своего приятеля-коммуниста, между прочим рассказывал о переговорах. За обедом присутствовал один крупный беспартийный спец, близко стоящий к Ленгиэлю. На вопрос этого спеца, как идут переговоры, Ленгиэль шутя ответил: «Если политбюро захочет, то все будет хорошо». На второй же вопрос спец — как ведет себя в переговорах советский председатель Стомоняков, Ленгиэль заметил, что Стомоняков, мол, очень загибает и политбюро приходится его одергивать. Разговор был очень короткий и носил шутливый характер. Через 2 дня Ленгиэль получает выписку из донесения ГПУ в политбюро (ГПУ ежедневно рассыпает сводки всем членам политбюро). В этом донесении, пересланном Ленгиэлю Микояном, был изложен подробно его разговор за обедом со спецом, «сильно приукрашенный», как выразился Ленгиэль. В тот же день, в течение целого часа Микоян, в присутствии Бегге,* мылил голову Ленгиэлю. Ленгиэль оправдывался, говоря, что он, собственно, ничего не рассказывал спецу о переговорах. Микоян же твердил все время: «С беспартийными вообще ни о чем нельзя разговаривать. Кроме того, что их касается по службе, партиец может говорить с беспартийным только о погоде, и больше ничего...» Впоследствии выяснилось, что спец о своем разговоре с Ленгиэлем рассказал своему сослуживцу, беспартийному интеллигенту, с которым спец давно и близко был знаком. А этот интеллигент оказался агентом ГПУ и немедленно донес, сильно размазав всю историю.

Руководители английской делегации, совершившие недавно поездку в СССР, в Москву, возымели желание перед отъездом переговорить в Париже с советским послом Довгалевским. Последний запросил Москву. Оттуда протелеграфировали: «англичан принять накормить хорошим обедом условиться о технике поездки (сколько народу поедет, в каких гостиницах остановятся и т.д.), но никаких политических разговоров не вести». Довгалевский принял англичан, обсудил с ними всю «технику», пригласил на обед. Но сам обедать не пошел, скавшись больным. В действительности, он не видел возмож-

* Торгпред в Берлине.

сти в течение нескольких часов разговаривать с англичанами, не касаясь политики. Пошел обедать Беседовский, сказав, что ему — наплевать, он может сделать все, как надо. Прообедал Беседовский несколько часов с англичанами и разговаривал с ними об всем, в том числе и о «запретном». Отрапортовали в Москву. Оттуда было получено два строгих выговора: Довгалевскому — за то, что не пошел обедать, а Беседовскому за то, что «разговаривал».

В том же Париже разыгрался недавно следующий комический инцидент. Одного из чинов полпредства позвал на обед знакомый по деловым отношениям француз. На обеде присутствовал испанец, находящийся в оппозиции к Примо де Ривера. Испанец интересовался Россией. Полпредчик рассказывал. Испанец все больше и больше воодушевлялся рассказами о счастливой России, пошли тосты и спичи. Наконец, испанец выпил за освобождение Испании от диктатуры. Полпредчик, вернувшись к себе, рассказал об этом своему коллеге. Тот незамедлил донести инцидент в ГПУ. Пошел донос в Москву. Полпредчику пришлось объясняться с Довгалевским. Посол доказывал своему сотруднику, что неудобно, чтобы член посольства участвовал в оппозиционном выступлении против Ривера. Полпредчик спросил, с каких это пор запрещено разговаривать непочтительно о диктатуре страны, которая даже не признает советской России. Довгалевский не мог на это ничего ответить, но, тем не менее, настойчиво повторил, что впредь считает такие разговоры недопустимыми.

11 мая

Картина московских нравов. Как-то в Кремле, у одного наркома (по всем признакам — Рыкова) происходила пьянка. Был тут один видный партиец и два крупных спеца. Один из спецов, войдя в раж, поднял тост «за дорогого, высокоуважаемого Иосифа Виссарионовича». Тогда оба партийца бросили на пол свои стакана и с матерными ругательствами набросились на усердного не в меру спеца: «мало нам, что приходится официально лицемерить и лгать, восхваляя Сталина, так вы еще будете заставлять нас делать это дома, за стаканом вина».

Атмосфера в торгпредстве за последние полгода удручающая. Все крупные специалисты констатируют полный упадок

энергии и подъема в работе. Общее мнение: большевики собственными руками превращают нас в чиновников и саботажников, руки опускаются, нет уверенности в завтрашнем дне, нет охоты брать на себя ответственность, нет руководства. Импортного директората фактически не существует. Единственные два директора — Коссаковский и Финкель — плохо разбираются в делах, не хотят и не умеют творчески работать и руководить. Зато все больше захватывает власть Евгеньев со своим административным управлением, оргбюро и инспекция. Они вмешиваются решительно во все. Такие же порядки воцарились и в других советских организациях в Берлине.

Крестинский вернулся из очередной поездки в Москву. Рассказывал о своих впечатлениях: «Очередей нет. Продукты, которые отпускаются по заборным книжкам, имеются в достаточном количестве: хлеб, масло, яйца. Мало только мяса, да и то начинает появляться. Это подтверждают и беспартийные. Спецеедство перешло через свой кульминационный пункт». А в эти же самые дни в немецких газетах появились корреспонденции из Москвы, рисующие тамошнее положение в самых мрачных красках.

30 июня

«Для контроля цен» торгпредство заказывает через подставную мелкую фирму у одной крупной машиностроительной фирмы. Дело в том, что для России большинство немецких производителей ставит специально повышенные цены. И вот заказ выдается через подставную фирму, якобы, для Болгарии. Но фирма-поставщица, заподозрев что-то неладное, потребовала от подставной фирмы письменного обязательства, что машины останутся в Болгарии. Подставная фирма прибежала к Финкелю: как быть? Дать ложную подпись — рискованно. Я сказал Финкелю, что торгпредство не может подстрекать фирму к такого рода действиям. Но Финкель, вероятно, поступит по-своему.

Приезжал в Берлин в «научную командировку» Юрий Гольдштейн. Он работал раньше несколько лет в Берлине, а по возвращении в Москву был вычищен из партии. Теперь он восстановлен в партийных чинах и состоит профессором инсти-

тута по изучению мирового хозяйства, возглавляемого Варгой, деканом Плехановского института (бывш. коммерческого), профессором 1-го московского университета, профессором Западного института (есть и такой), — словом, спекулирует по ученой части так же, как раньше спекулировал по внешней торговле. Но это — еще не все: после «чистки» он сделался сам спецом по чистке и теперь чистит профессоров. Так он рассказывает с гордостью, что он вычистил профессора Вольфа по кафедре хозяйственного права, заменив его Шретером. «Шретер больше проникнут нашим духом, советским», — говорит с важностью Гольдштейн. Вычистил он также и крупнейшего русского цивилиста с европейским именем — Вормса. За ним числится и совсем уже смертные грехи: «Он не только консультирует у концессионеров, — говорит Гольдштейн, — но и всегда в процессах против нас выступает».

Работающим в Москве монтерам не позволяют вывозить за границу заработанные деньги. Делается таким образом: либо им отказывают в просьбе об обмене червонцев на валюту, либо, давши валюту, потом отбирают ее на границе. Фирмы, посылающие монтеров, скандалят. Писали много раз в Наркомторг, там отдельываются молчанием. Бегге решил написать самому Микояну.

22 июля

Главный специалист министерства иностранных дел по русским делам, Шлезингер, «плачут в жилетку». Он говорит, что с Советами стало невозможно договариваться о чем-нибудь. Они растрюбли на весь мир о будущих кредитах Германии и испортили этим все дело. Германское правительство предлагало пока получить 50 млн. марок с тем, чтобы подготовить большие кредиты. Москва на это не идет. Там вообще не с кем разговаривать. Стомоняков стал не тот, заразился московским духом. Раньше он брал на себя ответственность а теперь всегда ссылается на коллегию наркоминдела.

11 августа

Некий Маркович, молодой инженер, коммунист, «старался» очень в исполнкоме, показывая партийное усердие. Поехал проводить свой отпуск в Москву. Теперь его не выпускают назад.

Бегге ему написал, что о возвращении не может быть и речи. Но здесь осталась жена Марковича и Бегге согласен взять ее на работу.

Зелтынь, работавший раньше в Лондоне, выражает необычайное удовольствие по поводу того, что переговоры с английским правительством прерваны. «Макдональд осрамился», говорит он, «а мы показали всему миру, что не нуждаемся в англичанах. Жили без них 3 года и дальше проживем. Кредиты. На что они нам? Было бы несчастьем, если бы мы получили большие кредиты: половина разошлась бы зря. Сами управимся».

Вернулся из Москвы Ленгиэль. Восторженно рассказывает о своих впечатлениях: «От декабряской депрессии не осталось и следа. Тогда все думали только о сегодняшнем тяжелом дне, угнетало состояние кризиса. Теперь все увлечены пятилеткой, говорят с энтузиазмом о будущих годах. Кризисного настроения нет и в помине. Все бодры. Очередей нет. Да летом они и не чувствительны» Ленгиэль не знает ни звука по-русски. Россия для него чужая страна. Человек — казенный во всех отношениях.

Накануне отъезда германской делегации в Гаагу часть делегатов устроила советским дипломатам «интимный ужин» в ресторане. С советской стороны присутствовали: Бродовский, Бегге, Ленгиэль и Финкель. По словам Ленгиеэля, немцы много говорили о необходимости увеличить вывоз из Германии в СССР и о мерах, которые надо для этого принять. Наши колыбели экспортом: нам-де делают затруднения (спички), ну, и, разумеется, кредиты. Целью же интимной ассамблеи явилось желание немцев запастись на дорогу материалами по русскому вопросу. И вообще, — говорит Ленгиэль, — опять замечается поворот в сторону СССР. Теперь будто бы уже и русский отдел германского союза промышленников заискивает перед торговцем, и Америка хочет с нами разговаривать, и вообще все за нами ухаживают...

В личных делах сотрудников торгпредства хранятся копии секретного циркуляра 1921 года. В этом циркуляре сотрудники

предупреждались, что в случае перехода в иностранное подданство их родственники в России будут взяты заложниками.

16 августа

Из нравов ячейки. Рябиков, мелкий и злой человечек, взъелся на одного коммуниста-выдвиженца М. Последний, происходя из рабочих, сумел выдвинуться своим прилежанием и даже мало-мало стал грамотным. Не знаю уж, по какой причине, но Рябиков, играющий в ячейке роль, пustил про М. слух, что он — картежник и пьяница. Этого оказалось достаточным, чтобы Бегге отказался назначить его на ответственную работу, на которую М. намечался. Дело перешло в бюро ячейки, где в течение многих часов занимались сплетнями Рябикова и перемывали грязное белье. В конце концов, М. удалось реабилитировать себя и Бегге перед ним должен был извиняться. Тем не менее, М. назначили на работу в другую организацию, а Рябиков остался в торгпредстве.

Пробывши несколько месяцев в Москве, один спец торгпредства так формулирует свои впечатления о положении дел в советской России. Всех замучили пятилеткой. Каждый трест, каждая организация имеет, так сказать, свою главу в пятилетнем катехизисе и по ней ведет свою работу. Приказано, например, в первый год пятилетки гнать за границу столько-то леса, во второй год — вдвое больше и т.д. Вот и гонят во-всю, в порядке «социалистического соревнования». Один завод старается перещеголять другой. Результаты: лес вывозят сырой, плохо обработанный, покупатели отказываются его принимать или требуют громадных скидок, понижается стандарт, возникают убытки и начинает бежать «плохая славушка». И так во всем. Мебель в России продают такую, что и смотреть на нее нельзя, платье и обувь рвутся через неделю, зато план выполняется.

Другой спец выразился короче: может быть и вытянут пятилетку, но страна выйдет обезкровленной.

Английская делегация уехала из СССР разочарованная: думали, что едут набирать заказы, а не получили ни одного. Теперь они говорят: Россия будет может быть когда-нибудь очень богатой страной, но это будет через много лет, а сейчас

там нечего делать. По этому поводу передают новейший анекдот Радека. Обращенный после покаяния в христианскую веру, Радек говорит: верю в социализм в одной стране, но жалко страну.

Иностранные свои впечатления о Москве передают в следующих словах. Все ходят в каломянковых костюмах одного цвета и покроя, костюмы стоят колом на людях. Есть даже специальная концессионная фабрика каломянковых костюмов. Интеллигенция уничтожена, задавлена, забита. Все ходят грязные, оборванные, небритые. Кто потерял место, не может рас считывать найти другое. В казенных магазинах приказчики необычайно грубы с публикой. Когда спрашивают какой-нибудь товар, то всегда отвечают, что его нет: так проще и легче для приказчиков. Также грубо обращаются с русскими в гостинницах, если гости жалуются, то им говорят: уходите, мы вас не держим. И так далее.

17 июля.

Работою Коминтерна в Венгрии руководил долгое время некий Ландлер, бывший нарком советской Венгрии. Он поселился в Вене и оттуда вел нелегальную работу. Недавно Ландлер умер. Его место, видимо, занял Ленгиэль. Он то и дело берет себе якобы для отдыха отпуск, а один день в неделю вообще не приходит на работу. При всей своей конспиративности он не скрывает, что ему приходится очень много возиться с венгерцами. Германская политическая полиция, несомненно, осведомлена о его деятельности, как и вообще о нелегальной работе советских коммунистов в Германии.

19 августа

Химик Майер, которого в свое время переманили на службу и который получил 4 месяца тюрьмы за экономический шпионаж в пользу СССР, обратился из Москвы с жалобой в немецкий исполком торгпредства и через него — к германской коммунистической партии. Вместо обещанного договора на 10 лет, ему по приезде его в Россию, дали работу в провинции на год, а потом выбросили. Он приехал в Москву, но там с ним никто не стал разговаривать, работу не дают, а он прожился и в Германию вернуться не может. «Ищет правды».

22 октября

В спешном порядке откомандирован в Москву заведующий Лейпцигским отделением, коммунист. В Москве его вычистили из партии, вменив ему в вину, что он в Лейпциге кутил с контр-агентами меховщиками.

Сенсацией дня является в торгрпредстве отказ многолетнего ответственного работника Н. поехать в Москву. Подробности его откомандирования и последствия его отказа очень характерны. В течение месяца его начали «обхаживать», доказывая ему в «дружеских» разговорах необходимость «съездить в Москву для контакта с центром». Сначала с ним разговаривал по душам Мороз, бывший член коллегии ВЧК, теперь член НКК, начальник учраспреда наркомторга на правах члена коллегии. (Он приезжал в Берлин для предварительной работы по подготовке чистки аппарата). Мороз допрашивал Н., как долго он не был в Союзе. Узнав, что Н. не был уже 4 года, чекист сказал: «Ого! Надо съездить». Н. пропустил мимо ушей. Тогда к нему стал подъезжать его заместитель, злобный чекист Фукс, занимавший раньше высокий пост «министра» республики Немцев Поволжья. Фукс повел «деловой» разговор: вот, не ладится дело с экспортом лука, мака и т.д., надо поехать в Москву согласовывать. Н. уклонился от разговора. Тут его взял в работу член экспортного директората К., видный коммунист. Он пошел на «откровенность»: показал Н. доклад по-просту донос — Фукса, в котором доказывалась необходимость поездки Н. в Москву. Когда это не помогло, то Н. был вызван к самому Беленькому. Последний без обиняков заявил Н., что ему необходимо немедленно поехать в командировку в Москву. Н. ответил, что он ни в какую «командировку» не поедет, потому что Беленький едва ли может гарантировать ему возвращение в Берлин, а в таком случае пусть Беленький уж честно говорит об откомандировании. Этот ответ застал замторгрпреда врасплох, и он ответил, что он, конечно, не может гарантировать возвращения Н. и предложил последнему уехать совсем в Москву. Н. отказался. По словам Беленького, он не имел сначала в виду отправить Н. в Москву, но после его заявления об отказе ехать в командировку, Беленький вынужден-де был сказать ему: заведующий, отказывающийся ехать в командировку, должен быть откомандирован. Вследствие от-

каза Н. Беленький заявил ему о его немедленном увольнении. Н. потребовал уплаты причитающегося ему по немецким законам жалования за 3 месяца. Ко мне прибежала заведующая отделом личного состава Иоффе. Пошли к Беленькому, чтобы восстановить его разговор с Н. Беленький сказал: «Конечно, я это сделал неправильно. Я не должен был говорить Н., что он откомандировывается в Москву, а просто уволить его за отказ ехать в командировку. Теперь ничего не сделаешь, надо платить». Иоффе спросила: сколько времени протянется процесс, если Н. подаст в суд. Узнав от меня, что процесс может протянуться года полтора, Беленький и Иоффе в один голос воскликнули: «Ну, так будем судиться. Пусть Н. ждет полтора года своих денег»... Решили доложить дело Бегге. Произошел следующий разговор.

Иоффе: «Я высказываюсь за немедленное увольнение без уплаты жалования».

Я: «Судебный прогноз неясен и темен. Надо заплатить».

Бегге: «Нужно написать Н., что он откомандировывается в Москву, надо оформить (одно из любимых словечек коммунистических администраторов)».

Я: «Н. ответит, что, проработав в Берлине 4 года, он не может сняться немедленно, и потребует уплаты жалования за 2-3 месяца».

Бегге подходит ко мне вплотную, его маленькие глаза широко раскрываются и приобретают ледяной цвет; передо мной стоит беспощадный человек, который может легко подписать смертный приговор и исполнить его тут же. Он говорит, обращаясь ко мне: «А если Н. потребует, чтобы ему дали на сборы 3 года, то мы и 3 года должны платить! У нас положение — 2 недели, и дать ему 2 недели. Мы не намерены поощрять предателей. Этак всякий будет знать, что мы платим, когда он отказывается ехать. Н., кстати, как теперь говорят, сколотил 80 тысяч марок (тут Бегге выбалтывает причину внезапного откомандирования Н.). Написать, чтобы ехал через 2 недели».

Я: «Исход процесса очень сомнителен для торгпредства».

Бегге: «Ну, и проиграем, заплатим на 100 марок больше».

Так и поступили. Н., разумеется, ответил, что, прожив в Берлине 4 года, он не может собраться в 2 недели. Опять пришла Иоффе. Я доказываю ей, что надо договориться с ним, потому что суд в случае спора станет на его точку зрения, да

он и по существу прав. На это Иоффе разражается такой филиппкой: «Я этого не понимаю. Всякий, кто, действительно, хочет ехать, может собраться в одну неделю. Что тут у него — дома, недвижимость, что нужны долгие сборы! Вот, если мне предложат уехать, то я в 3 дня сберусь. Да и какие тут сборы. Уложить в корзину свои вещи...».

Ленгиэль в разговоре об Н. полностью одобрил решение Бегге. «Мы не будем платить дезертирам. 30 процессов будем вести. Проиграем — устроим скандал германскому правительству...»

В конце концов, по настоянию Крестинского, с Н. произвели расчет по германским законам.

Не прекращаются волнения по поводу истории с Беседовским. Приехавший из Парижа коммунист из «культурных» рассказывает подробности этой истории. Они, в общем, совпадают с рассказом, опубликованным Беседовским. У него начались склоки и раздоры с самого начала приезда в Париж Довгалевского. Вскоре они были на ножах. С первым же секретарем полпредства Аренсом Беседовский вовсе не разговаривал. Аренс это — особенный типик. Он похож на контрабандиста. Безмерно нагл и насквозь пропитан чекизмом. Пошли взаимные доносы. Довгалевский и Аренс сообщали о широком образе жизни Беседовского, о его ленности, и доказывали, что его необходимо снять. Беседовский не оставался в долгу, сообщая в Москву о том, что Довгалевский и Аренс ничего не понимают в дипломатии, не умеют налаживать отношения и т.д. Весной, когда освободилась вакансия полпреда в Финляндии, Беседовский стал проситься на эту должность. Политбюро отказалось. После многих месяцев доносительства Довгалевский победил. Он привез из Москвы распоряжение откомандировать Беседовского в Москву. Но т.к. у Довгалевского — «больное сердце», то он, избегая волноваться, поспешил уехать в Лондон, назначив Беседовского на время своего отсутствия уполномоченным в делах и поручив, в то же время, Аренсу передать ему о необходимости немедленно уехать в Москву и принять у него дела. Аренс безмерно обрадовался, что может, наконец, отомстить Беседовскому. Когда он предложил последнему сдать дела, то Беседовский послал его к черту, сказав: «Я, как уполномоченный, могу сам требовать от вас сдачи дел, а не наобо-

рот». Тогда прислали срочно в Париж Ройзенмана.* Дальше все разыгралось, как по нотам. Ройзенман с места в карьер начал кричать на Беседовского и стучать кулаками, называя его сукиным сыном и матерно ругаясь. Он потребовал немедленного отъезда Беседовского. Последний отказался. Тогда Ройзенман струхнул и смяк. Он стал говорить ласково и просительно: «Поезжай, голубчик, тебе же ничего не будет, я за тебя заступлюсь, ты же — старый партиец» и т.д. После этого Ройзенман распорядился не выпускать Беседовского из помещения. Остальное все известно.

По Парижу ходит рассказ о том, будто бы, Кьянп** по этому поводу говорил: «Пусть Ройзенман посидит еще в Париже: авось, обнаружится новый такой случай, как с Беседовским, и мы будем иметь новый материал...»

Ройзенман, действительно, оставался в Париже еще 3 недели после ухода Беседовского. Он занялся вплотную разносами. Аренса и Довгалевского Ройзенман ругал на чем свет стоит. Он им доказывал, что они виноваты во всей этой истории, т.к. затравили Беседовского доносами. «Вы что, сукины сыны, в самом деле вообразили себя тайными советниками! — кричал он на них. — А вот возьмет рабоче-крестьянское правительство и пошлет вас коров пасти!». В сердцах Ройзенман снял и отправил в Москву несколько коммунистов и чекистов. Всем им онставил в вину, что они занимались склокой и довели до такого скандала. С одним из чекистов у него вышел крупный разговор. Этот чекист был посажен в Нефтесиндикат. Там он, между прочим, стал приставать с ухаживаниями к одной беспартийной стенографистке. Та пожаловалась. Дело дошло до Ройзенмана. Он разразился по адресу чекиста бранью «ГПУ — меч пролетариата, а ты из меча сделал г...» Чекист обиделся. «Товарищ Ройзенман, сказал он. Вы не знаете порядков: так не разговаривают с ГПУ». — «Пошел вон, в Москву! (крепкая трехэтажная брань)». Чекиста откомандировали в Москву. Пришлось подчиниться, потому что у Ройзенмана — мандат от политбюро и ему подчинены все полпреды и торгпреды. Но и злополучная стенографистка была вскоре откомандирована в Москву.

* Представитель Рабоче-крестьянской инспекции.

** Префект парижской полиции.

Попутно Ройзенман занялся чисткой. В течение 3-х недель его пребывания в Париже, там стоял стон и трепет. Чистил он нещадно. Так, он снял двух незаменимых специалистов одного важного хозоргана. Когда глава этого хозоргана, заслуженный коммунист, заметил ему, что он остается без спецов, то Ройзенман ответил: «Не знаешь, что ли, дурак, что партия взяла установку на уничтожение спецуры...»

По поводу скандала с Беседовским, Ленгиэль, по должности торгрпредского гурлянда, стал пускать успокоительные версии. Он говорит с кривой улыбкой: «Ну, что ж, и еще один вор оказался. Бывает. Беседовский занимается разоблачениями — плевать. Ну, что он знает! Ну, Литвинов не ладит с Чичериным, Чичерин ссорится с Литвиновым — важная штука...».

27 декабря

Маковского вычистили из партии. Вычистили было и усердного без меры Ш., заведующего отделом Центральной Европы в наркоминделе. Чистка идет свирепая. Особенно обрушаются на интеллигентов-партийцев и в еще большей мере на тех, кто раньше состоял в других партиях. Допросы делятся по 10-ти часов. Между прочим, Стомонякову скостили стаж с 1905 г. до 1920 г. Не помогло ему, таким образом, его прошлое сотрудничество с Литвиновым по нелегальному транспортированию оружия, хотя он так гордился этой деятельностью.

Кстати о Литвинове. Один из очень старых коммунистов, считавшийся когда-то другом Ленина, ныне состоящий в опале, рассказывал мне, что когда началась мировая война, то в социал-демократическом клубе в Лондоне происходили по этому поводу горячие дебаты. Литвинов был вначале ура-патриотом и ярым оборонцем. Только через 2 месяца были получены директивы Ильича. Тогда Литвинов «занял позицию» и яростно защищал линию пораженчества, предписанную «ЦК партии».

Наднях вернулся из СССР Якубович, проводивший там отпуск. «Москва живет, — говорит он с пафосом, — растет, цветет, несмотря на хихикания обычайтелей. Одежда? Это никого не интересует, приспособились. А еда? Там же обжираются, понимаете — обжираются. Всего есть вдоволь. Муж и жена получают вдвоем 2 фунта хлеба в день. Куда им столько,

а берут всетаки. Если раз в 3-4 дня не выдают яиц, то обыватели уже делают запасы. Нет дома, в котором не было бы 3-х пудов припасенного продовольствия. А продовольствия сколько угодно. Если бывают заминки, то это — от недостаточно правильного подвоза. Теперь взялись за кооперативы, — и эти недостатки будут тоже скоро устранены. А Кисловодск! О, если бы здесь было так на курортах! Я, правда, не имел комнаты, а лишь койку. Но вообще — очень хорошо. А нарзан то какой!... Бедный старый ослик Яцек: он накануне чистки. А 3 года тому назад его чуть-чуть не вычистили из партии.

В госиздате служил 10 лет главным бухгалтером некий Б. Все сменялись а он оставался, потому что работал безукоризненно. Недавно обнаружили, что какой-то частник получил в госиздате на 900 рублей кредитов и вексельная операция эта была проведена Б. Устроили показательный процесс, и Б. угодил в тюрьму на 4½ года.

Торгпредство попало в полосу невезения. После банкротства Деруссы, где застряло около 1½ млн. марок, на-днях новое банкротство на 300 тысяч, хотя и без криминала. Отдел Кожимпорта дал поручение фирме Бекк в Хемнице закупать кожи на аукционах. Фирме выдали аванс векселями. Товар был закуплен, торгпредство его приняло на складе фирмы, выдало ей векселя и поручило отправить товар в СССР. Потом оказалось, что фирма векселя-то получила, а товар не оплатила поставщикам. Два владельца фирмы покончили самоубийством, а в кассе оказалась дыра и по делам фирмы объявлен конкурс. Торгпредство потеряло 300 тысяч марок. Немецкие же газеты пишут, что торгпредство довело владельцев фирмы Бекк до самоубийства.

6 ноября

Откомандирован в Москву пражский торгпред Ленский. По своему образованию он — детский врач, но, говорят, очень плохой. Купец он еще худший. Это не помешало ему пробыть за границей 5 лет, сначала в должности экспортного директора в Берлине, а потом несколько лет торгпредом в Праге. На его место назначается некто Сахаров, бывший дамский портной.

Немецкие газеты стали ежедневно печатать «оперативные сводки» о расстрелях в СССР. Разговорился по этому поводу с Зелтынем.

— Это очень хорошо! — говорит Зелтынь.

— ?!

— Ну, да, хорошо. Потому что если каждый день печатают, то публика постепенно привыкает, притупляется общественное мнение.

— Но ведь это влияет на отношение немцев к СССР.

— Это теперь неважно. Нам все равно, как немцы относятся к нам.

— Допустим. Однако, немцы являются в значительной степени проводниками общественного мнения об СССР и в других странах.

— Было, было. Во времена Ратенау и Мальцана. А теперь прошло.

— Вот и это «великое переселение» немцев-колонистов из СССР в Германию.

— Пускай едут. Раньше эти немцы, действительно, были носителями аграрной культуры в России. Теперь это не то и несущественно.

Зелтынь говорит о себе, что он относится ко всему философски. Очень даже замечательная «философия». И это — едва ли не самый интеллигентный представитель новой формации коммунистических деятелей по внешней торговле и один из умнейших среди латышской братии.

Бегге вызвали в Москву. Торгпредством заправляет Авдеев. Сидит в своем вязаном жилете и в железных очках в шикарном кабинете и «принимает доклады». Чаще всего ходит к нему по административным делам «Евгеньич». Они на ты. Этот «хороший тон» ввел именно Евгеньев. Теперь почти все «дворяне» на ты. Евгеньев — с Ландой, с Авдеевым, Зелтынь — с Иоффе, Рябиков — с заведующими отделами из коммунистов, и так — цепочкой.

Послал недавно Авдееву на подпись немецкую доверенность. Вернулся: подпись простым карандашем по-русски. Понес ему сам второй раз, поставил подпись рядом по-немецки ярко-зелеными чернилами. Что там написано в доверенности, он, конечно, не знает.

14 декабря

Слышал на днях о похождениях одного из «дипломатов» парижского полпредства, что звучит прямо анекдотом. Пьянствовал этот дипломат в одном из кабачков на Монмартре. Рядом с ним сидел благообразный по виду французский буржуа. Напившись, дипломат наш распоясался и стал чокаться с соседом-французом. Пошли тосты на всякого рода темы, в том числе, и за мировую революцию. Буржуа любезно чокался и разговаривал с дипломатом. Впоследствии оказалось, что это был один из виднейших руководителей политической полиции Парижа. На первый раз сошло. Через некоторое время тот же дипломат отправился на коммунистический митинг с китайцами, где произнес пламенную речь о революции в Китае. Тут вспомнили о его тостах с благообразным буржуа и через 24 часа он вылетел из Парижа.

На днях вернулся из Москвы Ленгиэль. Очередной припадок пафоса. «Я еще никогда не приезжал оттуда в таком восторге. Какой подъем, какое воодушевление! Какая красота эта непрерывная неделя! Идешь в воскресенье по улицам — все кипит, все работают — красота! В наркомторге все спокойно, все остаются на своих местах»... А в это время в наркомторге вычищают самых старых работников, партийцев и беспартийных.

15 декабря

Беседовал с Крестинским о Громане. Речь шла о письме, которое Громан написал Рыкову, и о грубом ответе последнего. Я выразил свое недоумение по поводу поведения Рыкова, который всегда был с Громаном в дружеских отношениях. «Что же было делать Рыкову, — сказал мне Крестинский. — Он на подозрении правого уклона. Надо же ему показать, что он идет вместе с партией».

Бродовский* пребывает неизменно в состоянии «административного восторга»: все замечательно, наше внешнее положение — великолепно. На немцев можно плевать: они в нас нуждаются больше, чем мы в них, надо им давать в морду. Вообще все — просто, ясно, безоблачно. После недавней речи

* Братман-Бродовский — советник полпредства.

Литвинова на сессии ВЦИК, где замнарком делал реверансы по адресу немцев, Бродовский повторял без конца: «До чего немцы и министерство иностранных дел потрясены этой речью! Они теперь падают перед нами ниц...».

А, между тем, немцы готовят опять материал для кислых разговоров. Бродовский образовал под своим председательством комиссию, которая должна накапливать контр-материал, свидетельствующий о некорректном исполнении или даже прямом нарушении немцами торгового договора. Материал то все жидкий. Целых три заседания занимались одним и тем же: кишками и картофелем. При этом никто из членов комиссии не знал, что написано по этому поводу в торговом договоре, а там предусмотрено право отвода немцами советских боен, с которых идут кишки и кожи, обязательность получения для экспорта каждой партии разрешения, неприменимость к ввозу продуктов животноводства наибольшего благоприятствования и т.д. Немцы и настаивают на точном выполнении договора, а Бродовский, со своими коммунистическими подголосками, усматривает в этом нелояльность. Когда я доказал ему, что торгпредство не имеет больше прав, чем те, которые предоставляют ему немцы, то Бродовский этим нимало не смутился и продолжал жевать на заседаниях эту высокую материю.

Несколько времени тому назад было созвано собрание Итэса. Явилось больше 100 человек. С «докладом» выступил председатель исполкома, говорили и многие беспартийные члены Итэса, но центр тяжести был в речи Ленгиеля. Вот как он мне сам передал содержание своего «слова»:

«В период военного коммунизма Ленин провозгласил, что спецы, хотя бы они и не были с нами, будут служить нам, потому что мы их купим. Тогда это было правильно и уместно. Советская государственность еще только утверждалась и задача была, сравнительно, простая, да и героического подъема было больше. Теперь тезис Ленина больше не годится. Теперь — перед нами самая трудная задача: строительство социализма, в исключительно напряженных условиях, настоящий опыт социализма, да еще без героической окраски военного коммунизма. Поэтому теперь мало, чтобы спец работал за деньги, он должен быть с нами, верить в наше строительство, разде-

лять нашу хозяйственную программу, итти вместе. Если этого нет, если спец брюжит, критикует, похихивает (были-де случаи, когда в разговорах с иностранцами спецы со смешком отзывались о пятилетке, когда приехавший в СССР немецкий инженер, желавший делать новое дело, наталкивается на сопротивление спецов), то мы его беспощадно будем преследовать. Если мы применяли террор в годы военного коммунизма, то теперь больше еще применим».

Я сказал Ленгиэлю: «Разве не имеет права беспартийный иметь такие же сомнения, по крайней мере, какие высказывают ваши же правые оппозиционеры?».

Ленгиэль взорвало: «Что там — правые, левые! Не пойдет с нами спец, мы его выбросим».

Тогда я сказал Ленгиэлю: «Значит, я, как беспартийный спец, должен сделать догматом своей веры последний лозунг ЦК. Но ведь если бы я разделял вашу программу, то я был бы в партии и мог бы занимать ответственные посты».

На это Ленгиэль с кривой улыбкой, весьма угрожающе промычал: «Ага! Гм!...»

Суть же — очень простая. За 12 лет выросла армия молодых хулиганов, преторианцев, которые составляют опору Сталина, а потому и хотят быть на «командных» постах. Они и заменяют прежнюю интеллигенцию, а в надсмотрщики берут иностранцев. С последними легко. У них сердце не болит за Россию, а за пролетариат — еще меньше. На русских они смотрят, как на скотов, на Россию — как на Клондайк. Раз будут платить им большевики громадные оклады, то они будут «усердно» участвовать «в социалистическом строительстве», как участвовали бы и в постройке вавилонской башни, не веря в нее, но и не интересуясь ее бесполезностью: ведь это — чужое. За один только последний год из Германии вызвали в СССР 2000 инженеров и техников, а американцев — своим чередом. При чистке в наркомторге «низы» так и говорят, вычищая за «делячество»: нам не нужно вашего американализма, мы американцев выпишем, когда понадобятся.

Вот что мне рассказал Крестинский по поводу мытарств одного очень крупного ученого спеца. Посадили этого спеца в ГПУ. Держали там 9 месяцев, из них 6 месяцев без свиданий, без передач, без папирос, и даже без прогулок. На недоуменные

вопросы спца, в чем его обвиняют, следователь неизменно отвечал: «вы сами знаете, в чем вы виноваты». В конце концов, его отправили на 3 года в ссылку в Сибирь за «экономический шпионаж», так и не сообщив, в чем дело. А дело то было вот в чем: этот спец, по просьбе своего начальника, тоже беспартийного спеца, дал ему для ознакомления один из своих докладов о научных исследованиях. Начальника его обвинили во вредительстве. При обсуждении дела в коллегии ГПУ, мнения разделились: одни говорили, что подчиненный спец знал о принадлежности своего начальника к вредительской организации, другие это отрицали. Возобладало мнение последних, и тогда спец «отделался» тремя годами ссылки. Я сказал Крестинскому: «вы же понимаете, что если ГПУ держало 9 месяцев, да еще в таком ужасающем режиме, а потом ограничилось ссылкой на 3 года в Сибирь, то никакого дела не было». Крестинский промолчал, загадочно посмеиваясь.

19 декабря

С «плановостью» экспорта дело идет из рук вон плохо. По словам заведующего лесным отделом торгпредства, коммуниста, запродали лесу больше, чем разработали. Лес не поставляется, а то, что поставляется — плохого качества. Результат — чуть-ли не ежедневно приходится платить неустойки за непоставку и делать скидки за плохое качество. Такая же картина по словам нефтяников происходит с бензином. С марганцем дело обстоит, наоборот; его бросают в количествах, не вмещаемых европейским рынком, и цены на него катастрофически падают.

В берлинское торгпредство направляют 50 «торговых учеников». Это, разумеется, все — коммунисты, молодняк. На это дело ассигновано 100 тысяч долларов. Для учеников будут организованы специальные курсы. В торгпредстве они будут работать по 3 часа в день. Это будет их «практика в торговле», а параллельно пойдет «теоретическое обучение». Словом, — выдвиженцы, «смена» — и долой оставшуюся интеллигенцию.

24 декабря

Стали закупать в Германии канадских лисиц и норки. За последние платят по 1000 марок за штуку. Имеется в виду

разведение в России лучших пород лисиц и норок. В общем, закупили на несколько сот тысяч марок. По дороге в Россию половина зверей околела.

Приезжие из Москвы так формулируют свои впечатления о пятилетке: «плановое» хозяйство является собой злейший вид анархии производства, которая так клеймится большевиками в буржуазных странах. Промышленность не увязана с сельским хозяйством, план экспорта — с экспортными возможностями. Качество экспорта не подгоняется ни к требованиям иностранного рынка, ни к потребности последнего в данных товарах вообще. Все — врозь, все — несогласовано. Лучшие товары отправляют за границу, а для внутреннего употребления остается брак. Уже «низы» начинают кампанию против такой системы. Но их, разумеется, никто не слушает.

(Окончание следует)

A. Рапопорт

ПОЗДНИЙ РОПОТ

ЗАПИСИ НЕДАВНИХ ЛЕТ

Когда все гуще сходят тени

На одичалый мир земной...

Тютчев (1872)

1895. — Изобретены автомобиль, самолет, телефон, психоанализ. Угораздило же меня родиться в таком году.

1914. — (Записано в Монреале весной 68-го года). Памятник на площади королю Эдуарду Седьмому. Вроде мальчика в длинных штанишках и с аккуратно подстриженной бородкой. Постамент — постный сахар; сладенько, но робкое пуританское рококо. На нем надпись о том, что памятник этот воздвигли *in memory of a much beloved sovereign* граждане Монреяля. Под надписью дата: 1914. Есть место и пониже. Вот бы здесь две строчки Ходасевича

Проклятье вечное тебе,
Четырнадцатый год!

Тогда ведь и стало неизбежным Падение Британской Империи; тогда и обозначился переход к нынешнему положению венчей в *ci-devant* христианском мире.

За прехи отцов. — (Там же, тогда же). Вечером в такси, уже недалеко от гостиницы — ай! Колоннада Бернини. Утром рано туда; так и есть: собор св. Петра; копия, уменьшенная вдвое. И какая копия! Колоннада обвисла. Все соотношения перевраны. Внутри — убожество. Купол — не купол, а кукиш, показанный куполу Микельанджело.

Уродом быть не грешно, но творить уродства — грех. Мы расплачиваемся нынче крошевом наших искусств, и не одних

искусств, за всяческие, но по премуществу за эти, неизвестные былым векам злодеяния прошлого столетия. Потому что там, вверху, не только нет зла, но и уродства.

Лица на тебе нет. — Увы, не могу с собой справиться. Все чаще думаю это о ближнем своем, в поезде, в метро...

Вперед без страха и сомненья. — Вычитал где-то, и вовсе не прогрессист это пишет, а человек в здравом уме и твердой памяти: «Когда человечество движется вперед, бессмысленно ложиться поперек его дороги». Все равно, мол, не остановишь. Самоочевидно. Выражено, однако, неточно, без хваленой «французской ясности», хоть автор и француз. Скажи: бесполезно, напрасно. А смысла в безумном таком поступке становится все больше с каждым годом, чуть ли не с каждым днем.

«Чего тебе день или два?» — Это Федору Павловичу нужно, чтобы сын его съездил в Чермашню. Но сто лет спустя и он, пожалуй, не решился бы сказать: «Куда ты теперь, в Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня».

«Мы», будетляне. — «Во имя нашего Завтра, — сожжем Рафаэля, / Разрушим музеи, растопчем искусства цветы». Так писал (стихотворение «Мы», 1917) пролеткультовский поэт Владимир Кириллов. «Цветы» эти он тут же и растоптал пошлыстю метафоры и глупостью инверсии. Но будетлян нынче «тьмы и тьмы и тьмы», и чем мизернее наше сегодня, тем они с большей охотой прописную букву даруют своему Завтра.

«Революционный держите шаг!» — Прочел заметку в газете «Русская Мысль» (1 июня 1965) о статье известного китайского бактериолога, которую напечатал пекинский «Рабочий еженедельник». Ученый жалуется на разрушительное влияние, оказанное на него девятой симфонией Бетховена. «Я слишком много слушал классическую буржуазную музыку Запада, и почувствовал, что постепенно подпадаю под действие буржуазной психологии». Психология эта, по его словам, «развращает и отравляет» его душу. Особенно девятая симфония, прослушанная им несколько раз, стала в нем «возбуждать странные идеи

о всеобщей братской любви, которую воспевает это произведение, в заключительной своей части».

«Культурная революция» — нелепый термин. Революция с культурой ничего не имеет общего и происходит не в культуре, а против культуры (чего нельзя с тем же правом сказать о бунте, восстании, мятеже). Революция систематична; недаром и само это слово позаимствовано у астрономии. Согласно естеству своему, она стремится искоренить культуру и заменить ее планомерной технической цивилизацией плюс развлечения — садические или грошевые.

Несколько лет спустя. — Освободились от не-Китая; теперь и Конфуция — в мусорный ящик. Подобно тому, как Россия, а за ней и Запад, освобождаются от христианства, от философии, от знания древних языков. Культуры (европейской) без всего этого нет. Революция не успокоится, пока всего этого не уничтожит.

Потрясения, страшные для человечества. — «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от изменения нравов, без всяких насилиственных потрясений».

Даже и знать Пушкин не мог, насколько был прав. Подъяремные комментаторы «Капитанской дочки» уверяют нас, правда, что это — мнение «недалекого» будто бы или «простодушного» ее героя, Гринева, а не ее автора. Лгут. Пушкин недаром сказал это еще раз в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насилиственных потрясений политических, страшных для человечества».

Полупросвещение. — Его признаки для Пушкина (в статье о Радищеве): «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне». Но, как ни грустно, Просвещение (*die Aufklärung, le siècle des lumières*) и в своем целом — полупросвещение. Едва ли хватило прилежания у Онегина, едва ли он «прочел скептического Беля»; если бы прочел, был бы поражен, не столько его скептицизмом, сколько самодовольным оптимизмом. Еще не дожив до их века, этот предтеча энциклопедистов писал (в 1684 году) о том, что «век» (его век) «с каждым днем становится все

просвещенней, так что все предшествующие века будут, по сравнению с ним, тьмой».

Осьмнадцатый свысока смотрел на прошлое. Даламбер был бы непрочь вовсе его уничтожить. Мерсье сжигал книги. Романтизм, с этой во всяком случае стороны, (но и в существе своем) был движением реакционным, т.е. направленным против разрушения культуры цивилизацией.

Отречемся от старого мира. — Никто еще не отрекался от него столь радикально и всеобъемлюще на Западе, как добровольные голоштанники (отнюдь не бедняки) третьей четверти нашего столетия. Но тянет их почему-то к старине: на Понте-Веккио норовят пикником расположиться или на Испанской Лестнице. Гораздо глубже то истребление прошлого, а вслед за ним и природы, которым только и жива — если можно назвать ее живой — наша научно-техническая жестяная, керосином пропахшая цивилизация.

Пушкин и предвидеть ее не мог. Он еще только о «цивилизации» говорит (французскому произношению не изменяя). «Культуры» не знает, — что и отрадно, до того испошлилось это слово, истаскалось во вчерашних и нынешних словоупреждениях. «Образованностью» он ее называет, но порой и цивилизацию тоже («гражданственностью» именуемую в более высоком ее облике): «Водопроводы доказывают присутствие образованности» («Путешествие в Арзрум»). Но главное с полной отчетливостью сумел он высказать имевшимися в его распоряжении словами: «Уважение к минувшему — вот черта отличающая образованность от дикости».

Знал он только дикость *до*. Нам очень хорошо знакома дикость *после*.

Стадность интеллигенции. — Не знаю отчего мы их теперь «интеллектуалами» зовем, только ли от нечувствия словесного уродства, или оттого что не хватает у нас силы снять с давно обруseвших слов «интеллигенция», «интеллигент» (первое даже перенято было у нас большинством европейских языков) тот налет революционности, или недовольства, или «неба в алмазах», или чеховского пенсне, чеховского пиджачка, который к ним прилип до революции. Да незачем плесень эту и счищать, о нынешней западной интеллигенции говоря: она сплошь недовольна, прогрессивна, революционна и взапуски гонится за

левизной. У нас, в былые времена, духовенства, офицерства, купцов, банкиров и не успевших разориться помещиков к интеллигенции не причисляли, а тут, нынче и ксендзы, и пасторы, и толстосумы, и генералы — леваки насквозь, перед Революцией на коленках ползают, — так зачем же их от интеллигенции отчислять?

После Второй войны, стадности интеллигенция эта достигла доселе невиданной, даже и нашей прежней интеллигенции в такой степени несвойственной. У нас, кроме того, уже в конце старого века, все больше стало появляться образованных и влиятельных людей, которые себя, если к интеллигенции и причисляли, то в нейтральном, а не левоправом смысле слова и которые (не без основания) многих интеллигентов старой формации полуинтеллигентами считали. На Западе, нынче, наблюдается обратное: интеллигенты готовы перед полуинтеллигентами унижаться до отказа, лишь бы те были достаточно передовыми, прогрессивными, революционными. Те впереди, эти позади, а все вместе — блоющее стадо. Даже люди превосходно одаренные для определенных разрядов умственной работы, за ее пределами, а то и в ней самой, передовых словечек, в моду вошедших, избегать не хотят или не умеют; попугайства не боятся. И никто не догадался им на пользу ввести в моду еще одно ученое слово: пситтазизм.

Не стой на ветру. — Французы прежде говорили *être à la page*. Это еще предполагало переворачивание страниц, чтение книг. Нынче они возвещают: *il faut être dans le vent*. Разве осенними листьями быть так лестно или так отрадно?

Милый друг, не стой на ветру.

Гнилой Запад. — Формула эта, с юных лет, внушала мне презрение и отвращенье. Квасной Рассеей отзывалась. Кто мог пленяться ею кроме записных невежд? Нынче же и сам Запад гниение свое на показ выставляет и любуется им в таких фильмах, как *La grande bouffe*. *Bouffer*, это лопать или жрать, но в фильме этом еще и блюют, испражняются, совокупляются публично (изуверы, встречавшиеся порой среди аскетов, могут быть довольны: совокупление приравнивается к испражнению). В течение месяцев зрелище это, в Париже, оставалось узаконенным, дозволенным. «Воспрещается запрещать», — таков был

один из лозунгов Сорбонны (т.е. ее студентов) весной 68-го года. Это, как известно, и основа всей нашей *permissive society*. Гниешь? Значит ты «на ветру». Продолжай. Или чтоб напомнить старую шутку, над которой еще можно пусты и криво, улыбнуться: если у тебя температура поднялась до сорока, не стремись вернуться к нормальной, не будь реакционером.

Страна святых чудес. — Поторопился Хомяков печалиться:

О грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес...

Зато его стихи пророческими стали. Жаль только, что соотечественники его, недавно на Запад попавшие, тьму чувствуют, гниенье обоняют (хоть и порою невпопад), а насчет святых чудес — не знаю. То ли осведомлены о них слабо, то ли равнодушны к ним, то ли к ним (полусознательно) враждебны. Вижу исключения, но чаще встречаю повод вспомнить милую одну пожилую актрису из Ростова на Дону, поведавшую мне лет десять назад, побывав в Венеции, что каналы есть и в Туркестане, и притом менее зловонные. Да и западные литературы, ведь еще недавно почти что процветавшие (особенно по сравнению с нашей) мало их интересуют. Им кажется, что они их знают — по переводам... И не то плохо, что они их не знают: могут узнать, препятствий нет. Плохо, что не знают своего незнания.

В одной из менее известных его книг («Литературные очерки», 1899) Розанов ссылается на воспоминания Буслаева, огорчавшего в молодости графа Строганова, с семьей которого путешествовал, полным своим неведеньем текущих политических событий. Тот ему дал однажды, для ознакомления с ними, номер «Аугсбургской газеты», но «юный энтузиаст Европы», как называет его Розанов, ничего в нем понять не мог. «Все события и лица, о которых говорилось в газете, были ему вовсе неизвестны, а главное совершенно неинтересны. И, между тем, он изучал в это время Тасса и Данта на острове Искии, и даже одного итальянца познакомил с Декамероном». А ведь Буслаев прославился работами о русском языке и о русской старине. Свой европеизм унаследовал он от Киреевского, от того же Хомякова.

Приехал и я в Париж полвека назад таким же «энтузиа-

стом Европы», не совсем неосведомленным по части ее чудес, но главное жаждавшим более близкого с ними знакомства. Нынешние о России пекутся. И я о ней не забывал. Боюсь, не отделяют ли они ее от Европы так, как я ее отделять никогда не соглашался. Если *совсем* ее отделить, или верней если *из нее* выскрести начисто всю Европу, что ж останется? И узнать я в ней не сумею ту, в которой родился.

«Ложится тьма густая», верно. «О, грустно, грустно мне!» Так я и чувствую. Но тот, кто не знает или не любит «святых чудес», пусть лучше о тьме не говорит. Ему и замечать ее не полагалось бы.

Оправдание ретроградства. — «Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких то предметах, а не о других» (Пушкин, 1836).

Слышите? Не может. Я — ретроград: желаю возвращения тех времен, когда это могло быть сказано по-русски без иронии и без парадокса.

Реакционные мечтания. — «Можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы впродолжение двухсот лет?»

Хотел бы я жить во времена, когда такой вопрос был всего лишь риторическим вопросом. 1838. Ив. Киреевский, «В ответ А. С. Хомякову». Был бы я, правда, реакционером и тогда: желал бы возвращения ко дней Александровых прекрасному началу. Но не к идеям Лагарпа (у которого своих идей, в сущности, и не было).

Конечно, кое от чего «полученного от Европы» предстоит России избавиться, если ей вообще нечего лучшее предстоит, чем ее нынешнее пресмыкающееся прозябанье. От того же самого кой чего, что получил (ее заботами) и Китай. Я — реакционер, в том смысле, что никакого человечески приемлемого будущего ни для кого не вижу, без отказа от идолопоклоннических суеверий, называемых Прогрессом и Революцией.

Терминология Киреевского нуждается, однако, в поправке. Это о Китае можно говорить, что он что-то получил *от Европы*. Россия — в Европе; у нее есть только азиатские по-суху приобретенные колонии. Россия — Европа, хоть и не западная Евро-

па. Она и без Запада — христианско-европейская, византийского корня страна. Недаром те греки были греками, недаром и ромеями себя величали. Разлучаться ей с Западом гибельно, а если ей от того западного освобождаться надлежит, что вслед за ней и Китай проглотил — или чем вслед за ней был и Китай проглощен, то покончить с этой частью своего наследства, если он хочет остаться Европой, придется и Западу. Я — реакционер, потому что я патриот моего христианско-европейско-русского отечества. Сопротивление Гитлеру в Голландии, Бельгии, Франции, Италии, самой Германии тоже ведь было реакционным: возврата искало к до-гитлеровскому положению вещей.

Сплющивание черепов. — В дневнике Герцена — декабрь 1844 — читаем: «Говорят, что готовится указ о том, чтобы дети дворян с 10 лет ходили в публичные школы (...). Правительство берет эту меру [prend cette mesure], вероятно только для того, чтобы с десяти лет в корне души задавить все благородное, чтоб возрастить себе поколение подлых илотов; все слишком энергическое прежде 14 лет успеет попасть в Сибирь, за дерзость, за оторванную пуговицу. Такое публичное воспитание будет равнозначительно сплющению черепных костей при рождении младенцев, употребляемое некоторыми дикарями в Африке».

Инвектива — невпопад; преждевременна, как плач Хомякова. Но пророчество все мне известные превосходит меткостью и силой; верней резюмирует нынешнее — больше полувека длившееся — порабощение россиян в России, чем анализы лучших западных кремлеведов и советоэкспертов. Смягчает картину и оно: не с десяти лет начинается взращивание илотов, а намного раньше (книга Леонида Владимирова прекрасно нас осведомляет на этот счет). Пуговица, дерзость, даже Сибирь (т.е. ссылка или каторга, как их представлял себе Герцен) — не те краски; об илотовах тоже не совсем в точку, хотя многое в этом спартанском уподоблении правильно; зато СПЛЮЦИВАНИЕ ЧЕРЕПОВ — лучше не скажешь. Пусть не самое кровавое или гробовое, но самое страшное этим названо. Назван ужас, получивший логическое завершение не при Сталине — даже он на это не решился — а значительно позже: когда тех, кому сплющить череп не удалось, стали сажать в психиатриче-

ские лечебницы. Сплющенные черепа объявиляют ненормальными несплющенные.

Лагерное истребление или истязание людей — смертный грех; но набивание мозгов, чуть ли не с трехлетнего возраста, ложью и трухой — грех не менее смертный. И герценовская мысль, в точности своей, безжалостна. Сметливый подросток, а то и ребенок может во лжи почувствовать ложь, может труху так и увидеть трухой, но сплющивание, хоть и не обходится без набиванья, прежде всего состоит в суживанье горизонта, в недопущении мыслей и знаний противоречащих лжи и не сводящихся к трухе. Конечно, арифметика, — или кибернетика... Но не Логарифмом единым сыт будет человек. И всю ложь разгадав, всю труху пересыпав в служебный портфель, порою и сам он еще ощущает щипцы, с детства сжимавшие его череп.

Гражданин-муравей. — В 1933 году вышел первый том «Библиотеки поэта» (Стихотворения Державина). Горький написал предисловие к нему, в котором приводит следующие стихи, не называя их автора:

Ну а ты, позабывший о Боге,
Притеснителей съевший живьем,
Кем ты будешь, строитель двуногий, —
Гражданином иль муравьем?

Помнится, Марат утверждал, что голодный имеет право съесть сытого, не уточняя, будет ли он жарить его перед тем или съест «живьем». Но так или иначе, в 33 году было ведь ясно, что притесняемый, съев притеснителя, немедленно сам начинает кого-нибудь притеснять, — а ежели строить, то ведь и съеденный кое-что построил. Больше всего, однако, удивляет меня альтернатива — гражданин или муравей. Разве муравьи не образцовые граждане своего муравьиного государства? Тунеядцев среди них нет, инакомыслия тоже не наблюдается; даже и незачем им поедать друг друга. Или автор этих стихов (вместе с Горьким?) еще и в 33 году представлял себе гражданина жаждущим перемен, бунтующим или по крайней мере недовольным? Такие граждане, что и говорить, в муравьином быту, в муравьиной стране — или партии — немыслимы.

Еще одно удивленье (так, между прочим). — Любопытно, да пожалуй и странно, что у французов “individu” получило презрительный оттенок, вроде, как у нас «субъект».

Я бы скорей бранился: ах ты коллектив ты этакий, ах ты объект!

Безгрешный мозг. — Кибалчич, изготавливший бомбы для убийства Александра II-го, на суде заявил, что участие его было «чисто научным». Золотые слова! Не все виновники Хиросимы (к чести их будь сказано) высказались в том же роде. Тех, у кого потревожена совесть, не виню, хоть и есть на них вина. Для других переделываю Некрасова:

Ученым можешь ты не быть,
Ты человеком быть обязан.

Если твоя совесть по части «термоядерного оружия» беспретворна, хотя ты сам термоядерник и есть, я для тебя придумал имя. Ты не человек, ты всего лишь мозговик.

В начале было Слово. — Знаменитая фирма Оливетти называет свои счетные машины «Логос». Дальше идти некуда. В мыслях, если не в делах.

Физико-математическое мракобесие. — Его основы: 1. Смешение истины с доказуемостью (путем дедукции или эксперимента), а недоказуемого с несуществующим и ложным. 2. Устранение оценок, под предлогом все той же их недоказуемости, а также «субъективности» и шаткости. 3. Замена исторических наук социологией, а истории Прогрессом. Умерщвление прошлого. Коленопреклонение перед будущим. 4. Приспособление человеческого языка к требованиям электронных машин и машинных переводов. В «идеале» — замена его сигнализацией упраздняющей понятийное мышление. 5. Игнорирование индивидуальности, не говоря уже о личности. Единичный объект, пусть и живой человек — образчик, больше ничего.

Сама физика или математика тут, конечно, не причем. Методы естественных наук или, например, статистики, вполне пригодны для них и для статистики; не порочат их ничем. Мракобесы лишь те, кто стремятся им подчинить все вообще человеческое мышление. Этого рода мыслители — не математики и не

физики — столь успешно отменили философию, что занимают теперь подавляющее большинство кафедр философии в университетах англо-саксонских стран. А подголосков у них на всем свете сколько угодно, даже — что всего отвратительней, но и всего смешней — среди духовенства, как протестантского, так и католического. Святой отец, наследник апостола Петра, еще как будто не совсем «демифологизировал» самого себя, но есть надежда... Преемник его не изменит тайному его завету. если Бога повелит писать с малой буквы, а прогресс с ультра-прописной.

Наши философи — Франк, Лосский, Бердяев, — не говоря уже о богословах — всего этого движения мысли, давным давно начавшегося, и даже не в Англии, а в Вене, так-таки совсем и не заметили. Витгенштейна, и того (1920!), сильно я подозреваю, что никто из них и не подумал прочитать. Очень их всех люблю и уважаю, но простить им эту оплошность не могу.

Права человека. — Француженка Anne Thinesse пишет в газете «Фигаро» (24 июля 1974) об Америке: «С тех пор, как было приобретено право на аборт решением Верховного суда от 22 января 1973 года, евтаназия представляет собой в Соединенных Штатах одно из последних требований, которые надлежит отстаивать в медленном завоевании прав человека».

Право не родиться и право с приятностью стать трупом. Какая передовая женщина эта очаровательная (вероятно) Анна! Назначу ей свиданье на верхней площадке Эйфелевой башни. Мы вместе станем на ветру. Или нет: вместе войдем в бушующие волны. Какой простор!

Только едва ли Репин любимый ее художник. А насчет прав человека, сударыня, простите, я скорей предложил бы, вслед за Бодлером, чтобы прибавили к ним два других: право молчать и право уйти.

Размножение проблем. — «Проблема» — пышнее, чем «вопрос»; кафедральнее, «научней». Мода на это слово из Америки пришла в после-гитлеровскую Европу, хотя покойный профессор Сперанский читал лекции о проблеме пола, еще до 14-го года в петербургском Соляном городке. Нынче, во Франции, словечко это только и слышишь; чернорабочие и министры в равной мере злоупотребляют им. Если все в порядке, если не на что человеку

жаловаться, он и это выражает не иначе, как возгласом «никаких проблем!» а тем временем за океаном применение этого слова достигло жуткости, которую трудно будет превзойти.

В середине июля 70-го года, калифорнийские полицейские задержали на большой дороге двадцатидвухлетнего Стэнли Бэкара, машина которого оказалась краденой. В момент ареста, молодой человек сказал: «у меня проблема: я людоед». В карманах его нашли куски человеческого мяса. Он и его приятель, двадцатилетний Харри Строуп зарезали и съели третьего молодого человека, Джеймса Шлоссера. Наркотики, повидимому, этой пирушке помогли. Смягчающее обстоятельство! И не всего они Шлоссера съели. Еще одно смяг... Бэкер, к тому же, показал, что разразившаяся в тот день гроза побудила его «почтить дьявола».

Дьявол, значит, еще не умер. Но «проблема» наводит меня на мысль, что совесть умерла. Наука ее убила. Боюсь, что все это были наукой (без ее ведома, конечно) просвещенные молодые люди. Да и наркотическая услада ею (без ее ведома, конечно) доставлена была им. Имелись у нас раньше и совесть и сознание. Осталось одно сознание (до наркотиков и после них). Совести ведомы грехи. Сознанию известны одни проблемы.

Энтропия духа. — «Обязательное громковещание» справедливо названо в «Раковом корпусе» (стр. 218) «поощрением умственной лени», и хорошо о нем сказано: «Это постоянное бубнение, чередование незапрошенной тобой информации и невыбранной тобой музыки (еще и не к настроению поданной) было воровство времени и энтропия духа»; но, как ни горько это, Солженицын неправ, когда пишет о нем, что оно «почему то зачтенное у нас повсюду, как признак культуры, есть напротив, признак культурной отсталости». Признак некультурности, совершенно верно, но передовитости в той цивилизации, которая постепенно культуру изгрызает, опустошает и научается все больше совсем обходиться без нее.

Сидел я однажды на Лидо в беседке, наполовину плющем заросшей, с чудным видом на Венецию. Народу в этом несуществующем больше кафе было не много, и как-то в нем все равно что светлее стало, когда вошли Он и Она — новобрачные несомненно — стройные, высокие, превосходно одетые; она — красавица, да и только; на редкость и он хорош собой. Сели за

столик, откуда Венеция почти не была видна, заказали многоцветное и от взбитых сливок рококоистое мороженое, но еще и ложечек в руки не взяв и друг другу не сказав ни слова, транзистор свой на столик поставили, и тля-тля-тля млик-мляк застремотала плюгавенькая музычка. Сидели, слушали молча, мороженым ублажались даже и не глядя друг на друга. Я зато глядел, любовался ими; приезжие, но не иностранцы; из Милана, может быть, или Рима; безукоризнены; самого лучшего круга и тона. Мороженое кончили, так ни слова и не произнеся. А транзистор старался. Пел, болтал, забавлял, товары предлагал, развлеченья перечислял, музычкой поновее угощал: дзииииииии брдлок птруй шъящ. Такое все мелкое, пустое, ничего не говорящее. Они слушали молча. Полчаса. Потом встали, транзистор убрали, пошли к выходу, на Венецию не взглянув.

Скучно на этом свете, господа.

Любви нас не природа учит. — Кто ж тогда или что? Пушкин сперва написал: «А первый пакостный роман». Стих получился неплохой; он его зачеркнул, однако, и написал: «Любви нас не природа учит, / А Сталь или Шатобриан». Как мы должны быть благодарны ему за раздумье, приведшее к этой перемене! Природа нас учит совокуплению, а не любви. Пакостные книжки, толки, картинки — обмозгованию, подогреванию и осложнению похоти; предание («Сталь или Шатобриан») учит нас именно любви. Любовь есть часть культуры, а не природы. Предание ей нас учит, как оно же нас учит языку: без родительской помощи, без помощи людей, мы ему не можем научиться. «Христианами не рождаются, а становятся», сказал Тертуллиан. То же и о людях вообще следует сказать, поскольку «человек» не чисто зоологическое понятие.

Заветы гуманиста. — На выставке 69-го года в Роттердаме, по случаю пятисотлетия Эразма, висели плакаты с четырьмя отлично выбранными, по их характерности, изречениями его. 1. «Другим, чем какой я есть, быть не могу». 2. «Люди, поверьте мне, не рождаются, а образуются». (Слова воспитателя; в буквальном переводе: формируются). 3. «Всегда, постоянно хотелось мне быть одному». 4. «Желал бы я быть гражданином Вселенной, чтобы принадлежать всем, но и этому предпочел бы все не быть гражданином».

Какой регресс, рядом с этим, весь наш прогресс! И заметим, что ни о какой гуманности, ни о каком зоо-гуманизме у этого гуманиста речи нет. Нельзя, конечно, и без гражданственности, а главное без простой человечности обойтись, — Эразм этого не отрицал, от христианства не отрекался; но ведь и христианство от человека не требует только человечности. Это наше время, отрекшись от христианства, и гуманизмом все чаще называет — в России всегда — только то, пусть и необходимое само по себе, что могло бы войти в устав Общества Покровительства Животных. Конечно и этот устав больше полувека нарушается у нас *именно в отношении людей*, при благосклонном безразличии остального человечества. Так что и для монополии зоо-гуманизма есть (по крайней мере у нас) смягчающие обстоятельства. И все таки никому и никакому времени не следует забывать, что благополучие человека еще не гарантирует его достоинства.

Мрачное средневековье. — В начале своего трактата о монархии, Данте пишет: «Все люди, которым высшая их природа внущила любовь к истине, пекутся прежде всего о том, чтобы, как сами они насыщались трудами древних, так и им было бы дано труд свой передать потомкам, дабы и те питались им».

Так, во все века, вплоть до нашего, пишущие, творящие, мыслящие люди жили мечтой о том, что найдут читателей в потомстве (как писал Баратынский), что их творения или труды понадобятся кому-нибудь, после них. Будетяне, которыми нынче полон мир, надежду эту разрушают и уже в значительной степени успели разрушить. Стендаль предсказал, что его начнут понастоящему читать через полвека после его смерти, и предсказание это в точности сбылось. А нынче, кто может быть уверен, что его будут читать через пятьдесят лет? Может быть в 2020-ом году и вообще больше читать не будут. Наша живопись, скульптура уже и сейчас с невиданной доселе решимостью оторвалась от своего прошлого; музыка идет к тому-же. Через пятьдесят лет будут ли вообще понятны адептам этих новых искусств Моцарт или Корн? Мне со слезами на глазах рассказывал в Мюнхене преподаватель одной из лучших тамошних гимназий, о том как стали готовить его ученики, полузврёслые уже балбесы, когда он им прочел знаменитый стих Гете из «Ифигении». Ха-ха-ха! «Землю греков» — вот умора — «ища душой» — тыыы! Ха-ха-ха-ха!

Лучезарные времена! — Какие? — Да почти любые. Не одно это, «мрачным» некогда прозванное и теперь вновь прозываемое (не одними неучами) «средневековье». Все времена, которым будущее не представлялось начисто отрезанным от прошлого. И когда... Ну да что там! «Греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана» — это Пушкин (зрелый Пушкин) всего лишь об «Орлеанской девственнице» Вольтера писал, в совершенно идиллической (по сравнению с нынешней) николаевской России, когда не было еще никаких сил, которые могли сделать это поругание и осмеяние обязательным, и когда оно не могло стать массовым, потому что не было еще никаких масс.

Вогнать в пятак. — «Что было недоступною роскошью для немногих, то, благодаря цивилизации, делается доступным для всех: на севере ананас стоит пять, десять рублей, здесь — грош; задача цивилизации — быстро переносить его на север и вогнать в пятак, чтобы вы и я лакомились им». (Гончаров, «Фрегат Паллада»).

Насчет ананасов не возражаю, хоть и верно (и на многое распространимо), что там, где они вызревают, они остаются все таки вкусней. Но цивилизация дьявольски всерьез приняла поставленную ей не одним Гончаровым задачу: при помощи фильма, телевидения, радио, цветных репродукций и массового туризма, вогнала в пятак Шекспира, Сервантеса, Баха, Рембрандта, Италию, Грецию, религию, правду, любовь. Вогнать в пятак, это не значит открыть к чему-нибудь доступ (свободный и прежде); это значит подменить пейзаж открыткой, а потом расстоптать и уничтожить пейзаж; это значит открыточным сделать и само восприятие его и чего угодно; а в конечном счете все музейные и книжные и концертные «лакомства» (которые пустьным лакомством только для цивилизацией наскоро отшлифованных лакомок и были) превратить в карамельки, пусть и разноцветные, пусть и в неодинаковые бумажки завернутые, но которые вынимаются всеми из той же коробки и сосутся вперемешку, так что сосущий порой и не замечает, какой у него во рту — лимонный или вишневый леденец.

Легковерные девы. — Не усмехнуться ли мне слегка над самим собой?

И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.

Нет, отделил я «поздний ропот» от всего остального, прежде чем из него заглавие себе мастерить. И уж в самом деле поздний! Легковерным девам — у-у-у как они далеко, на другом берегу — и не счились такие сроки. Сам же я легковерием особым никогда не отличался: с юных лет не верил ни в Революцию, ни в Прогресс. Легковерными девами называю издавна тех, кто идолов этих ароматами обкуривали, венки возлагали на их алтарь (потому что, алтарь — один; разница между П и Р только в темпах). И особенно тех интеллигентов западных, которые Великую Социалистическую восхваляли, прославляли, самыми горячими ласками ласкали, а потом — ах, ох, увы — покаянные слезы проливали, а мы их обнимали, поздравляли... Но кручились они не долго, и если в чем себя упрекали, то разве что в доброте сердечной. Никогда, никто, ни разу — в глупости.

Друзья России. — Таких, как те, о которых будет речь, много у нее повсюду. Эти два — французы, и люди не вовсе незаметные. Одного из них я издавна читаю; это престарелый автор очень недурной «Истории Европы», публицист и критик Эмманюэль Берль. Другого знаю лично, познакомился с ним, когда он был совсем молод, не стар он и теперь; это Жан д'Ормессон, с недавних пор директор «Фигаро» и член Французской Академии. Так случилось, что на столбцах того же «Фигаро» они оба высказались — первый в начале 75-го, второй в конце предыдущего года — о своей любви к России. Берль, по случайному поводу, в номере от 11 января упомянул, что был в свое время сторонником «Мюнхена», т.е. соглашения с Третьим Рейхом, но из чистого миролюбия, извольте заметить, а не как другие, из ненависти к России, «которую я, — пишет Берль, — всегда любил». Не сообщает только, что ему всего больше в ней нравилось — раскулачиванье, лагеря, процессы, где обвиняемые взапуски признавались в несодеянных ими злодеяниях, или быть может сам Отец Народов.

Что же до второго друга России, то в передовице своей газеты он, 7-го декабря (день отъезда Брежнева из Парижа), хоть и вспомнил Солженицына, но тем не менее заявил: «Мы — друзья русского народа и его правителей». Так что и притесни-

телей друзья и притесненных; и тех, кого сажают в сумасшедшие дома, и тех, кто избавляется этим способом от «инакомыслящих». — Таково и впрямь большинство западных «друзей России».

Сварливый старческий задор. — Быть может любезный читатель успел уже применить к моим записям этот стих любимого моего поэта. Что ж, и я ведь о нем все время помнил, но по совести не могу признать себя виновным ни в сварливости, ни в неоправданном «Задоре». Есть и у Пушкина (в черновике и не от своего имени) нечто совсем, как будто, обо мне: «Старых людей обвиняют вообще в слепой привязанности к прошедшему и в отвращении от настоящего». Только я ведь к давно прошедшему привязан, и отвращение пытаю ко многому из того, что началось *задолго до моего рождения*. Пожалуй стариком родился, однако — покуда пишу — не ощущаю себя старым и по сей день. Нет уж, скажу, как Эразм: *Ego alias quam sum esse non possum*.

Наилучшая пословица. — Для русских в России (а по другому и вне России): «Плакать не смею, тужить не велят».

B. Вейдле

НЕОНАЦИСТСКАЯ ОПАСНОСТЬ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Внимание мирового общественного мнения неоднократно обращалось на факт наличия в Советском Союзе неонацистской опасности. Было много поводов к этому и, в частности, такие официозные публикации, как книга Ю. Иванова «Осторожно, сионизм», В. Колесникова «Земля обетованная», произведения Шевцова и т.д. Приходилось обращать внимание на то, что в СССР имеются исключительно влиятельные круги, в качестве своей идеологии избравшие откровенный расизм, целиком и полностью почерпнутый из пропагандистского арсенала нацистской Германии. Эта идеология является, в основном, прагматическим оружием этих кругов в их внутриполитической борьбе за власть с тем, чтобы с помощью примитивных расистских лозунгов сплотить вокруг себя широкие круги правящего аппарата и населения. (Поэтому, такой расистский внутриполитический курс в принципе может сочетаться с гораздо более осторожной, чем нынешняя, внешней политикой и даже со стремлением к изоляционизму).

Хотя эти круги, повидимому, не имеют пока что преобладающего влияния на политический курс страны, они обладают достаточным влиянием, чтобы время от времени добиваться выхода в свет пропагандистской литературы, в которой евреям приписывается стремление к мировому господству, в которой все кризисные явления в международных и внутренних делах объявляются результатом тайного всемирного еврейского заговора. Делается, в частности, попытка реабилитировать нацистскую Германию от обвинений в массовом убийстве евреев во время 2-й мировой войны. Так, например, в книге Колесникова «Земля обетованная» утверждается, что Эйхман был тай-

Эту статью М. Агурского с двумя приложениями к ней мы получили из Самиздата. РЕД.

ным еврейским агентом, так что массовые убийства евреев были делом рук самих евреев.

Для того, чтобы хоть как-то прикрыть зловещий неонацистский характер всей этой пропаганды, ее авторы пытаются создать впечатление, что они являются врагами лишь сионизма, а не евреев, как нации.

К сожалению, такой неуклюжей маскировки было достаточно, чтобы ввести в заблуждение определенные круги левой западной интеллигенции, жаждущей видеть в Советском Союзе вожделенный уголок земного Рая. Так, например, преподаватель Калифорнийского университета Этель Данн утверждала в американском журнале «Нью-Йорк ревю оф бускс» (1973, 19 ноября), что книга Ю. Иванова направлена только против сионизма, как политического движения среди евреев, а не против евреев в целом.

Однако, неонацистские выступления Иванова, Ю. Жукова, В. Маевского, Шевцова, Колесникова, Евсеева и др. это лишь верхушка огромного неонацистского айсберга, беспрепятственно плавающего в водах Советского Союза. Одной из главных форм неонацистской пропаганды в СССР являются неофициальные лекции, зачитываемые огромным штатом пропагандистов в бесчисленных советских предприятиях и учреждениях. Именно эти лекции, а не официальная печать, формируют, в основном, советское общественное мнение. На этих лекциях, зачастую, преподносятся самые фантастические вымыслы, изобретаемые в особом секретном учреждении, занимающемся т.н. «контрпропагандой».

Именно, с помощью таких лекций среди населения распространялись нелепые вымыслы о Солженицыне, что показано в книге Жореса Медведева «Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича», а также в интервью самого Солженицына, данном в августе 1973 года. С помощью подобных лекций среди советского населения были посеяны ложные слухи о «гибели в результате автомобильных аварий» Светланы Аллилуевой, Анатолия Кузнецова, А. Федосеева с очевидной целью показать населению всемогущество советского возмездия во всем мире.

В последнее время стало также очевидным, что упомянутые выше круги используют в своих целях именно лекционную пропаганду. Примеры чудовищных антиеврейских вымыслов,

приводимых на подобных лекциях, уже сообщались на Запад, а одна из таких лекций, проводившихся в Главном лектории общества «Знание» в Москве, была даже записана еврейскими активистами на магнитофонную ленту. Лица, присутствовавшие в институте Академии Педагогических Наук, занимающиеся проблемой подростков, также сообщают, что один лектор однажды утверждал, что сионисты ставят себе целью добиться мирового господства к 2000 г. и что на картах «Великого Израиля», официально изданных в Израиле, его границы проходят... южнее Киева. Лектор заявил, что борьба с мировым сионизмом будет более тяжелой и кровопролитной, чем борьба с Германией.

Поскольку лекции в СССР ведутся без какого-либо стенографирования, а лица, присутствующие на них, из-за боязни преследований не вступают с лекторами в полемику, эта форма пропаганды производит на слушателей сильное впечатление, тем более, что все лекторы имеют статус официальных партийных пропагандистов.

Однако, тайную неонацистскую идеологию невозможно долго сохранять в тайне, несмотря на все меры предосторожности. В последнее время общественному мнению стали доступны некоторые документы, показывающие подлинный характер современного советского неонацизма.

Один из этих документов появился еще в ноябре 1971 г. Это т.н. «Письмо Ивана Самолвина Солженицыну», где Солженицын обвиняется в содействии мировому сионизму, а Советский Союз, как утверждается, находится всецело под властью евреев, которые якобы осуществляют контроль и над самим правительством (см. приложение № 1). Этот документ договаривает все, что недосказано Ю. Ивановым.

Как известно, в том же 1971 г. в Советском Союзе начал издаваться первый легальный рукописный журнал русского национального направления «Вече», основателем и редактором которого стал Владимир Осипов.

Этот журнал начал объединять вокруг себя людей, которым были дороги русские национальные и религиозные идеалы, в настоящее время приносимые в жертву интересам советской политики и обветшалым идеологическим лозунгам.

Есть много оснований полагать, что упомянутые выше политические круги, решили, впрочем с большой осторожностью,

использовать русское национальное движение, возникшее стихийно, в своих целях. Повидимому, они надеялись сделать журнал «Вече» своим неофициальным рупором, но так, чтобы при необходимости от него всегда можно было отмахнуться.

Несмотря, однако, на всю противоречивость позиции, занятой авторским коллективом этого журнала, его все же не удалось превратить в неонацистский. Это с полной определенностью выявилось к концу 1973 г., причем одним из главных препятствий к этому оказалась позиция таких русских христианских националистов, как Владимир Осипов, Леонид Бородин, иеродиакон Варсонофий (Хайбулин) и др.

Именно в этот период вокруг журнала «Вече» началась острая борьба, закончившаяся в начале расколом в его редакции, а затем возбуждением судебного дела против журнала «Вече» и его окончательной ликвидацией.

Исключительно красноречивым документом неонацистской критики журнала «Вече» является анонимный документ, направленный в редакцию из этих кругов, недавно ставший достоянием общественности. (см. Приложение № 2). Поскольку можно установить, автором документа является вполне определенная личность, поддержанная некоторыми полуофициальными кругами.

Впрочем из фантастического списка «будущего правительства» России, в которое курьезным образом, включены эстрадный артист Райкин и популярный певец Высоцкий, можно косвенно заключить, что автор принадлежит к кругу т.н. «деятелей культуры и искусства», испытывающему сильнейший комплекс неполноценности по отношению к любым известным людям.

Документ полностью тождественен нацистской пропаганде гитлеровской Германии. Автор лишь заменяет термин «еврей» на «сионист», а «арийский» на «индоевропейский». Впрочем ему не всегда удается пользоваться термином «сионист», так что в одном месте, настаивая на необходимости введения процентной нормы для евреев, прямо называет их по имени. Характерно, что автор называет русских — старейшим из индоевропейских народов, т.е. по существу, высшей расой.

Автор недвусмысленно призывает уже к физическому уничтожению евреев, выдвигая лозунг «Смерть сионистским захватчикам», угрожая русским в противном случае тем, что они будут все перебиты евреями.

Характерен намек на то, что евреи будут пользоваться для этой цели газовыми камерами, что явно преследует цель приписать все злодеяния немцев во время войны... евреям, что впрочем официально утверждалось в книге Колесникова и неофициально в «Письме Ивана Самолвина».

Исключительно важной чертой данного документа является то, что христианство и православная церковь осознаются современными советскими расистами, как главное препятствие на своем пути. Они объявляют его врагом № 1. И в самом деле, как мы видим, христианство в русском национальном движении уже оказалось мощным препятствием для неонацизма. Именно поэтому, расисты с такой яростью обрушаются на тех, для кого христианские идеалы являются первостепенной духовной ценностью, а именно на христиан — членов редакции «Вече», а также на таких людей с национально-христианской ориентацией, как Солженицын и Шафаревич. Кроме того, расисты с резкой враждебностью нападают на русское оппозиционное движение, разделяющее общегуманистические идеалы.

Какие же выводы можно сделать из всего этого?

Прежде всего следует отметить, что политические круги, решившие опереться на расизм и неонацизм, играют опасную игру. Если есть силы, которые желают подобным способом избавить страну от существующей идеологии, им следовало бы понять, что таким путем они лишь развязнут руки темным стихиям, которые вместо оздоровления национальной и государственной жизни в короткий срок доведут страну до полной катастрофы. Невозможно пустить в силу столь иррациональный элемент, как расизм, не сделав иррациональной всю политическую жизнь.

Представляется весьма очевидным, что единственной реальной альтернативой для тех, кто действительно хотел бы возродить жизнь России на новой основе, было бы принятие (разумеется, в ее основе) той гуманистической программы, которую предложил в своем «Письме к вождям» А. Солженицын. К сожалению, западное общественное мнение принимает эту программу едва ли не за крайний русский национализм, не понимая, что только она является единственно гуманистической альтернативой в России расизму и неонацизму.

Однако, пока что мы наблюдаем, что здоровые силы в рус-

ском национальном движении подавляются, а неонацизм постоянно усиливается.

Во-вторых, следует во всеуслышание заявить, что над еврейским населением СССР нависает смертельная опасность. По всей видимости центральное руководство, запутавшись в своей авантюристической политике на Ближнем Востоке, все более вынуждается пользоваться неонацизмом для оправдания своих неудач. Кроме того внутренняя эволюция в стране не оставляет никаких надежд на то, чтобы еврейский вопрос в СССР утратил свою остроту, и перестал быть объектом исторически сложившегося конфликта.

В виду этого можно лишь повторить, что утверждалось много раз. Единственно, что могло бы избавить евреев от новой национальной катастрофы, а Россию от острого внутригосударственного конфликта, это массовая эмиграция евреев в Израиль. Тот, кто этого не понимает и сознательно этому препятствует, способствует новой трагедии еврейского народа. Поэтому призывы таких людей, как Эткинд к еврейской молодежи, не уезжать из СССР, а бороться за изменение существующей в стране системы, являются безответственными. Они, к сожалению, показывают полное непонимание происходящего.

Имеется еще один вывод, который евреи могут сделать из происходящих событий. Они должны, наконец, понять, что только христианская цивилизация, только христианская религия остается наиболее могущественным барьером на пути расизма и неонацизма, вновь надвигающегося на мир.

К сожалению, расисты и неонацисты лучше понимают близость и родство иудаизма и христианства, чем это понимают сами евреи или христиане. Жизнь показывает, что антихристианство есть в то же время и даже прежде всего антисемитизм. Таков урок истории...

Следует, наконец, обратить внимание на то, что советский расизм выступает уже не как атеизм, а как новая форма язычества, точно так же, как выступал германский национал-социализм.

Все это дает мне право обратиться с призывом как к верующим евреям, так и к христианам объединиться на борьбу против неоязычества, которое, как показал опыт нацистской Германии, является одной из страшных угроз человечеству.

Михаил Агурский

Приложение № 1

ПИСЬМО СОЛЖЕНИЦЫНУ

Когда появился «Матренин двор», я подумал, что Вы станете великим русским писателем. За рубежом вышел Ваш новый роман «Август 14-го», и сразу стало ясно, кто Вы и что Вы, Солженицын. Стало ясно, что писатель Вы синтетический, пытающийся соединить литературные приемы Дос Пассоса с шолоховскими. Иногда проглядывают неудачные подражания Достоевскому и Толстому. Но Бог с ним с Вашим стилем... Для меня более важно то, что эта последняя вещь «осветила» темные закоулки Ваших предыдущих романов, вызвавших необычайный интерес из-за сенсационной лагерной темы.

Сперва я прочел «Раковый корпус». Во-первых, мне было не приятно уже одно то, что самому отрицательному персонажу Вы дали многозначительное имя «Русанов» (от «русский»?). Самый положительный у Вас — хирург с волосатыми руками, еврей,¹ посмеивающийся над процессом врачей. Во-вторых, Вы недвусмысленно дали понять, что в 20-е гг. все было едва ли идеально... Кстати, все лучшие хирурги сейчас — русские, трудяги, мастера, а поликлиники забиты врачами-евреями. И начало этому было положено именно в 20-е гг., когда в медицинских вузах каждый второй студент был еврей — 44,8% (Ю. Ларин, «Евреи и антисемитизм в СССР», 1929 г.). А для чего это было нужно и вообще о 20-х гг. я еще скажу.

В «Круге первом» Вы действовали осторожно. Вывели несколько евреев заключенных, этаких заблудших овечек, подличавших едва ли не с благородными соображениями, «идеалистов». В обильных лагерных отступлениях у Вас не найдешь упоминания, что Натаан Френкель был начальником ГУЛАГА, Берман — начальником строительства Беломор-канала, Коган — начальником строительства дороги Котлас-Воркута² и т.п. Что карательная, вся лагерная система создавалась и руководилась евреями. Но об этом потом...

И все равно было интересно читать эти романы, т.к. в них рассказывалось о чем-то запретном, тайном, скрытом. Прощались промахи. Пошлый детективчик — именно в таком стиле «В круге первом» подана сложная фигура Сталина, из которого Вы сделали злодейского идиота, окруженного гнидами... Роман о событиях 1914 г. не обладает такими «привлекательными» качествами, в романе «Август 14-го» Вы стараетесь добиться правдоподобия, которое скрывает правду лучше лжи. Но мы то знаем, что происходило во втором десятилетии нашего века...

Роман начинается с того, что Исаакий Ложеницын (Ваш отец — Исаий Солженицын?) хочет поступить в Харьковский университет,

но этому христианину отказывают «как еврею», уже была у них процентная норма выполнена. Ложь здесь примитивная. Достаточно заглянуть в книгу Юлия Гессена «О жизни евреев в России» (1906 г.), чтобы получить справку — каждый четвертый студент в Харьковском университете был евреем (23,4%). Норма для евреев была 5%, но ее не придерживались ни в одном российском университете. Для крещеных евреев нормы не было вообще. Следовательно, ни о каком антисемитизме в России речи и быть не может. Расовых ограничений не существовало. Был антииудаизм, т.е. неприязнь к религии, заставляющей евреев ненавидеть всех, кто не принадлежит к «избранному народу».

Не будем останавливаться на содержании романа, в котором Вы на примере разгрома наших войск в Восточной Пруссии в 1914 г. стараетесь доказать, что русские по сравнению с немцами и евреями,³ сущее дермо. Описаны боевые действия, кстати, весьма монотонно. Русские солдаты у Вас грабители, мародеры, сукины сыны.⁴ Младший офицер, прапорщик Ленартович высказываетя так: «Еще эту гнусность (Россию!) достраивать! Ломать ее нужно без сожаления!»⁵ Старшие офицеры и генералы все сплошь неучи и болваны⁶ или юродствующие во Христе, и только потому проигрывающие бои и битвы. Что ж, было и такое! Но у Вас нет ни слова об истинных причинах поражения и развала. Нет и следа гнусной деятельности банды евреев-капиталистов, которым принадлежала почти вся пресса и большая часть промышленности России. Нет Распутина,⁷ выставленного и используемого для разложения страны кликой Винавера и АRONA Самуиловича Симановича, нет предательства, нет Митьки Рубинштейна и других международных банкиров-сионистов, стремившихся сокрушить Россию во что бы то ни стало, нет науськивания друг на друга русского и немецкого народов, на крови которых лондонские, парижские и венские Ротшильды, русские Поляковы и Гинцбурги выпекали свое золото...

А как Вы относитесь к русской истории? «Люди образованного круга уверены, что русская история может вызвать только смех и отвращение, да и есть ли она вообще?... была ли?»⁸ Эти слова не вложены в уста ни одному персонажу, а речь на этой странице идет о генерале Нечволовове, который, по Вашему выражению, «занялся своим безудачливым курсом русской истории для простого народа». Очевидно, Вы подразумевали многотомный труд Нечволовова «Сказания о русской земле». В «Послесловии» к русскому зарубежному изданию 1972 г. Вы утверждаете, что Вашу книгу печатать в нашей стране нельзя, т.к. слово Бог здесь пишут с маленькой буквы, а КГБ с большой. Казалось бы, истово православный Нечволовов и его труд, где пересказаны жития многих русских святых, должны Вам нравиться, но Ваше православие — тоже поза и фальшь. Щегольство

знанием поговорок, обычаяев, праздников, а не вера ведет Ваше кощунственное перо по бумаге. Христа, и того Вы называете евреем, хотя даже я, человек православный только в силу крещения и не сведущий в богословии, понимаю, что Богу национальность ни к чему.

А конец-то романа у Вас каков? В доме некоего еврея, хозяина фирмы, Ильи Исааковича, облеченного всеми симпатиями автора, обедают бывший анархист Ободовский и младшее еврейское поколение — Наум, Соня. Ободовский мечтает о развитии производительных сил в России и приводит расчет Менделеева — к середине XX столетия населения России будет больше трехсот миллионов (спасибо за цифру, мы к ней вернемся).

— Это в том случае, — подмечает добрый еврей-капиталист, — если мы не возьмемся выпускать друг другу кишки. Он, Илья Исаакович, против революционного экстремизма Наума и Сони, против бросания бомб, он даже «за Россию», за «этую вонючую монархию». «Какую ты Россию собираешься строить? — кричит, поигрывая бриллиантами революционерка Соня. — Вон, читай, на курсы сестер милосердия принимают — только христианского вероисповедания! Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать!» (Кстати, тифозному Пуришкевичу они яд в вино подсыпали в госпитале — об этом сам Симанович писал в воспоминаниях. Ну, да Бог с ним, с Пуришкевичем, он же черносотенец!).

— С этой стороны — черная сотня! С той стороны — красная сотня! — говорит добрейший Илья Исаакович. — Раздавят.

Сколько же здесь нагромождения лжи! Да откуда взяться у Ильи Исааковича мыслям о «созидании России», если иудейская религия (а он верующий) учит его, что неевреи «хуже собак», что еврею вменяется в обязанность всячески обманывать неевреев (гоев, акумов), что «неевреи должны рассматриваться евреями не как люди, а как животные» (Талмуд, Иебамоф, 61), что «дети неевреев не могут быть и сравниваемы хотя бы с незаконнорожденными или с идиотами еврейского происхождения» (Шульхан Арух)⁹ ...И еще Илья Исааковичу с раннего детства внушили, что он принадлежит к избранному народу, предназначение которого — покорить все другие народы, заставить их работать на себя, «пасти народы жезлом железным». Об этом знал и писал еще Цицерон...

Но не будем углубляться в историю. Вернемся к тому, чего не мог не знать еврей с высшим образованием Илья Исаакович. Да и приходилось ему платить «шекель» — налог золотом (как платят во всем мире и сейчас) чтобы были средства у организации, борющейся за утверждение мирового господства евреев. Не мог он, Илья Исаакович, не знать документов Всемирного еврейского союза (Хавура кол Израэль Хаверим), одним из учредителей которого был в 1860 г. Кремье, гроссмейстер французских масонских лож. «Мы

живем на чужбине и не можем заботиться об изменчивых вожделениях совершенно ЧУЖДЫХ нам стран... Израильяне! Куда бы ни разбросала нас судьба — по всем концам земли, всегда смотрите на себя, как на членов избранного народа... Сеть, раскидываемая Израилем поверх Земного шара, будет расширяться с каждым днем, и величественные пророчества наших святых книг обратятся, наконец, к исполнению... Уже недалек тот день, когда богатства земные перейдут в собственность детей Израиля!...» И тот же Кремье советовал: «Смотрите на правительственные должности как на ничто. Вздохом считайте всякие почести. Махните рукой пока на самые деньги. Прежде всего — захватите прессу и тогда все прочее придет к вам само собой!»

Евреи не ограничились прессой, захватили через свои банки деньги всего мира. Власть капитала — их власть. Марксу нельзя было не сказать об этом: «еврей присвоил себе денежную власть... Какова мирская основа еврейства? Практическая деятельность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги...» (Маркс и Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, стр. 408). Правда, Маркс считал, что с наступлением социализма еврей перестанет быть евреем.

Солженицын, внимательно ли Вы читали упоминаемого Вами всеу Достоевского? Это он писал, что после отмены крепостного права русский крестьянин попал в руки евреев, что «немецкие хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же старались не разорить своих крестьян, пожалуй, для себя же, а еврею до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел». И еще сказал он, отвергая утверждение что русский человек будто бы антисемит: «Ну, что если бы в России не евреев было три миллиона, а русских, а евреев было бы 80 миллионов — ну, во что бы обратились у них русские и как бы они их третировали? Дали бы им селиться среди них свободно? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали бы кожу совсем? Не избили бы до тла, до окончательного ИСТРЕБЛЕНИЯ, как делывали они с чужими народами в старину, в древнюю свою историю?» (Не подтверждается ли это в Израиле, Солженицын?) И когда Достоевскому говорили, что так думают только «темные» религиозные евреи, он отвечал, что нельзя себе представить еврея без Бога, «не верю я даже в образованных евреев-безбожников: все они одной сути и еще Бог знает, чего ждет мир от евреев-безбожников». Всякий может прочитать это в «Дневнике писателя» за 1866 г. Там еще приведены стихи:

И сребро, и добро, и святыню
Понесем в старый Дом, в Палестину.

Когда в конце прошлого века у еврея-журналиста Герцля «вдруг» появилась трогательная идея вернуть евреям «старый дом», основать

государство Израиль, то это было лишь прикрытием другой идеи — создания уже не тайной, а явной СИОНИСТСКОЙ организации для еще большего сплочения евреев всего мира в борьбе за мировое господство. Профессор Киевского университета Мандельштам на заседании Еврейского конгресса 29 августа 1898 г. высказался так: (далее все цитаты приводятся по изданным в последнее время книгам, где есть ссылки на иностранные источники)¹⁰: — «Евреи самым решительным образом отказываются от ассоциации с другими нациями и остаются верны своей исторической надежде на осуществление обещанного евреям Иеговой ВСЕМИРНОГО ВЛАДЫЧЕСТВА». Это их главная цель. И она остается неизменной. Уже в Иерусалиме, в 1965 г. на XXVI сионистском конгрессе председатель Международной сионистской организации Гольдман подтвердил, что задачей сионизма является «использование израильского государства для осуществления главной цели сионизма. Государство НИКОГДА не было целью сионистского движения».

Вернемся к Герцлю. «Для пропаганды наших идей, — писал он в книге «Еврейское государство», — нам незачем созывать собрания с их неизбежной болтовней, эта пропаганда войдет как составная часть в БОГОСЛУЖЕНИЕ». Круг замыкается. Страшный круг, который еврейские сионисты изображают в виде змеи, обвившейся вокруг земного шара и душающей все на нем живое. То, что я скажу дальше, известно нынче уже почти всем. Когда-то Герцль мечтал, что «богатым евреям, принужденным теперь прятать свои сокровища и пирожить при опущенных шторах, там можно будет свободно наслаждаться жизнью». Этого не понадобилось. Богатым евреям придется теперь все на Западе:

а) Политическая власть (все десять советников президента Никсона — крупные сионисты. Без еврея Киссинджера он не смеет ступить ни шагу. Гольдберг в ОНН, Линкович в ОАР, Абрам Фортас в Верховном Суде, Джавитс в Сенате и т.д. Ими подстраивается комедия «демократических выборов»). Они убрали со своего пути ирландцев Кеннеди. Президент Франции Помпиду — бывший служащий дома Ротшильдов. Члены всех западных правительств либо евреи, либо масоны (это тайная политическая организация со множеством ступеней, подчиняющаяся без рассуждений синедриону — еврейскому руководству. Нет такого политического преступления за последние несколько сотен лет, к которому масоны не приложили бы руку. Сделать политическую карьеру может только масон).

б) Земные богатства, золото, банки, заводы, земли. Все, что в нашей сети политпросвещения называется капитализмом, империализмом, биржевыми сделками, эксплуатацией, угнетением и т.д. и т.п. — все это относится к богатым евреям. Я мог бы Вам целый день без отдыха перечислять названия компаний и европейских капиталистичес-

ких династий, но они и так часто встречаются в газетах. Только почему-то стыдливо умалчивается национальность владельцев и эксплуататоров. Часть выколачиваемых из трудящихся евреев денег идет на содержание паразитического государства Израиль, но в основном тратится на искоренение нееврейских традиций, образа жизни и мышления, духа, чтобы окончательно обезоружить другие нации и приблизить час еврейского господства.

в) Печать, радио и телевидение. Да, да, все эти главные газеты и издательства, которые так охотно публикуют Ваши высказывания и романы, принадлежат евреям. Вы не задумывались, Солженицын, почему им хочется Вас печатать? Не из любви ли к России? Почему не проникает в печать ничего, кроме хвалы евреям? Почему замечаются следы убийств? Я о многом еще скажу, а пока вернемся в Россию, которая дышит революцией, и к нашим старым и молодым евреям, которые «страстно» желают помочь ей. Помогли! Особенно, в Петрограде, устроив распутинскую свистопляску, посадив к власти Штюрмера, организовав голод в рабочих кварталах (богатые поставщики — евреи не голодали). И народ сам разделался с режимом, просто перестав повиноваться. Но в русскую народную форму власти, в советы хлынули евреи — эсеры, меньшевики, трудовики и прочая сволочь. Ликовали кадеты — масон Милюков и еврей Винавер. Уже пробрался к власти масон Керенский. Роптали все. 24 мая 1917 г. открылся 7 Всероссийский сионистский съезд, на котором Идельсон кричал: «Да здравствует свобода, да здравствует сионизм!» и поставил задачу создать в Палестине национальную метрополию для всех национальных колоний («Еврейская неделя», 1917, № 22, стр. 7). Именно так и стоял вопрос — сделать Россию колонией Израиля. Юнкерские училища были более чем наполовину укомплектованы евреями. И А. Клейман торжествовал: «Быть может, скоро, через два, три, четыре года — наступит то время, когда в общегосударственной законодательной палате будут по преимуществу раздаваться голоса евреев» (там же № 33). Да, так они и писали, думали — власть в руках, промышленность — в руках, дураки русские будут работать на них. Сами они работать не собирались. Как это ни смешно, у них в Талмуде есть угроза не слишком ревностным иудеям: «Вам придется исполнять все работы самим вместо того, чтобы поручать их другим» (Трактат. [М. А. — так в оригинале] гл. 6).

Но был Ленин, который выступил против сионизма категорически — как против буржуазного течения. Была партия большевиков, в срединной и рядовой части которой состояло евреев гораздо меньше, чем в других партиях,¹¹ называвших себя революционными. Были рабочие и солдаты, которые стали замечать, что в какой орган власти ни tolkniscь — одни евреи. Еврейская пресса стала отмечать

повседневный рост антисемитизма в массах и переход их на сторону большевиков. Уже раздавались сетования — что же мы делаем — во всех органах сидят Либер, Дан, Гоц, и еще раз Гоц, Либер, Дан. Фамилии надо менять! Часть, во главе с Троцким-Бронштейном, была переброшена в партию большевиков, которую Ленин упорно вел к социалистической революции. И нужна была русскому народу эта революция, нужна народу, привыкшему к общинному строю, осатаневшему от буржуазно-еврейского хозяйствования.

Революция свершилась. Негибкие сионисты плакали о «потерянной свободе», пытались организовать юнкерские и прочие мятежи, предали Ленина «харене» (М. А. — так в оригинале) — еврейскому проклятию и даже приговорили к смерти. Исполнить приговор должна была Фани Каплан, появившаяся на горизонте ниветь откуда за месяц до покушения. От яда курапе, которым были отравлены пули, Ленин так и не оправился, рано потерял работоспособность и сошел в могилу. В ночь с 16 на 17 июня евреи Голощекин и Юровский, с кучкой безграмотных латышей перестреляли всю семью Романовых — девушки, детей, хотя никакой необходимости в этой жестокости не было. Истребление русского народа началось с массового перехода евреев, меньшевиков, эсеров, бундовцев, наконец, в большевистскую партию, где они занимали видные посты. Только в руководстве ЧК их было около 90%.¹² Это была новая тактика сионистов. Даже на конференции организации «Центр-Сион» 2 мая 1918 г. было принято решение: «Мы должны держаться еврейской ориентации: в интересах еврейства должна быть создана Российская Федеративная республика... и во всех отделах большевистского правительства, где мы можем работать, мы должны это делать» (Иванов, «Осторожно, сионизм», стр. 71). Оба пункта программы выполнены — и о республике, и о работе.

Власть в армии захватил Троцкий. Один из его подручных М. Коган писал в харьковской газете «Коммунист» 12 апреля 1919 г.: «Без преувеличения можно сказать, что великая социалистическая революция была сделана руками именно евреев. Разве темные забитые русские крестьяне и рабочие могли бы сами сбросить оковы буржуазии? Нет, именно евреи вели русский пролетариат к заре интернационализма, и не только вели, но и сейчас советское дело находится в их надежных руках. Мы можем быть спокойны, пока руководство Красной Армии находится в руках Льва Троцкого. Правда, евреев нет в рядах Красной Армии в качестве рядовых. Зато в комитетах и советах в качестве комиссаров евреи и сейчас бесстрашно ведут к победе массы русского пролетариата...».¹³ Перечтите эти строки еще раз.

Кстати, Солженицын, богатые евреи типа Вашего Ильи Исааковича получили возможность перевести капиталы за границу и даже

выехать... а их дети захватили все посты в государстве, пока на фронтах рабочие и крестьяне сражались за власть, за землю, за свободу: три миллиона человек сложили головы. А тем временем те, кто бесстрашно сидел в комитетах, проводили продразверстку таким звериным образом, что в 21-22 гг. умерли голодной смертью шесть миллионов крестьян. Но это, так сказать, косвенное уничтожение. А вот прямое.

В первые же годы ЧК расстреляла более полутора миллиона человек. Разумеется, шла война, но наряду с врагами новой власти евреи-чекисты прихватили все самое образованное в России, всех, кто мог послужить новому обществу, а также занять место, на которое метил еврей.

Самое страшное началось после гражданской войны. 95% командного состава Красной Армии (см. у Бонч-Бруевича) составляли бывшие офицеры. Некогда ученые, педагоги, правоведы и т.д., они прошли горнило империалистической войны, охотно стали на сторону революционного народа, обеспечили эффективным командованием победу, а после гражданской войны почти все были уничтожены. В 22-24 гг. Ленин, давший расцвет новой деревне своей экономической политикой, находился не у дел, умирал от последствий ранения. Расстрелами бывших командиров руководил Троцкий и компания. Убито за несколько лет два миллиона человек. Истреблен цвет русской нации. Подбейте итог, Солженицын!

Победа евреев была полная. По опубликованным данным, треть студентов была еврейской, независимо от классового происхождения. В руководители попали либо евреи, либо женатые на еврейках, либо нацмены. Русское искусство, история, культура были оболганы и искажены. Подготовлены на будущее кадры врачей для незаметного устранения некоторых евреев и видных русских, которых было нельзя оболгать и расстрелять. Один из еврейских документов советует, чтобы они с помощью врачей умирали «как бы естественной смертью». Но мучила евреев «проклятая деревня», которая по ленинскому ко-оперативному плану должна была еще полнее ощутить революционные завоевания. Но Иегове нужна была новая кровавая жертва. В дальнейших событиях, Солженицын, Вы обвиняете только Сталина. Постарайтесь стать выше собственной обиды. Он встал у власти, когда машина уничтожения уже была в полном ходу, когда все действия (И. Сталина) были уже запрограммированы, а все нужные мысли вложены ему в голову. Опытные сионисты (а среди них и Лазарь Каганович — см. Ю. Иванов «Осторожно, сионизм», стр. 76) понимали, что нельзя ставить во главе государства честолюбивого Троцкого. Он сделал свое дело. И евреи все равно захватили все ключевые посты.

Коллективизация не была чуждым явлением для русского кре-

стяжанства. Еще не изгладились привычки общинного строя в его жизни, и можно было воспользоваться многовековым крестьянским опытом совместной жизни, хозяйствования, работы. Но этим никто не интересовался. Начались расстрелы и ссылки... Раскулачиванию и ссылке подвергались люди, имевшие две коровы, посылались на смерть все, кто маломальски умел работать. Нарушена была рабочая основа земледелия, и наступивший в начале тридцатых годов голод унес в могилу семь миллионов человек.

А теперь сравните со всем этим один миллион человек, погибших от репрессий в 37-38 гг. Но почему больше всего кричат о 37 году? Да потому, что брали тогда головку общества, а следовательно евреев. Но русских и тогда расстреляли гораздо больше.

Разрушительная работа в тридцатые годы продолжалась. Усугублялось идиотское антипатриотическое воспитание. Только в Москве по приказу Кагановича буквально за один год было уничтожено триста памятников истории и культуры. Сам Сталин отстоял Василия Блаженного,¹⁴ которого евреи-архитекторы предлагали снести, как предлагали они уничтожить Кремль, подсовывая проекты «гениального Корбюзье». Детям вдалбливали в головы «подвиг» Павлика Морозова. В Библии, этой древней истории еврейского народа, есть примеры всяких преступлений, но такой чудовищности — чтобы сын предал отца — и там нет.

Никто не оправдывает жестокости Сталина. Его осудила и сама партия на съезде, еще до того, как появились Ваши книги, Солженицын. Никогда не будет ему прощения за то, что он приложил руку к уменьшению числа русских людей своей национальной политикой. 20 октября с.г. в «Литературной газете» была опубликована статья об этом: «Чтобы быстрее ликвидировать отставание национальных республик, Коммунистическая партия и Советское Правительство развивали их экономику более высокими темпами. Например, уже в 1940 г. производство по стране увеличилось по сравнению с 1913 г. в 13 раз, в национальных же республиках этот рост был намного выше: в Казахстане — в 20 раз, в Киргизии — в 153 раза, в Таджикистане — в 324 раза(!). Эта тенденция... продолжается и теперь...».

Откуда брались эти средства? У русских людей отрывали кусок ото рта и отдавали его другим. И если сейчас в той же Грузии всюду прекрасные дороги, электричество, а у жителей дома — полные чаши, то в северных коренных русских областях нет хороших дорог, в селах живут одни полунищие старики, да и многих сел уже нет совсем. На каждую тысячу человек своей национальности высшее и среднее (специальное) образование имеют 17 русских, 35 грузин и 600 евреев. Говорят ли это за то, что русские менее способны? Чушь! Им не хватает русских учителей и врачей, потому что мы работали

и учили других. И теперь исподтишка стараются развить национальную неприязнь к русскому народу...

Вынеся на своих плечах всю тяжесть войны и потеряв еще больше десятка миллионов, русский народ к 1950 г. насчитывал едва ли треть от того, что ему пророчил, по Вашим словам, Менделеев. «Тенденция продолжается», и низкий жизненный уровень русских приводит к тому, что население России начинает убывать. Один ребенок в семье. Два — это уже непозволительная роскошь. А в некоторых национальных республиках население увеличилось за десять лет почти на 50%. Таковы данные последней переписи, опубликованные в газетах.

В «Круге первом» Вы писали, что Сталин верил только одному человеку на свете — Гитлеру. Это имя связывают с убийством 4,5-6 млн. евреев (если считать, что на их совести 150 млн. убитых и неродившихся русских, то это немного!).¹⁵ Перед приходом Гитлера к власти 80% немецкой промышленности и печати было в руках 30 тысяч евреев, которые все остались в живых, вернулись в Германию, и снова все прибрали там к рукам. Убивал Гитлер не сионистов, не богатых евреев, а бедных, которых еврейские богачи презирали и отдали на заклание. Впрочем, об этом сейчас много пишут. Важно другое — жестокости Гитлера научили сионисты.¹⁶ Да, да. Достаточно ознакомиться с его книгой «Майн кампф», чтобы увидеть, как Гитлер страстью цитировал «Протоколы сионских мудрецов» и как ревностно осуществлял все жестокие рецепты, которые содержались в этой программе захвата евреями золота и власти, будущего управления покоренными народами и т.д. Только заменил евреев немцами. Еврейские авторы утверждают, что «Протоколы» — фальшивка. Не берусь судить. Однако, вызывают сомнение две истины. Первая — такую фальшивку могли изготовить только десяток весьма способных юристов и финансистов, знатоков в самых различных областях. Как их собрали для изготовления такой фальшивки? И вторая истина — больно уж похоже то, что происходит несколько последних десятилетий на программу, намеченную в «Протоколах»...

Как бы то ни было, с именем Сталина русский народ победил, и Сталин воздал должное замечательным чертам русского характера. Война выдвинула на передний план замечательных русских полководцев, государственных деятелей, которые сильно потеснили еврейскую верхушку. За время войны сильно изменилось соотношение в партии и в государственном аппарате. Сталин больше общался теперь с русскими, стал кое-что понимать, а может быть и меньше бояться евреев...

В «Круге первом», Солженицын, Вы только отметили начавшуюся кампанию против космополитизма. Четверо молодых евреев у Вас ведут борьбу с русским начальником «шарашки», всеми правдами и

неправдами стараясь спихнуть и посадить его, чтобы прибрать еще одно учреждение к рукам. Знакомая ситуация! Но у Вас мелькнула фразочка: «В своей травле Яконова «молодые» и думать забыли, что среди них пятерых — четверо евреи». Трудно поверить, что Вы так наивны. Они всегда ненавидят русских, всегда думают о себе, к этому их приучили с детства. При этом они всегда будут любезны, всегда поддержат человека продажного, духовного семита, «Шабес гоя», но только ради того, как учит Талмуд, чтобы «хвалили евреев и говорили: они порядочные люди» (Шулхан Арух, Хошен гамишнат, 266, 1).

В Вашем романе нет ни подлинной обстановки того времени, ни выходов в нынешнее тревожное безвременье. Под давлением обстоятельств Сталин пошел на какие-то уступки русским — стали вспоминать русскую историю, возродили некоторые традиции и т.д. Но даже здесь инициативу перехватили еврейские журналисты и раздули все до абсурда, до издевательства. «Россия — родина слонов». Интересно, что «борьба с космополитизмом» и прорусские декларации сочетались с восхвалением заграничных писателей, художников, деятелей исключительно еврейского происхождения, что впрочем, практикуется и сейчас. Все это совпало с оживлением подпольной работы в еврейской среде, проявившейся и в явной форме. Начался сбор и отправка золота всемирной еврейской организации и в Израиль.¹⁷ А золота во время войны у евреев оказалось много, т.к. продовольственное снабжение находилось почти целиком в их руках. Я сам помню, как моя мать была облагодетельствована неким Абрамом Львовичем, давшим ей за обручальное кольцо целую булку...

Когда евреи были на взлете у нас, они буквально опустошили казну и выудили у населения гигантское количество золота и драгоценных камней через торги и путем реквизиций. Все это ушло за границу за бесценок, потому что государственные оценщики были евреи, а покупатели золота Ротшильды (и прямо, и через подставные фирмы), алмазов — Оппенгеймеры.

Страна выбивалась из сил, латая бреши, нанесенные войной, нависла угроза голода, а золото уходило, и это было одной из причин, сильно настроивших Сталина против евреев. Репрессии были, а заодно «вторые сроки» получали русские. В окружении Сталина евреев оставалось мало, и тогда было пущено в ход испытанное оружие — медицина. Стали странно умирать люди. И если смерть «мелкой сошки» и сейчас расследуется небрежно (врачами-евреями же), то, конечно, смерть Жданова и Щербакова повлекла за собой «дело врачей». Неизвестно, откроется когда-либо причина смерти самого Сталина. Во всяком случае, он умер едва ли не за неделю до официального объявления даты его смерти, и именно в течение этой недели «дело врачей» было прекращено, а врачи — оправданы.¹⁸

Но вот «невинно пострадавшие» и как бы очищенные от прежних преступлений против русского народа евреи хлынули в столичные пределы... Это уже события сравнительно недавние, они всем памятны.

Перейдем же сразу в год 1971 г. Мировой сионизм так окреп, что позволяет себе покрикивать не только на правительства буржуазные. Советский Союз для него — бельмо на глазу, потому что здесь есть еще евреи, не охваченные организацией. Потому что, в силу ленинских заветов, наше руководство обязано занимать определенную политическую позицию на мировой арене, выступать против обнаглевшего сионизма. Между сионизмом и империализмом сегодня можно поставить знак равенства.

Постоянное давление извне снова привело к активизации сионистских сил в стране. Они в печати, на радио, в телевидении. Они ведают материальным и техническим снабжением.¹⁹ Они проникают в друзья и советчики тех руководителей, у которых жены — еврейки.²⁰ По сути, они опять руководят у нас всей политикой и готовят новое истребление. Ни для кого не секрет, что чехословакские события были инспирированы мировой сионистской организацией через гольдштюкеров. У нас в один прекрасный день могут расстроить всю систему снабжения.²¹ Не будет ли это в первый день войны?

Судя по всему, Солженицын, Вам нравится буржуазно-еврейская демократия. Если бы такое случилось у нас, то еврейское мировое владычество можно было бы считать совершившимся фактом. Хотите ли Вы быть рабом, Солженицын? Я — нет! Лучше умру с оружием в руках. А война может быть. Ведь недаром американский сионист Киссинджер все сводит Никсона с Мао.

Меня уверяют, что Вы смелый человек. Легко быть смелым, когда печатаешься в сионистских органах, когда при малейшем ущемлении о тебе начинают волить всякие «свободные Европы». И Вы прекрасно знаете, что при руководстве этих станций есть специальные сионистские советы. А ну, попробуйте выступить против сионистов! Хватит ли у Вас смелости? Вам покровительствуют и у нас в стране. Если бы с Вами что-нибудь случилось, не дай Бог, я не желаю Вам зла, то поговорила бы «Свободная Европа», в лучшем случае, неделю. Надолго ли хватило их после венгерских и чехословакских событий? А уж об одном человеке...

С этим письмом я подвергаюсь большей опасности, чем Вы. Егото ни одно радио не передаст. А вот еще пример. Какие бы преступления ни совершали сионисты — вплоть до убийств, очень скоро они оказываются на свободе. А в Ленинграде, как мне рассказали, студенты-мальчики создали какой-то «христианский союз» и получили по пятнадцать лет, т.к. среди них не было ни одного еврея.²² И никакое заграничное радио в их защиту не пискнуло!

О сионистах, об их деятельности в нашей стране сейчас запре-

щает писать цензура.²³ А они плодят всякие комитеты, подпольные печатные издания, преследуют травят русских во всех областях культурной и общественной жизни...

Мы, русские люди, вынуждены молчать и с болью смотреть, как государство губит экономику и здоровье граждан, возвращая себе деньги, выданные в получку, в основном за счет водки. Это наше горе! Нас пичкают дикой европейской эстрадой, а идиотизм Райкина выдается за вершину философской мысли. Мы не можем протестовать против разрушения памятников истории, на месте которых евреи-архитекторы возводят свои коробки.²⁴ Мы заглядываем в учебники своих детей и видим преступление, равное отравлению колодцев. В учебниках по русскому языку все меньше становится произведений Пушкина и Гоголя и все больше текстов Самуила Маршака и Н. Мара (кто такой?). Нет таких помоев, которые бы не выливались на наших предков в учебниках истории.

Мы видим, как поощряется деятельность литературных газет, где исподволь проповедуется «сексуальная революция» и все прочее, чем сионисты хотят разложить нашу нацию.²⁵ Она и так уже захвачена в сети мелкого материализма. Зашибать деньги, купить телевизор и что-нибудь импортное, а там... хоть трава не расти! Мы с горечью узнаем, что за рубежом стреляют в детей наших дипломатов, плюют в лицо кое-кому из наших руководителей, а они потом в интервью говорят, чуть ли не извиняясь, что сами-то они не евреи, но друзей у них евреев много...²⁶

Мы видим, как разлагается искусство, как прославляются абстракционизм и Пикассо, печатно издавающийся над дураками, которые аплодируют уничтожению культуры. Кстати, абстракционизм — это плод запрещения европейской религией изображения каких-либо живых существ или предметов (см. Тору). Сколько денег на конкурсы и премии истратили еврейские капиталисты, чтобы его навязать!

Мы слышим, как в общественных местах ругают некоторых членов правительства и, слава Богу, ничего не боятся. А слово «еврей» произносят шепотом и озираясь — знают, что пакостная расправа наступит неминуемо — от увольнения до отравления.²⁷ Но не все их боятся. И зря Вы в романе пресмыкаетесь перед ними. Сколько раз они были почти у цели, и всегда отбрасывались. Все-таки есть в мире силы, которые противостоят злу. Памятник же они поставят Вам только в том случае, если победят и если Вы иудей. Иначе, дав Вам возможность поработать на них, забудут. Впрочем, какую-то премию Вам уже дали...

Я не знаю точно, кто Вы — русский или еврей? Может быть, прозелит... Прозелиты обычно более жестоки, чем коренные иудеи. Может быть, Вы русский человек, на которого давит окружение,

жена-еврейка... Тогда я прошу об одном — подумайте о своем народе. Поймите, что возврата к буржуазно-еврейской республике нет, что советы — это русская форма народоправства, которая еще обретет силу... И как бы ни хотелось, помогать разваливать государство не надо. За этим снова гибель миллионов русских людей.

Не исключено, что завтра снова польется русская кровь в жертву Иегове. И хорошо еще, если на войне...

Ноябрь 1971 г.

ИВАН САМОЛВИН

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Любопытно, что в газете «Джерузалем пост» была опубликована статья М. Гробмана с обвинением Солженицына в антисемитизме.

² Солженицын упоминает все эти имена в «Архипелаге Гулаг».

³ Нигде Солженицын этого не говорит.

⁴ Явная ложь.

⁵ Ленартович — отрицательный персонаж романа.

⁶ Солженицын показывает много хороших офицеров и генералов.

⁷ О том, что Распутин являлся агентом международного сионизма, утверждалось и в официальной советской печати (см. например, «Неман», 1973, № 1).

⁸ Именно эта точка зрения вызывает критику Солженицына.

⁹ Все цитаты, исполненные искажений, воспроизведены по оригиналу, который заимствован из такой антисемитской литературы довоенного периода, как книги А. Шмакова, И. Лютоостанского и др.

¹⁰ Имеется в виду официальная антисемитская литература, издаваемая многомиллионными тиражами в СССР и прежде всего книга Ю. Иванова «Осторожно, сионизм».

¹¹ Это фактически неверно.

¹² На самом деле численность евреев в руководящих органах ЧК составляла примерно 30%, что впрочем также является очень высокой цифрой.

¹³ Это откровенная фальшивка.

¹⁴ Все сносы в Москве и в самом Кремле велись по непосредственному приказу Сталина.

¹⁵ Явное стремление оправдать нацистов.

¹⁶ Вновь оправдание Гитлера.

¹⁷ Эта версия распространялась в СССР в качестве оправдания арестов деятелей еврейской культуры в конце 1948 г.

¹⁸ Дело врачей было прекращено лишь через месяц после смерти Сталина, а именно 5 апреля 1953 г.

¹⁹ Намек на В. Дымшица, заместителя председателя Совета Министров СССР и председателя Государственного комитета по материально-техническому снабжению.

²⁰ Намеки на Л. Брежнева, И. Капитонова и др. советских руководителей.

²¹ Снова намек на Дымшица.

²² Речь идет о ВСХСОН (Всероссийский социально-христианский союз освобождения народа), председателем которого был Огурцов. Арест членов ВСХСОН имел место в 1967 г., о чем сообщалось в иностранной печати. В защиту Огурцова недавно был опубликован ряд статей.

²³ И это в стране, книжные магазины которой ломятся от антисионистской литературы, типа книги Ю. Иванова, которую сам автор цитирует!

²⁴ В настоящее время почти вся верхушка советских архитекторов — русская. Главный архитектор Москвы — русский Посохин.

²⁵ Намек на гл. редактора «Литературной газеты», кандидата в члены ЦК КПСС А. Чаковского, еврея.

²⁶ Снова намек на Л. Брежнева.

²⁷ На деле все обстоит наоборот. Открытые проявления антисемитизма, как государственного, так и стихийного, повседневное явление в СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2*

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ВЕЧЕ»

В январе 1971 г. вышел в свет первый номер домиздатского журнала «Вече». До конца 1973 г. вышло всего восемь номеров. Итак 8 номеров за три года — уже есть над чем поразмыслить. Во введении к первому номеру журнала редакция провозгласила его РУССКИМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛОМ. Основным идейным направлением журнала стало *славянофильство*. Основная цель журнала — поднять русское национальное самосознание. «Все наши споры должны иметь одну цель — благо России».

Итак, цель провозглашена. Посмотрим, как удалось журналу ее осуществить за прошедшие три года.

Как известно, славянофильство зиждилось на трех китах: ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ И НАРОДНОСТЬ. К сожалению, редакция журнала в своих программных статьях о славянофилах не дала понять читателю: остаются ли все три кита или внесены какие-то коррективы на 70 гг. XX века. А ведь Россия еще в 1917 г. окончательно покончила с САМОДЕРЖАВИЕМ и бесповоротно отвернулась от одной из двух (православие и католицизм) форм реформированного иудаизма — ПРАВОСЛАВИЯ. Нужно напомнить, что

* Все примечания принадлежат М. Агурскому. РЕД.

христианство, вообще, и православие, в частности, если к ним подходит с хорошо изученной Библией в руках, были созданы как раз для стирания всего самобытного и национального, для превращения всех, кто их исповедует в безродных космополитов (без рода и племени, независимо от цвета кожи, языка, национальных обычаяв и превращения всех людей православных в беспородных). Странно, почему журнал в таком случае восстает против смешанных браков между единоверцами православными — русскими и грузинами, ведь они же полные братья во Христе?

Кстати говоря, великое счастье русского народа заключается в том, что до 1818 г. он не знал даже Четвероевангелия на понятном ему русском языке. До этого почти тысячу лет он слышал его на малопонятном церковно-славянском языке и поэтому, слава богу, не мог вникнуть в суть этого космополитического учения по настоящему. Как только в 1818 г. появился перевод Четвероевангелия на русский, а затем в 1821 г. вышел полный текст Нового Завета на Юге России и Малороссии (особенно) и в других местах начались массовые крестьянские выступления, основой которых явилась растленная космополитическая проповедь, приписываемая Христу и апостолам. Так начался разброд в русском народе, так начала разваливаться русская народная самосознательность, существовавшая до этого стихийно в течение тысячи лет. Ее не сломили ни 300 лет татаро-монгольского ига, ни польские, ни шведские, ни немецкие и пр. интервенты. Ее уничтожил космополитизм Нового Завета и иудейский фашизм Ветхого Завета. Не на шутку встревоженное крестьянскими бунтами САМОДЕРЖАВИЕ конфисковало все экземпляры ЕВАНГЕЛИЯ, которое сумело обнаружить на руках. Тогда его стали переписывать от руки (домиздат XIX в!). Постепенно революционное движение, начатое ПРАВОСЛАВИЕМ (путем публикации на русском языке Евангелия) против САМОДЕРЖАВИЯ, вылилось в народничество (сначала в народ несли именно Евангелие), потом в социал-демократию и т.д.

Ветхий Завет, а вернее целиком вся Библия на русском языке вышли в свет, чтобы окончательно доконать русское национальное самосознание, впервые только в 1876 г. Таким образом, ПРАВОСЛАВИЕ сыграло роль Иуды-предателя и по отношению к САМОДЕРЖАВИЮ и по отношению к русскому национальному самосознанию или, как называли его славянофилы, к НАРОДНОСТИ.

Но как и всякое предательство не остается без отмщения, так не осталось без отмщения и ПРАВОСЛАВИЕ. Русский народ отомстил ему не за прогнившее САМОДЕРЖАВИЕ (кстати, последней каплей растления царской семьи был архиправославный агент международного сионизма Гришка Распутин).¹ Русский народ вышвырнул

¹ См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (примечание № 7).

из своей души ПРАВОСЛАВИЕ именно за предательство последним самого дорогое, что он имел — НАРОДНОСТИ.

Если по сей день у нас есть еще верующие в православных церквях, то это те, кто верит невежественно; не знает ни Библии, ни Евангелия, ни предательской роли православного космополитизма, проложившего к нашим дням дорогу сионистским космополитам. Если сейчас кому-нибудь и нужно реабилитировать ПРАВОСЛАВИЕ, то в первую очередь тем, кто его создавал — сионистам. Потому что для себя они создали иудаизм, по которому человечество делится на людей (это только евреи) и на гоев (это все неевреи: русские, негры, китайцы, папуасы и т.д.). Для гоев было создано христианство и ислам — дочерние предприятия от иудаизма с ограниченной ответственностью (по-английски — лимитед компани), призванные держать в повиновении перед высшей расой или народом, избранным богом (т.е. евреями) всех остальных. Гои же согласно Ветхому Завету должны стать рабами евреев по их расчетам к 2000-му году.²

Великая заслуга русского народа состоит в том, что он первым среди других народов покончил с ПРАВОСЛАВИЕМ как предбанником иудейского рабства, намеченного на 2000 год, как с предбанником крематория, в котором сионисты намерены спалить всех гоев.

Русский народ в 1917 г. понял, что он в течение 1000 лет имел на вооружении идеологию, направленную против него же. Он заменил ее идеологией КОММУНИЗМА.³ Одновременно с этим он понял, что всякий, кто пытается вернуть его в христианский предбанник сионистского крематория — Иуда-предатель. Он прекрасно помнил о русском вечевом республиканском самоуправлении и поэтому в огне баррикад 1905 г. создал СОВЕТЫ (кстати, — от того же, что и ВЕЧЕ, корня — «вет» с приставкой «со»).

Итак, русский народ вместо лозунга славянофилов: ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ и НАРОДНОСТЬ понес, если можно так обобщить, лозунг: КОММУНИЗМ, СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ и НАРОДНОСТЬ. Большинство славянофилов были патриотами, но патриотами своего времени. Они прекрасно понимали, что сокрушение двух из трех китов (самодержавия и православия) несвоевременно и дорого обойдется русскому народу. Жили бы они в наше время, они бы не стали восставать против существующей идеологии и формы правле-

² Роковое значение 2000 г. почертнуто автором из «Протоколов сионских мудрецов».

³ Во время революции и после нее враги евреев утверждали, что советская власть и коммунизм это детище мирового еврейства. То же утверждалось нацистами. Неонацисты утверждают, что именно советская власть и коммунизм направлены против сионизма и являются детищем русского народа.

ния, а наверняка стали бы их защищать на благо русского народа. Так как низвергать сейчас нашу идеологию и нашу форму правления — значит открыть двери перед захватом страны сионистским капиталом, а это, в свою очередь, будет самым большим предательством русского народа. Таким образом, из учения славянофилов нужно взять и развивать только то, что будет отвечать принципу НАРОДНОСТИ. В этом плане можно было бы посоветовать редакции взять из славянофильства его детище НАРОДНОСТЬ и выплеснуть на помойку истории грязную воду, как САМОДЕРЖАВИЯ так и ПРАВОСЛАВИЯ. К сожалению, редакция журнала берет учение славянофилов целиком без критического подхода.

Спасти русский народ можно не через ниспровержение КОММУНИЗМА и СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, а только через их укрепление, путем очищения их от плесени просочившегося в них сионизма. Если бы журнал взял на себя именно эту благородную миссию, он был бы понятен и дорог самым широким слоям нашего народа. То направление, которое журнал имеет в настоящее время, практически превращает его в предбанник сиониствующих инакомыслящих СССР, для которых годится любое инакомысление, лишь бы оно расшатывало нашу Родину изнутри.

Журнал назвал себя ПАТРИОТИЧЕСКИМ РУССКИМ журналом, работающим на БЛАГО РОССИИ, но как русский человек может этому поверить, когда журнал предоставляет свои страницы таким заклятым врагам русских и России, как А. Сахаров и А. Солженицын (Солженицын «Август 14-го»). Журнал оплакивает вместе с сионистским домиздатом Галанскова. Но всякая ли жертвенность идет на пользу России и русских? За кого боролся (в основном) и за кого сидел Галансков? За тех же злейших врагов России и русских — сионистов, за протоколы процессов сионистской агентуры в овечьей шкуре инакомыслящих — за Даниэля и Синявского.

Позором для журнала является перепечатка заявлений А. Сахарова, Шафаревича и прочей сиониствующей своры ученых и псевдоученых, воюющих о свободе печати. К. Аксаков тоже хотел свободы печати. Там, где ее добились формально (США, Англия и др. западные страны) она, эта печать, полностью монополизирована сионистами. Какая же эта свобода печати? Нет, уже пусть лучше Главлит, чем такая свобода!

Журнал выступил против загрязнения окружающей среды. Очень хорошо. Но к чему призывает журнал — к сокращению промышленного производства. Причем можно понять, что в одностороннем порядке. Но ведь мы не одни на планете. Русский народ сократит производство, а сионисты его задушат — вот и весь патриотизм на благо России!

Расшатать легко! Ну, а потом-то что? Ведь если скинуть большевиков, к власти придут сионисты и только сионисты, у них деньги и

агентура плюс блестящая организованность — у нас ничего, кроме большевистской партии, которая пусть хоть плохо — бедно, но защищает нас. Представьте, что будет, если премьером будет Сахаров с Солженицыным, Высоцким, Райкиным, Якиром, Даниэлем и прочими в правительстве! Вас с Вашим журналом выбросят, как выжатый лимон, куда-нибудь в Магадан и не ближе, если не сразу в газовую камеру. И это несмотря на то, что сейчас Вы расшатываете вместе с ними. Ведь такие же расшатыватели были и в Чехословакии в 1968 г. К власти же пришли сионисты: Шик, Пеликан и пр.

Международный сионистский концерн сосредоточил сейчас в своих руках 80% всего капитала всего несоциалистического мира. Это пострашнее фашистской чумы. Если они победят — это смерть всем, в первую очередь, русским, которых они окрестили зоологическими антисемитами и поставили целью физическое уничтожение всех поголовно. Любое расшатывание в такое время — худшее предательство против русского народа, которое он когда-либо знал. Так же, как во время Великой Отечественной войны все русские люди, независимо от их взглядов (причем и руководители православной церкви сыграли тогда свою патриотическую роль) объединились для борьбы с общим врагом, мы должны сейчас объединиться для борьбы с сионизмом: разоблачать и бить всех, кто за них, поддерживать и поощрять всех, кто против них. Отношение к сионизму — та лакмусовая бумажка, которая выявляет патриотизм или предательство. Середины нет! Кто не с нами — тот против нас! Кто не против сионизма во всех его проявлениях — тот против русских, против славянофилов, против всего честного, что есть на земле. В этом свете журналу, если он действительно хочет сделаться ПАТРИОТИЧЕСКИМ РУССКИМ журналом, а не предбанником сионистских инакомыслящих, их бесплатным агентом, следует уяснить, что во всей цепи проблем, стоящих перед русским народом, главным звеном является борьба с сионистским засилием. Ухватившись за это звено (и только за это) можно будет вытянуть всю цепь проблем. Если этого не сделать, сионисты к 2000 году уничтожат русский народ *физически вместе со всеми его проблемами*. Так обстоит вопрос на сегодня.

Журналу необходимо ориентироваться не на ничего не смыслящих в Библии верующих, которые своими молитвами России от сионизма не спасут, не на подонков типа Сахарова и Солженицына, для которых нужен космополитизм, а не русский народ, не на самопожертвователей типа Галанкова, который, видимо, так до смерти и не понял, что оказался мелкой разменной монетой в руках врагов русского народа, не на обиженных прихожан и священнослужителей, которые тоже не в состоянии спасти Россию от сионизма, а на честных партийных, советских, военных работников, патриотически настроенных деятелей культуры и искусства (кстати, статьи об охране

архитектурных памятников — это то, что нужно) и прочих советских людей, коммунистов и беспартийных, имеющих вес и голос в органах управления. Таких людей много, но они заняты текучкой, мешающей видеть и сознавать всю степень опасности сионизма, в том числе и для текущей их работы. Задача журнала донести до них правду о сионизме. Кстати, домиздат лучше и внимательнее читают, чем официальные органы. Это преимущество следует использовать.

Публиковать материалы о никчемности научных работ сионистов-псевдоученых,⁴ материалы о выпадах сионистов против честных русских людей и людей других национальностей, материалы о взяточничестве и разврате сионистов, материалы об их сбирающих у синагог и в других местах, письма с мест о безобразиях внутренних эмигрантов, о захвате жилого фонда в городах, требовать справедливого распределения квартир в пользу коренного населения, в т.ч. русских, а не сионистствующих, задавать органам прокуратуры вопросы — на какие деньги сионистствующие приобретают автомашины, дачи и т.д., задавать вопросы, почему в том или ином учреждении 90 или 70% евреев, требовать процентного по отношению к населению данной местности представительства в учреждениях, вузах и пр. Требовать процент поступления в вузы и спецшколы европейской молодежи, устанавливать в соответствии с % проживающих в стране евреев (а это около 1%: 2,3 млн евреев из 250 млн населения СССР). Требовать, чтобы этот 1% был распространен на все учреждения и предприятия: под лозунгом равенства для всех, никаких преимуществ тем, кто завтра может оказаться в Израиле.

Признать, что журнал в своих первых восьми номерах имел расплывчатую, объективно просионистскую платформу. Материалы антисионистского характера придавали журналу лишь видимую объективность. Сионистам этого только и надо: ложь из расчета — 50%: 50% (фифти-фифти) — лучшая ложь. Поэтому журнал против своей воли себя скомпрометировал, как пособник сионистов. В связи с этим название нужно изменить и нумеровать снова с №1. Предлагаемые названия: «Вечевой колокол», «Набат», «Русский набат», «Единство».

Журнал должен выходить под шапкой: «Смерть сионистским захватчикам!» или «Все на борьбу с сионизмом!» В нынешнем же виде журнал в идеологическом плане похож на полукровку, против которых он же в биологическом плане выступает.

Стремление к объективности и т.н. свободе слова ведет к представлению страниц как полнокровным, так и полукровным сионистам.

⁴ Такие попытки уже делаются. Физик-теоретик Тяпкин доказывает, например, что культ Эйнштейна был создан бездарными евреями, чтобы повысить свой научный престиж. То же утверждалось Шевцовым.

Но ведь у них и так предостаточно средств массовой информации как официальных с миллионными тиражами, так и домиздатовских. Если русские люди не в состоянии создать не зараженный сионизмом журнал, то его вообще незачем создавать, т.к. это не патриотический, а АНТИПАТРИОТИЧЕСКИЙ журнал. Он работает не на объединение русского народа, а на его еще большее разъединение.

Уже сам факт выхода журнала под лозунгом ПРАВОСЛАВИЯ разъединяет русских на ничтожное меньшинство верующих, к которым журнал стремится приторочить подавляющее большинство атеистов. Можно подумать, что все атеисты АНТИПАТРИОТЫ, а чтобы стать ПАТРИОТАМИ им надо вернуться в гнилое болото христианского космополитизма, разложившего все народы Запада и превратившего их в безропотных слуг сионистов и Израиля. Солженицын требует от патриарха, чтобы он призвал русских внутри России водить детей в церковь — учить их поклоняться иудейским пророкам, с детства приучать к мысли о богоизбранности евреев, о том, чтобы они сознательно готовили себя к роли рабов евреев. Быть истинным православным, по мнению журнала, — значит быть истинным патриотом. Но быть истинным православным — значит боготворить каждое слово обоих заветов Библии. А это значит примириться с мыслью об иудейском господстве. Где же здесь патриотизм?

Может быть, патриотизм нужно искать у христианских народов Запада, которые сейчас смиренno вот уже более 6 лет плавают себе в убыток вокруг Африки (вместо прохода через Суэцкий канал) и уже начали холодать от нехватки нефти и голодать от безработицы, вызванной той же нехваткой нефти в угоду народу, изциальному богом? Так, в Англии промышленность переведена на трехдневную неделю. В США увольняются с работы десятки тысяч рабочих и служащих, а «свобода печати» не смеет заикнуться о том, что во всем виноват сионизм. Такой свободы хотят от нас Сахаров и Солженицын. Странно, что этого же, видимо, даже не сознавая, требует журнал, претендующий называться РУССКИМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ!

Журнал правильно поднимает вопрос о распространении пьянства и борьбе с ним. Но для чего журналу потребовалось давать составленный явно в интересах сионизма очерк о распространении пьянства в широких кругах русского народа в дореволюционный период? Для объективности? Но ведь такая «объективность» только дает сионистам в руки материал для подтверждения «исконного алкоголизма русских», о чем они кричат на всех углах. Таким образом, этот материал из того же расчета 50% : 50% полезен больше сионистам, а не русским, т.к. журнал и русских убеждает в «правильности» лжи сионистов, горланящих на всех углах, что без их «серого вещества» русские давно бы сдохли с голода от запоя. Вместо этого журналу следовало бы показать, что способные русские люди, которым сионистская бездарь закрывает доступ к свободной творческой

деятельности, учебе, работе по призванию, спиваются от того, что им не дают развернуться во всю ширь русского характера и способностей.

В средние века чешский народ поднялся на борьбу с немецким засилием. Сейчас главная задача как русского, так и всего советского народа — в борьбе с сионистским засилием. Вскрывать это засилие, призывать бороться с ним — это самое неотложное, что предстоит сделать настоящим русским патриотам. Все остальные проблемы даже нет смысла поднимать, так как они неразрешимы, пока существует сионистское засилие. Попытки разрешить их при сохранении сионистского засилия на руку только сионистам, которые используют эти попытки в своих же интересах.

Индоевропейские народы достигали наивысшего расцвета (Древняя Греция, Рим), когда они имели на своем вооружении идеологию, возникшую и развивающуюся на их национальной почве — индоевропейский пантеон богов: Зевс, то будь, или Перун, или Юпитер, Афродита или Лада и т.д. Истинно народные праздники — масляница (времен этих богов) пережили тысячелетие православного безродного космополитизма и ныне здравствуют в празднике Русской зимы. Настоящие русские патриоты любовно сохраняют, и советская власть не препятствует им, имена своих светлых легендарных богов в названиях автомобилей («Лада»), ресторанов («Лель») и т.д. Индоевропейцу и, в первую очередь, русскому, как наиболее древнему из индоевропейцев, омерзительны (если он с ними по настоящему знаком) деяния иудейских пророков и христианских святых, вдохновленных ими. (См. П. Гольбах «Галлерея святых»). И именно христианство, как агент иудаизма, сначала внесло междуусобицу в Римской империи, разделив ее на Восточную и Западную, а потом довело их по одиночке до грани падения. Христианское средневековье отбросило Европу на сотни лет назад и только духовное раскрепощение периода Ренессанса (возврата к исконным индоевропейским духовным ценностям, в т.ч. языческим образом) дало толчок к возрождению. Оформление политического сионизма в 1897 г. прошло под лозунгом: «УЖЕ НЕ ДАЛЕК ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ВСЕ БОГАТСТВА ЗЕМНЫЕ ПЕРЕЙДУТ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ИЗРАИЛЯ!»⁵ (Израиль — в переводе с иврита — «семья божья»,⁶ неевреи — гои в семью божью не входят). Этот лозунг последовательно, по плану осуществляется сионистами в капиталистическом мире. Сиону ныне принадлежит уже 80% всех капиталов капиталистического мира. Мировому господству препятствует только соцсистема.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, пришедшая на смену САМОДЕРЖА-

⁵ Это также почерпнуто из «Протоколов сионских мудрецов».

⁶ В переводе с иврита Израиль это не «семья божья», а «богооборец».

ВИЮ, сделала главное — лишила сионистов в нашей стране *права частной собственности на орудия и средства производства*. Может быть, эта фраза набила кое-кому оскомину, но если бы не это, 2000 год для детей Израиля уже давно бы наступил и все проблемы русского народа уже давно лежали бы на дне топок сионистских крематориев. Под лозунгом предоставления свобод Сахаров и Солженицын хотят вернуть сионистам это утраченное в 1917 г. право. А сионисты заявляют, что на следующий день после этого они скуют или просто захватят всю территорию СССР до последнего гектара сибирской тундры. Судьба палестинских арабов, оставшихся без родины, подтверждает, что это не пустые слова.

Сиониствующие инакомыслящие при поддержке на государственном уровне со стороны конгресса США и правительства других сионизированных стран Запада различными средствами пытаются подорвать нас изнутри, чтобы проложить дорогу детям Израиля к мировому господству. По пути ли с ними РУССКОМУ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ журналу? КОММУНИЗМ и СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ (вся соцсистема) сейчас единственное могучее препятствие на пути шествия сионизма к его 2000 году. В авангарде СССР и, следовательно, всей соцсистемы идет русский народ.

Спора нет — ему тяжело в цепях сионистского засилия, но еще тяжелее, когда удар наносят в спину русские по паспорту (как Солженицын, которого он уважал за «Ивана Денисовича» и «Матренин двор», но который растоптал его доверие и уважение «Августом 14-го»), еще тяжелее, когда русские люди из благих побуждений организуют домиздатский РУССКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ журнал и бьют доверчивый русский народ камнем по голове, как тот крыловский медведь пустынника!

Мы не против славянофилов. Но из их наследия нужно взять только все истинно славянское, русское (они много, больше, чем кто-либо другой, потрудились над этим). Но нельзя считать, что все, что вышло из-под их пера непогрешимо и применимо в 70-х гг. XX века. Очиститься от всей скверны иудаизма и сионизма и их предбанника — церкви — другого пути для спасения русского самосознания сейчас нет! Попытка загнать русского человека в космополитический православный предбанник сионизма — ВЕРХ АНТИПАТРИОТИЗМА и ВЕРХ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ВСЕГО ИСТИННО РУССКОГО И СЛАВЯНСКОГО!

Выпуск домиздатского журнала — сам по себе акт самопожертвования. Но самопожертвования ради чего? Будет обидно, если издатели журнала будут рисковать так же глупо и более того — объективно вредно для русского народа, как это делал Галанков и ему подобные. Никакая борьба не обходится без жертв! Но, уж если жертвовать собой, то действительно ради своего русского народа, а не ради мирового сионизма, несущего ему смерть!

ЛЕНИН И БОРОТЬБЫСТЫ

Еще до своего прихода к власти Ленин не раз говорил, что целью большевиков является создание большого и сильного государства с возможно большим людским и экономическим потенциалом, которое и положит начало всемирному государству. Таким образом, Ленин и его партия вышли на историческую арену как наднациональная правящая сила, а не как ведущая сила нации.

В Октябре 1917 г. большевики пришли к власти в русском, но одновременно и многонациональном, государстве. Этот факт заставил ленинскую диктатуру заняться проведением национальной политики, так как в стране, где после падения старого порядка разгорелись политические страсти, начали выступать и проблемы взаимоотношений между политической властью и нациями с одной стороны, и проблемы взаимоотношений между отдельными нациями — с другой.

Уже на этом первом этапе правления коммунистической партии стало очевидным, что решение национальной проблемы в многонациональном государстве зависит от общего социально-политического развития, а оно обусловлено формой государственной власти, методами правления и ее идеологией.

Пытаясь осуществить свою цель (создание, по возможности, наиболее крупного государства), большевики сразу же увидели, что на пути к расширению их господства стоит большое препятствие в виде национально-государственных формаций.

Всем известно, что большевики прокламировали право наций на самоопределение и на собственное государство для тех наций, которые хотят отделиться от Советской России, но этот лозунг не только на практике, но и в самой интерпретации большевиков не имел никакого реального содержания. Уже в 1919 г. большевики вносят в свою программу по национальному вопросу весьма существенные изменения и сводят вопрос о праве наций на самоопределение к тезису, что об этом праве

на самоопределение решение принимает *представитель воли нации*, которым в понятии советской власти является *коммунистическая партия* того или другого народа.

Это новое право исключительно трудящихся на самоопределение сформулировал после отделения Финляндии Сталин, это же право защищали Бухарин, Пятаков и другие большевицкие деятели. Практически это означало, что необходимо было создать условия для того, чтобы только коммунистическая партия могла выражать волю нации. Поэтому с самого начала своей власти партия ведет непримиримую (как она сама говорит) борьбу против так называемых националистов, т.е. против национальных некоммунистических сил, которые своим существованием препятствуют распространению тотальной большевицкой диктатуры.

Здесь большевики совершают одно из своих идеологических сальто мортале и в противоречии с понятием коммунистической партии как интернациональной организации создают, начиная с 1918 г., национальные коммунистические партии не-русских наций бывшей Российской империи. С этого момента мы видим «самостоятельные» коммунистические партии разных народов, и эти «самостоятельные» партии становятся для большевицкого ЦК единственными представителями воли данных народов.

Для иллюстрации этой политики я хотел бы остановиться хотя бы на одном моменте, а именно на событии, когда представителем воли нации захотела стать коммунистическая партия, но организованная не из центра, а партия, члены которой полагали, что коммунистическая идеология и национальные интересы могут быть совместимы. Такой партией были украинские боротьбисты, судьба которых была решена приговором Ленина: «вся политика должна быть систематически и неуклонно направлена на предстоящую скорую ликвидацию боротьбистов».¹

Украинские боротьбисты были противниками неделимой центральной власти единственного ЦК КП. В связи с этим они обратились к Исполнительному Комитету Коминтерна с просьбой признать их самостоятельной украинской коммунистической партией, которая была бы самостоятельной секцией Ко-

¹ Ленинский сборник XXXV, стр. 93-94.

минтерна. Это, однако, было более чем наивно, ибо фактически со своим заявлением боротьбисты обратились к руководству большевицкой партии, в руках которого всецело и находился Коминтерн. Правда, несмотря на это правила процедуры Коммунистическим Интернационалом были соблюдены. Вопрос был вынесен на обсуждение. До начала обсуждения их заявления боротьбисты сделали попытку заручиться поддержкой Ленина и за день до заседания Исполнительного Комитета КИ послали ему письмо. Этот очень интересный документ я нашел в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма в Москве во время моих исследований национальной политики партии. Письмо боротьбистов настолько характерно, что я приведу его почти целиком, тем более что оно никогда опубликовано не было:

«ТАКОВЫ ФАКТЫ»

«Советские войска дошли до самого Киева, заняли всю Левобережную Украину, их поддерживало местное население. Сами советские войска были украинскими. Пролетариат, а главное — крестьянство твердо стояли за советскую власть. Были уезды, где советские войска проходили без единого выстрела (Вам это известно из доклада Пятакова). Воля трудящихся Украины выявила вполне. Близилось соединение с Венгрией...

Дальше началось «советское» строительство. Сначала ждавшие советскую власть присматривались к делам советской власти и прощали ей многое; диктатура невежественных пришельцев — авантюристов оттолкнула местные коммунистические силы и сама ничего не дала положительного. Дальше — восстания. Дальше советская власть жгла целые деревни, расстреливала красноармейцев Таращанской дивизии и крестьянскую бедноту. Дальше все перепуталось, и пролетариат Киева (Arsenal) не вполне по-товарищески встретил г. Троцкого...

Советская власть на Украине пала. Деятели поехали насаждать власть в Туркестан, Сибирь и т.д. Но жива советская власть на Украине. Она и будет там, если Российской коммунистическая партия проявит действительный интернационализм и не будет проводить политику насаждения «красного» имперализма (русского национализма) на Украине.

Товарищ Петровский в печати заявил, что украинство

поддерживается кулаками и проходимцами, товарищ Раковский, в бытность свою Председателем Совета народных комиссаров, требовал диктатуры русской культуры на Украине. Слишком далеко это от интернационального понимания коммунизма. Слишком близко к царскому «украинского языка не было, нет и быть не может».

А уж если руководители так смотрят на дело, то что удивительного в том, что шайка гастролеров из России расстреливает членов своей же партии (КПУ), испытанного революционера, уважаемого беднотой уезда, только за то, что он заявил о своих украинских симпатиях. (г. Зеньков, полтавской губернии. Расстрелян или вернее замучен т. Руденко, член местной группы КПУ, по постановлению общего собрания группы без всякого суда и следствия простым голосованием через поднятие рук)...

Не ясно было, чего хотели: если советской власти, так мы за нее, но зачем же борьба с беднотой... зачем хамское обращение с трудящимися, оскорблении, унижения... хотели сделать Украину колонией, так это не вяжется с представлением о советской власти как историческом явлении... То чем объяснить такое отношение к местным революционным силам, единственному базису советской власти?

Ряд и подходящих экономических мероприятий. (Шлихтер: — с хохлом можно не церемониться). Последствия ужасные, как по массе ненужных жертв, так и по результатам в общем ходе развития социальной революции. Злым умыслом я не могу объяснить то, что творилось, но творилось так, как будто советской властью на Украине руководили опытные черносотенцы, подготовляющие контрреволюцию.

Знайте, видя безобразия, творимые именем советской власти на Украине, многие были уверены, что это ошибка, что «центр» не знает истинного положения вещей. В частности, многие верят в силу Вашего авторитета. Отвечайте. От Вашего ответа зависит многое. Голос истинного революционера сейчас необходим.

5.II.1919, Москва. Подпись неразборчива»²

С 6 ноября по 26 декабря 1919 г., а позже с 5 февраля по

² Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма, (ЦПА ИМЛ) фонд 17, опись 65, документ 110, лист 63-64.

22 апреля 1920 г. в Коминтерне проходили переговоры между представителями КП Украины, С. В. Коссиором и Х. Г. Раковским, с одной стороны и представителем боротьбистов Гринько — с другой. Председателем во время переговоров был стоявший тогда во главе Коммунистического Интернационала Г. Е. Зиновьев, который строго в духе большевицкой концепции рекомендовал объединить эти две партии, так как «интересы международного пролетариата требуют, чтобы в каждой стране существовала только одна социалистическая партия».³

Раковский заявил, что боротьбисты являются «мелкобуржуазной крестьянской партией, их главная сила в деревне» и что они «невольно и теперь на Украине делаются центром, вокруг которого организуется мелкобуржуазная контрреволюция».⁴ При чем эта характеристика была обоснована письмом Мануильского, секретаря КП Украины, представителю Украины в Совете народных комиссаров РСФСР. В этом письме Мануильский пишет, что «отколившаяся часть петлюровских войск образовала революционную раду, в состав которой входит представитель боротьбистов..., проводится попытка создания основного ядра будущей украинской Красной Армии..., настроение войск рады и боротьбистов враждебное коммунистам российской Красной Армии... Среди революционной рады открыто ведется контркоммунистическая агитация... После двойственной закулисной политики боротьбистов относиться к ним как к советской партии нельзя. Надзор за деятельностью боротьбистов передан Чрезвычайной Комиссии».⁵

Гринько защищал боротьбистов, отмечая, что «речь идет о постановлениях центральных исполнительных комитетов об объединении экономическом и военном Украине с РСФСР. (Гринько имеет в виду «Декрет об объединении советских социалистических республик России, Украины, Литвы, Латвии, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом» от 1 июня 1919 г. См. «Образование СССР. Сборник документов». Москва-Ленинград, АН СССР, 1949, стр. 126). Боротьбисты стоят за тесное единство и экономическое, за выполнение общих экономических планов советской России и советской Украины.

³ ЦПА ИМЛ, фонд 17, опись 65, документ 110, лист 1 — Стено-графическая запись.

⁴ Там же, лист 12.

⁵ Там же, лист 13.

Только мы (боротьбисты) понимаем это экономическое единство не так, что были две единицы, а затем одна из них совсем исчезнет, и на месте чего-то федерального получается Совнархоз. Мы (боротьбисты) думаем, что необходимо на Украине, если речь идет о самостоятельности украинской республики, создать украинский экономический центр. Ибо нерационально и ведет к скверным последствиям простое распространение органов, органов РСФСР, на украинские губернии».⁶

В дальнейшем обсуждении Коссиор приводил выдержку из боротьбистской газеты об отношении боротьбистов к советской России. «В этой творческой работе, — пишут боротьбисты, — погибнут надежды зубров — националистов «общерусской» породы о воссоздании «великой России» или даже прикрепления этой вывески старой лавочки Родзянок и Романовых, Керенских и Деникиных к новому зданию пролетарской республики».⁷

Но все попытки боротьбистов добиться признания со стороны Коминтерна окончились неудачей. Во время вторых переговоров (22 февраля 1920 г.) в обсуждение вопроса вмешался сам Ленин, который на упомянутое выше письмо боротьбистов от 5 ноября 1919 г. ответил так: на проекте резолюции Коммунистического Интернационала о боротьбистах Ленин пишет: «Я решительно настаиваю на том, чтобы боротьбисты обвинялись не в национализме, а в контрреволюции и мелкобуржуазности».⁸

Точно так же были обречены на неуспех все попытки боротьбистов создать украинскую Красную Армию отдельно от Красной Армии советской России. Ленин решительно отклонил стремления боротьбистов воспрепятствовать подчиненности Украины по отношению к РСФСР и их требования политической и экономической самостоятельности Украины. Ленин счел эти требования противоречащими «интересам пролетариата» и дал указание, что «вся политика должна быть систематически и неуклонно направлена на предстоящую скорую ликвидацию боротьбистов. Во имя этой цели ни одно прегре-

⁶ Там же, лист 14-15.

⁷ Там же, лист 27.

⁸ Н. Н. Попов, Очерк истории КП(б) Украины, Харьков 1933, стр. 233.

шение боротьбистов нельзя оставить без немедленного и строгого наказания. Главным образом собирать факты о не пролетарском и весьма ненадежном характере большинства членов их партии».² Таким образом, полное признание независимости Украины со стороны РКП(б) и РСФСР и единственно возможное решение о ее судьбе, которое могут принять только украинские рабочие и крестьяне на Всеукраинском съезде Советов, как это формулировал Ленин в «Письме к украинским рабочим» в декабре 1919 г., окончилось в ЧК. Во время выборов в советы в феврале-марте 1920 г., боротьбисты выступили с требованием самостоятельной Украины. Но решением ЦК КП Украины боротьбисты были выведены из правительства и местных революционных комитетов. Позже ЦК РКП(б) аннулировал это решение, назвав его неправильным и принял постановление о слиянии боротьбистов с КП Украины. По записям Н. Скрыпника в коммунистическую партию Украины было принято около 4.000 боротьбистов. Это решение ЦК РКП(б) мотивировалось опасениями перед вооруженным восстанием и одновременно стремлением приобрести опытных и образованных работников для работы в советских органах.¹⁰

Спустя некоторое время многих боротьбистов обвинили в политическом двурушничестве, в контрреволюционной, националистической и враждебной для украинского народа деятельности, а затем ликвидировали.¹¹

То, что Ленин не мог допустить, чтобы наряду с им созданной диктатурой существовала какая-то автономная единица, полностью соответствует сути этой диктатуры. Приказ о ликвидации боротьбистов как социальных контрреволюционеров, как и акцент на том, что они преследуются не за национализм, соответствовал и формальной стороне большевицкой национальной политики. Большевики всегда исходили из того, что интересы их партии имеют первостепенное значение. В марксистской терминологии это сформулировано так, что национальный вопрос должен быть «подчинен безоговорочно целям классовой борьбы пролетариата». Целью большевиков было

⁹ Ленинский сборник XXXV, стр. 93-94.

¹⁰ ЦПА ИМЛ, фонд 50, опись 1, документ 42, лист 11.

¹¹ См. Большая Советская Энциклопедия, III-е издание, 1950, т. 5, стр. 604.

править не только Россией, но и распространить свою власть на новые территории.

Для большевиков национальная проблема была не только вопросом внутреннего упорядочения государства, но и составной частью их стремления к «мировой революции». В результате — национальная политика была сформулирована так, что всякое национальное движение должно было либо подключиться к большевицкой революции, либо оказаться раздавленным «как контрреволюция».

Франтишек Силницкий

НЕУДАЧНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ А. ТЕРЦА

Мы охотно печатаем в порядке дискуссии возражения нашего сотрудника, поэта и литературоведа Олега Ильинского на статью Абрама Терца (Синявского) в № 1 «Континента». Но Олег Ильинский касается только одной узкой темы этой статьи в то время как она многими своими утверждениями вызывает недоумение. Мы считаем литературные статьи А. Синявского «О соцреализме», о Пастернаке и др. интересными. Но когда он выступает как А. Терц, его высказывания почему то приобретают крайне неубедительный тон. Так и в этой статье: она больше чем «до отказа» переполнена парадоксами, но, увы, не парадоксальными, каламбурами, но, увы, не каламбурными, острословием, но, увы, не острым.

Об уничтожении русской литературы, о чем А. И. Солженицын писал, что «целая национальная литература осталась погребенной» на «Архипелаге Гулаг», А. Терц пишет: «Писатель нынче ходит на острие ножа, но... и попытки его урезонить, застрашать или ссучить, сгноить и ликвидировать, все повышают и повышают его литературный уровень». «Сейчас настало время жалеть не писателей, но их гонителей и насильников. Ведь это им обязана русская словесность своим успехом». Что это за мудреная чепуха?

«Русские авторы влюбились в свою неволю. От нее нас теперь пряником не оттянешь. Нас теперь хлебом не корми, как дай рассказать про то как стреляют в затылок». Хоть бы о «расстрелах в затылок» помолчал. Но где там!

«Потому-то я и твержу, — пишет А. Терц, — что свобода слова как раз писателям-то и не идет на благо, что от свободы писатель, случается, хиреет и вянет, как цветочек под слишком ярким солнцем. А приятнее для писателя — тьма, лагерь, кнут, узда и запрет (с одновременной возможностью — из тех, кто смелый, — ту узду разорвать и закон — объехать)». Какая изощренно-мастерская и грациозно-парадоксальная защита несвободы. Странно только, что Синявский со всей своей библиотекой и «многоуважаемым» письменным столом прибыл на Запад, в мир свободы, в страну «формальной демократии», где пока еще не знают, слава Богу, как «расстреливают в затылок». Уж если Синявскому так необходим был кнут товарища Андропова, то не нужно бы было и трогаться в это путешествие. Р. Г.

В статье «Литературный процесс в России»* А. Терц-Синявский пытается дать анализ современной литературной ситуации в СССР. Основная коллизия статьи — гонимый и убиваемый писатель в схватке с режимом. Тезис статьи сводится к положению: — за слово убивают. Писатель сегодня только тот, кого убивают (гонят, давят). Слово в цене, потому что на нем кровь писателя. Если выживет писатель, разомкнет обруч, выйдет за пределы дозволенного, освободится, будет победителем.

Публицистическая форма статьи — только предлог для более глубокого психологического анализа современной литературной ситуации в СССР. Исходя именно из такой общей оценки статьи, хочется высказать по поводу нее ряд соображений, может быть, даже о самом явлении литературной (художественной) культуры, как таковой. Ведь статья не только говорит о современном литературном процессе в СССР, в ней содержится и ряд обобщающих выводов, касающихся места писателя в истории, культуре, в жизни вообще. И тут общая нацеленность и заостренность статьи на трагедии современного писателя приводит автора к крайним и весьма спорным выводам относительно писательских судеб в России, в истории русской культуры, безотносительно к режиму. Между прочим невольно приходит в голову, что сам автор отдает себе отчет в крайности своих выводов, но оставляет их ради «ударности» общей концепции. Именно поэтому и имеет смысл на этом остановиться.

Прежде всего трагическую по своей остроте и жестокости коллизию (писатель — режим) автор как бы переносит на всю историю русской литературы (упоминаются имена Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого). Но дело то все в том, что никогда судьба писателя в исторической России не приближалась к той кровавой трагичности, которую автор вскрывает в современности. И тот факт, что Тургенев, скажем, побывал в полицейском участке, Пушкин был ссылает на юг и в Михайловское, Лермонтов — на Кавказ, и все они были в сложных отношениях с цензурой, никаким образом не допускает даже чисто формального сближения их судеб с современ-

* «Континент» № 1.

ным положением их собратьев в СССР. Судьбы и смерть Пушкина и Лермонтова, конечно, трагичны, но совсем не в том смысле, в каком трагична судьба современной нам русской литературы и не в том смысле, который во что бы то ни стало хотят придать гибели Пушкина и Лермонтова официальные идеологи советского режима. И если сам автор статьи подчеркивает, что Пушкина убили «не за это» (не за смелость художественного слова), то тем самым и упоминание этих имен в данном контексте кажется довольно рискованным. С другой стороны, психологически естественно и понятно, что писателям в СССР, добивающимся свободы художественного (и всякого другого) высказывания хочется и даже в некотором смысле необходимо связать свою судьбу с судьбой крупнейших представителей русского духа. Современные русские писатели имеют на это право. Но только в смысле верности тем основным принципам, без которых никакое творчество вообще невозможно, а не в смысле похожести политической ситуации и политических конфликтов.

При подходе к русскому девятнадцатому веку необходимо учитывать, что не только политико-психологическая ситуация была тогда совершенно иной, но и сами категории мышления, такие как «политика», «власть», «строй», «народ», имели совершенно иное значение. Что искусство всегда — напряжение до предела, всегда выход за пределы нормы, всегда борьба за новизну, всегда «поверх барьера» совершенно несомненно. Но конфликтное и трагическое политическое значение все это приобретает только тогда, когда режим планомерно *удушает всякое творчество*, потому что этот режим ни в каком творчестве *не нуждается*. Ситуация, существующая в СССР беспримерна, и тут не может быть никаких исторических сближений. Ведь планомерное удушение культуры в Советском Союзе только по имени совершается ради «торжества идеологии», в действительности же оно происходит во имя сохранения абсолютного нуля, лживой мертвчины, потому что режим ни на что кроме мертвчины не способен. Он не способен даже понять суть тех идей против которых борется. Мертвцы — представители режима — борются за свое мертвленное существование и естественно стремятся убивать живых. Такой ситуации в старой России никогда не было и быть не могло.

При подходе к России девятнадцатого века необходимо

учитывать, что Россия того времени представляла собой многосторонний комплекс, в котором действовали разные силы, имели место совершенно различные по своему происхождению конфликты, но сам организм в целом был жизнеспособен и в принципе, конечно, личности никак не враждебен. Старый строй был принципиально враждебен вовсе не личности или культуре, а лишь некоторым идеям и действиям. Эту враждебность ответственные представители старого строя высказывали и аргументировали откровенно, при чем им нельзя отказать ни в логике, ни в принципиальной обоснованности точки зрения. Среди искренних сторонников монархии в девятнадцатом веке можно назвать имена, говорящие сами за себя: Карамзин, Жуковский, граф Блудов (министр внутренних дел), Д. А. Милютин (военный министр), Тютчев, Хомяков, братья Киреевские, Киселев (министр государственных имуществ), А. К. Толстой, Константин Леонтьев и очень многие другие. Нравственный авторитет и удельный вес этих людей не вызывает сомнения. Их преданность делу — тоже. Мертвцами их не назовешь и на одну доску с современными представителями режима не поставишь. Достаточно характерно, что эти люди в тот или иной период воевали с цензурой (с ней же воевал и Митрополит Филарет Московский — тоже сторонник монархии). Все они чуждались официозности, когда могли защищали писателей от неприятностей и очень часто входили в конфликт с администрацией. Администрация и цензура не были для них ни синонимом строя, ни его непременным и абсолютным выражением. Многие писатели служили в цензуре (Тютчев, Гончаров, С. Аксаков, В. Одоевский). Часто они своей работой тяготились, но продолжали ее пока считали, что могут приносить пользу. Абсолютной безздны, разделявшей страну на два лагеря, как сейчас в СССР, в девятнадцатом веке не было и быть не могло.

Когда умер Пушкин то, как известно, «вся Россия облеклась в траур» — это именно значит *в с я* — без разделения людей по политическому принципу, хотя, конечно, на стороне Пушкина оказались по преимуществу люди большой моральной высоты и художественной чуткости.

Самим представителям русской администрации девятнадцатого века не приходило в голову приписывать себе непогрешимость. Столкновение с властью или с администрацией та-

ким образом было явлением обычным, оно было неприятностью, иногда даже очень значительной, но никогда не могло носить характер конфликта советского типа. Писатели старой России не были в полной зависимости от властей и администрации, как в СССР. Старая Россия не разделялась на убивающих и убиваемых. Можно еще добавить, что цензура и администрация в девятнадцатом веке выражали, так сказать, средний уровень требований, средний уровень чиновников цензурного ведомства или министерства просвещения, а иногда может быть и самих читателей (во всяком случае цензура к вкусу среднего читателя прислушивалась). Писателям (и не только им, а вообще людям выше среднего уровня) это бывало тяжело, порой даже невыносимо, но это не были кровавые трагедии. Все развитие русской прозы девятнадцатого века тому порукой. Ведь советская цензура попросту русскую прозу двадцатого века удушила, с чем согласен и автор статьи. Старая цензура литературу ограничивала (иногда совершенно ошибочно), советский же режим стремится начисто свободу литературы убить. В этом разница по существу, а не в степени только.

Кроме того, при подходе к русскому девятнадцатому веку не следует упускать и общие закономерности развития культуры. Ритм, пульс двадцатого века естественно совершенно иной. Дело в том, что общие идеи, лежавшие в основе русской государственности и культуры, находились на уровне своего времени, они уходили в восемнадцатый век и даже в более ранние эпохи. В этом отношении Россия была частью общеевропейского комплекса и, если отставала от Европы, то вовсе не так уж сильно. Екатерина Вторая находилась, как известно, в кругу идей французского и английского рационализма, а также классицизма во всем, что касалось искусства и культуры. Представители высшей русской администрации были людьми, воспитанными на классицизме. Они занимали административные посты чуть ли не до середины девятнадцатого века. Следует помнить, что рационалистический классицизм смотрел на вопросы взаимоотношений государства, личности и общества, на проблемы искусства, народности и теории власти совершенно по иному, чем смотрит наше время. Эпоха просвещенного абсолютизма, когда закладывались основы русской культуры (т.е. государства, как одной из форм культуры) исходила из неизыблемости государственного строя и, между прочим, из того

положения, что юридические права человека неотделимы от степени его просвещенности и что рост просвещенности естественно влечет за собой увеличение юридических прав. И даже в тех случаях когда человек занимал государственный пост так сказать «по заслугам предков» молчаливо считалось, что общество, среда, контекст, в котором он живет могут компенсировать его личные недостатки. Для классицизма такой взгляд был совершенно логичным. Что касается вопроса народности, индивидуальности, проявления в культуре национальных особенностей — у классицизма на этот счет был свой, очень определенный взгляд, совершенно отличающийся от взгляда нашего времени. Такой взгляд не способствовал развитию этих факторов культуры. Все это не только влияло на цензуру, теорию воспитания, юридические нормы, даже просто на вкусы людей, но создавало сами эти явления и было с ними органически связано. А формы администрации и бюрократии всегда более или менее консервативны.

Подчеркиваем, что в то же время рационалистический классицизм ни в какой степени не был государственной идеологией, как марксизм, и никто, конечно, классицизма не навязывал — эти идеи естественно и органично входили через воспитание, через весь уклад жизни определенной среды. Крупные русские писатели девятнадцатого века столь же естественно были новаторами. Писатели делали иную эпоху, для которой нормы рационалистического классицизма были уже прошлым, они были преодолены. Конечно новаторами в девятнадцатом веке были не только писатели, но и люди стремившиеся к реформам, к сдвигам, к новым общественным формам, опять таки в соответствии с новой эпохой. Столкновение их с цензурой и администрацией в этом случае совершенно естественно и носит совсем иной характер, чем то, что творится сейчас в СССР. Поэтому смешивать прошлое с настоящим или проводить параллели между тем и другим может быть и «эффектно», но не исторично. На русской арене девятнадцатого века боролись между собой идеи и те из них, которые были жизнеспособны, побеждали. На сегодняшний день в СССР дело идет, как видно и из статьи А. Терца, вовсе не о борьбе идей — ни марксизм в его конкретном историческом преломлении в Советском Союзе идеей считать невозможно, ни его фактических носителей (обладающих в условиях советского режима абсолютной пол-

нотой власти, пока их не уничтожат) идеологами считать нельзя.

Из всего сказанного выше следует, между прочим, что в противоположность современной ситуации в СССР для старой России идеино-художественный протест и протест политический вовсе не одно и то же и уравнивать в правах эти явления не целесообразно, даже в чисто публицистических целях.

Когда думаешь о тех катастрофических разрушениях, которые советский режим причинил и причиняет русскому характеру, русской жизни, русскому способу мыслить, прежде всего наталкиваешься на факт, что многое уничтожено до тла и никогда *не сможет быть восстановлено*. Та борьба, которую ведет современная русская литература вызывает чувство восхищения и гордости за нее. Но за культуру, как таковую, страшно. Страшно не только потому, что культуру физически уничтожают, а потому что целые области культуры в этих условиях не могут развиться. Творчество людей ограничено не только внешними условиями, но и политическими требованиями. Основное же требование на сегодняшний день — борьба. Поэтому современная русская литература не может не быть остро-публицистической. А эта публицистичность, в свою очередь, сужает рамки и возможности литературы, создавая новый органический конфликт и заколдованный круг. И при этом кладя тень своей публицистичности, своей сегодняшней борьбы на все русское прошлое — и невольно искажая его суть.

Если ставить проблему запретной темы в литературе вообще, как это делает автор (скажем в русской литературе за все время ее существования), следует отдать себе отчет в том, что дело собственно не в запретной теме, как таковой, а только в том — кем, как и почему она запрещена. В СССР запрет на темы налагает власть и только она. В старой России запрет далеко не всегда сводился к требованию властей, иногда он диктовался обществом и был, в таком случае, явлением очень сложным, корни которого следует искать в глубинных пластах культуры эпохи. Таким образом, нарушение запрета нельзя абсолютизировать, нельзя также забывать, что творческая новизна и «нарушение запрета» вообще не синонимы, хотя и становятся таковыми в конкретных условиях советского режима.

Все эти соображения высказаны не в плане защиты русского девятнадцатого века от века двадцатого, а исключительно в плане диалога о ценности. Добавим, кроме того, что метод беспредпосыльного экзистенциализма, принятый А. Терцем-Синявским, не всегда помогает вскрыть конкретные проблемы культуры, тем более в историческом плане.

Олег Ильинский

НОВАЯ КНИГА В ИЗД-ВЕ «МОСТ»

Роман Гуль

«КОНЬ РЫЖИЙ»

автобиография — второе издание

В книге 288 стр., 11 фотографий, цена 6 дол. До этого в изд-ве «Мост» вышли книги Р. Гуля: «Одвуконь» (6 долл.), «Азеф» (6 долл.) «Дзержинский» (4 долл.), «Бакунин»

(6 долл.). Заказы на все эти книги направлять:

“THE NEW REVIEW,” 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
и во все русские книжные магазины.

УРОКИ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

В бунинских дневниках, напечатанных в 116 книге «Нового журнала», есть запись о смертном приговоре, вынесенном в Нюрнберге международным военным трибуналом десятерым ближайшим сподвижникам Гитлера:

«14/Окт/46 г.... Все думаю, какой чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. Чудовищно преступны, достойны виселицы — и все таки душа не принимает того, что послезавтра будет сделано людьми. И совершенно невозможно представить себе, как могут все те, которые послезавтра будут удавлены как собаки, ждать этого часа, пить, есть, ходить в нужник, спать эти две последние ночи на земле...»

Очень верное, по-моему, описание того, что должен чувствовать всякий нормальный человек, думая о нюрнбергском процессе. В зале суда показывали документальные фильмы, снятые союзниками в гитлеровских концлагерях: груды беспорядочно сваленных в ямы костлявых, раздетых донага трупов. За несколько лет — 12 миллионов погибших. Невместимый сознанием ужас: это сделали с ними другие люди, как они могли, вот это «совершенно невозможно себе представить», и это нельзя простить, этого не должно быть и все-таки было. Те, кто это сделали, «чудовищно преступны, достойны виселицы». Но когда они, их только что показывали живыми на скамьях подсудимых, один за другим с петлей на шее проваливались в люк в полу, было страшно смотреть. Бунин прав: «душа не принимает». Говорят, даже растения сжимаются, когда поблизости убивают живые существа.

Главный обвинитель от Советского Союза Руденко произнес гневную речь: «впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия... Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений...

Я от имени Советского Союза, и мои уважаемые коллеги — главные обвинители от США, Англии и Франции, — обвиняем подсудимых в том, что они по преступному заговору правили всей гражданской и военной машиной, превратив государственный аппарат Германии в аппарат по подготовке и проведению преступной агрессии, в аппарат по истреблению миллионов невинных людей».

Руденко восользовался тем, что союзники не знали или были вынуждены обстоятельствами не вспоминать о том, что такие же чудовищные преступления и еще в большем масштабе совершали большевики в России и что это у большевиков нацисты научились, как превратить государственный аппарат в аппарат по подготовке и проведению преступной агрессии по истреблению миллионов невинных людей.

Достаточно сличить документы. В нюрнбергском обвинительном заключении говорилось: «для того, чтобы обеспечить свою власть от всяких покушений... нацистские заговорщики создали и расширили систему террора против своих противников и предполагаемых или подозреваемых противников нацистского режима. Они сажали в тюрьмы этих людей без суда, держали их в так называемом «предварительном заключении» и в концентрационных лагерях и подвергали их преследованиям, унижениям, ограблению, рабству и смерти».

А вот выдержка из доклада Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС: «Массовые аресты и высылки многих тысяч людей, казни без суда и нормального следствия... признания арестованных добывались жестокими и бесчеловечными пытками... Массовый террор против партийных советских кадров и против простых советских граждан... Массовые выселения с родных мест целых народов».

Те же преступления и вся карательная система та же. Сравнить хотя бы описание гитлеровских концлагерей в «Концентрационном мире» Давида Руссе и большевицких в «Архиеплаге Гулаг» Солженицына: те же проклятые методы, те же порядки, такая же страшная «эффективность деятельности». Только гитлеровских лагерей, слава Богу, больше нет. Кровавый третий Рейх миновался, в Западной Германии теперь либеральная демократия, правовой строй. Ну, а в России? «Архипелаг» не исчез и после реабилитаций середины 50-х годов. Теперь его деятельность может быть менее «эффективна», но он не пу-

стует. Вот одно из многих свидетельств: обращение в 74 году политзаключенных Леонида Бородина, Юрия Галанского, Александра Гинсбурга, Юрия Иванова, Виктора Кальниша, Вячеслава Платонова и Михаила Садо к семерым деятелям советской культуры. В этом обращении говорится: «Позорная система лагерей принудительного труда (сохранившаяся только в России и Китае) попрежнему осталась краеугольным камнем пенитенциарной практики. Россия попрежнему опутана сетью лагерей, в которых, вопреки всем международным конвенциям, где есть подпись и советского правительства, применяется принудительный труд, жестокая эксплуатация, где люди систематически не доедают, подвергаются издевательствам, где унижается их человеческое достоинство. Через эти лагеря пропускается непрерывный, миллионами исчисляемый людской поток, возвращающий обществу физически и нравственно искалеченных людей». Авторы письма отмечают, что эта карательная политика разрабатывается особыми экспертами «с цинизмом достойным экспертов по лагерям третьего Рейха».

С тоской спрашиваешь себя: как могло все это произойти в двух великих странах христианской культуры? Ведь каждая из них столько дала человечеству! И как жить после этого, ходить в гости и на собрания, «упиваться гармонией»? И что же нужно сделать с человеком и с обществом, чтобы это больше не повторилось, не могло повториться, ведь иначе история теряет человеческое значение и люди станут еще меньше людьми, чем в прошлые тысячелетия?

Это главные вопросы нашего времени. Материалы Нюрнбергского процесса частично на эти вопросы отвечают. Руденко заявил в Нюрнберге: «впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений. Впервые, наконец, в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации ими созданные». И действительно, международный военный трибунал в Нюрнберге не только признал ответственность членов руководящего ядра национал-социалистической партии за все преступления гитлеровского режима, но и самий этот режим признал преступным. В разделе первом обвинительного заключения, составленного комитетом главных обвинителей от СССР, Франции, Великобритании и США говорилось: «Для того,

чтобы достичнуть своих целей и задач, нацистские заговорщики подготовили захват тотального контроля над Германией...» Прочтем все статьи этого первого раздела: если заменить слова «нацистские заговорщики» словами «большевицкие заговорщики» и перенести место действия в Россию, мы получим точное описание большевицкой революции. Чтобы, упаси Боже, меня не обвинили в упрощенном архаическом антикоммунизме, я буду ссыльаться исключительно на свидетельства представителей «революционной демократии» — меньшевиков, эсеров, анархистов, старых большевиков — а не каких-нибудь там «контрреволюционеров».

«Нацистские заговорщики низвели Рейхстаг на положение органа, состоящего из их ставленников». А большевицкие заговорщики что сделали?

Эсер Марк Вишняк рассказал в своей книге «Дань прошлому» о разгоне Учредительного собрания. Сначала Бухарин укорял эсеровское большинство за желание защищать «паршивенькую буржуазно-парламентарную республику», а потом поднялся на трибуну матрос Железняков.

Проект декрета о роспуске составил сам Ленин. Главную провинность свободно и всенародно избранного Учредительного собрания он определил так: «оно дало большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова». Ленин далее писал, что революция передала всю власть в руки Советов и поэтому «всякий отказ от полноты власти Советов был бы шагом назад». Дескать, вот почему пришлось разогнать. На деле вся полнота власти очень скоро из рук Советов перешла в руки ленинского ЦК. В 20-м году знаменитый анархист Петр Кропоткин заявил: «Россия уже стала советской республикой лишь по имени. Наплыv и верховенство людей «партии» уже уничтожили влияние и силу этого многообещавшего учреждения — Советов... Теперь правят в России не Советы, а партийные комитеты... И если теперешнее положение продлится, то самое слово «социализм» обратится в проклятие». Предсказание Кропоткина сбылось. Для миллионов советских граждан слово «социализм» стало проклятием.

Возьмем другую статью Нюрнбергского обвинительного заключения: «После поджога Рейхстага 28 февраля 1933 года те пункты Веймарской конституции, которые гарантировали свободы личности, слова, печати, собраний и союзов, были от-

менены». Так же орудовали и большевики. Захватив власть, они немедленно ввели предварительную цензуру. Против этого протестовали многие известные писатели, даже Максим Горький. В газете «Новая Жизнь» он писал: «Горло печати зажато «новой» властью, которая так позорно пользуется старыми приемами удушения свободы слова...»

Протестовали не только писатели. В ноябре 17 года Союз рабочих печатного дела обратился к стране с воззванием: «Рабочие и солдаты! Революция лишена всех завоеванных ею свобод... Печать загнана в подполье. Свобода печати стала привилегией одной только партии — большевицкой. У революции отнято слово. Россия вновь молчит... Свобода печати была за-воевана всем народом и для всего народа. И печатники, требуя от всех пролетариев и граждан поддержки в борьбе за свободу печати, защищают не свой узко-профессиональный интерес, а право всей демократии».

К концу 19 года были закрыты последние независимые газеты.

Следующая статья Нюрнбергского обвинения: «Нацистские заговорщики уничтожили свободные профессиональные союзы в Германии путем конфискации их средств и собственности, преследуя их руководителей, запретив их деятельность и заменив их примыкающей к нацистской партии организацией... таким образом, любое потенциальное сопротивление рабочих оказывалось тщетным и производительность труда германской нации была фактически поставлена под контроль заговорщиков...»

Такую же политику «срашивания» профсоюзов с бюрократическими органами партдиктатуры проводили и большевики. В двадцатом году на восьмом Всероссийском съезде Советов меньшевицкая делегация внесла резолюцию с резкой критикой антирабочей политики партии: «Рабочие организации — и политические, и хозяйствственные, и культурные сверху до низу низводились систематически до роли безвольных и бездушных исполнителей предначертаний советской бюрократии. При малейшей попытке выявить свою действительную волю они распускались, выборные правления арестовывались и заменялись назначенцами, а рабочие массы совершенно отстранялись от всякого влияния на ход дел в организациях, которые на бумаге числятся пролетарскими».

В 1922 году накануне 11-го партсъезда двадцать два члена РКП(б) во главе с Шляпниковым, Медведевым и Коллонтай жаловались первому расширенному пленуму исполкома Коммунистического Интернационала: «Наши руководящие центры ведут непримиримую, разлагающую борьбу против всех, особенно пролетариев, позволяющих себе иметь свое суждение, и за это высказывание его в партийной среде применяют всяческие репрессивные меры... В области профессионального движения та же картина подавления рабочей самодеятельности, инициативы, борьбы с инакомыслием всеми средствами. Объединенные силы партийной и профессиональной бюрократии, пользуясь своим положением и властью, игнорируют решения наших съездов о проведении в жизнь начал рабочей демократии. Наши фракции союзов, даже фракции целых съездов лишаются права выявлять свою волю в деле избрания своих центров. Опека и давление бюрократии доходят до того, что членам партии предписывается под угрозой исключения и других репрессивных мер избирать не тех, кого хотят сами коммунисты, а кого хотят интригующие верхушки...»

На самом съезде представитель рабочей оппозиции Рязанов жаловался: «хозяйственники ставятся партией, профработники ставятся партией... Мы в этой компании за увеличение производительности труда перегнули палку в сторону траты человеческой рабочей силы».

Уже в 18 году запылали первые рабочие и крестьянские восстания. (Смотри брошюру Юрия Сречинского «Как мы покорялись»). В начале 21-го года в «Известиях Временного Революционного комитета красноармейцев, матросов и рабочих города Кронштадта», говорилось: «Совершая октябрьскую революцию, рабочий класс надеялся достичь своего раскрепощения. В результате же создалось еще большее порабощение личности человека... Рабочих прикрепили к станкам, сделав труд не радостью, а новым рабством. На протесты крестьян, выражавшиеся в стихийных восстаниях, и рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам, коммунисты отвечают массовыми расстрелами».

Продолжаем чтение Нюрнбергского обвинительного заключения: «нацистские заговорщики путем доктрин и практики, несовместимых с христианским учением, пытались ликвидировать влияние церкви на народ и в особенности на молодежь

Германии». И это говорится в судебном обвинении, подписаным Руденко(!), представителем власти, которая открыто ставила себе целью уничтожение религии!

Игорь Шафаревич в заявлении, сделанном в Москве при появлении сборника «Из-под глыб» напомнил: «Рим знал отдельные гонения на христиан: Нерона, Деция, Диоклетиана. Но в нашей стране вот уже почти 60 лет происходит одно не-прекращающееся гонение на религию». И действительно римские гонения на христиан по числу жертв не сравнить с большевицкими. Самое кровавое началось при Диоклетиане в 303 году. Списки мучеников сохранились. По самым верным источникам погибло тогда по всей Империи от трех до трех с половиной тысяч христиан. А большевики замучили и убили **миллионы верующих**. Мне скажут, все это в прошлом, теперь в Советском Союзе свобода религии, есть «действующие» церкви, патриарх даже есть. Патриарх и в самом деле есть, но концлагеря попрежнему полны религиозниками. Один из бесчисленных примеров: 8 февраля 1974 года, в городе Талды-Кургане, в областном суде судили группу христиан-баптистов. Им вменялось страшное злодеяние: «систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних религии». Суд увидел тут нарушение закона об отделении церкви от государства и приговорил баптистов по статье 130 Уголовного кодекса Казахской ССР: четырех к пяти годам заключения в исправительно-трудовых колониях, одного к трем годам, одного к трем годам условно.

Нюрнбергское обвинительное заключение: «нацистские за-говорщики резко ограничили независимость суда и сделали его послушным орудием нацистских целей».

Андрей Вышинский «Курс уголовного процесса»: «генеральная линия партии лежит в основе всего государственного аппарата... Она является основой и советского суда». Разве не то же самое? Только Вышинский шел дальше нацистов. Он учил, что революционные трибуналы — орудие классовой борьбы, орудие расправы с классовыми врагами. И действительно эти трибуналы были только подсобными органами чрезвычайки. «Ч. К., — учил Лацис, — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту. Он не судит врага, а разит. Не милует, а испепеляет всякого... Не ищет на следствии материала и до-

казательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысле сущность красного террора». Цитирую по недавно переизданной книге Романа Гуля «Дзержинский». Изданная впервые почти сорок лет тому назад эта книга читается теперь, как вступление к великому исследованию Солженицына «Архипелаг Гулаг».

Опять мне скажут: с тех пор в Советском Союзе все изменилось, враждебных классов больше нет и суды теперь совсем другие: народные судьи избираются гражданами на основе всеобщего и прямого избирательного права, а Верховный Суд назначается Верховным Советом СССР, то-есть формально народными представителями. Все это верно, но по Конституции коммунистическая партия представляет руководящее ядро всех общественных организаций, которые имеют право выставлять кандидатов. Это значит, что фактически судьи назначаются партией и партии подчинены. Партдиктатура не знает основного начала демократии — разделения властей, она полностью суд контролирует.

Здесь мы подходим к основной статье Нюрнбергского обвинительного заключения: «нацистские заговорщики запретили все политические партии за исключением нацистской партии. Они сделали нацистскую партию правящей организацией с обширными и чрезвычайными полномочиями... Нацистские заговорщики низвели Рейхстаг на положение органа, состоящего из их ставленников... Создали сеть новых государственных и партийных организаций и «координировали» государственные учреждения с нацистской партией и ее отделами...».

Ну, а большевицкие заговорщики? Уже в 1918 году они запретили все некоммунистические партии, даже самые левые. По легендарному выражению Бухарина: «у нас может быть много партий: одна легальная, а все остальные в тюрьме». О том к чему приведет диктатура одной партии предупреждали некоторые старые большевики. Так 17 ноября 1917 года, когда большевики еще делили власть с левыми эсерами, на заседании ВЦИКа Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов нарком Ногин от своего имени и от имени трех других нарко-

мов — Рыкова, Миллютина и Теодоровича заявил: «Мы стоим на точке зрения образования социалистического правительства из всех социалистических партий... Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет народных комиссаров...».

Предсказание Ногина, что диктатура одной партии может держаться только террором сбылось в страшном опыте и большевицкой и нацистской революций. Замена либеральной плюралистической демократии диктатурой одной партии привела и в России и в Германии к массовому террору. Так было и в опыте французской революции. Установление якобинской диктатуры привело к «Большому террору». Впрочем, мне приходилось уже об этом писать, по сравнению с большевицким или нацистским якобинский террор, как бы ужасен он ни был, не назовешь «большим»: сорок тысяч гильотинированных и убитых по тюрьмам, а не *миллионы*.

Но вернемся к большевицкой революции. Несмотря на предупреждение четырех наркомов и многих старых большевиков Ленин пошел по пути, который привел в сталинщине: диктатура компартии, упразднение всех свобод, беспощадный террор. Эсеровская газета «Дело народа», одна из последних еще выходивших тогда независимых газет, писала: «Подавив свободную печать, уничтожив неприкословенность личности, покончив со всеми демократическими свободами и заменив их скорострельными судами, исключив из Советов все неугодные ему социалистические партии, сея всюду смерть и разрушение, Цека большевиков бесконтрольно и самовластно, безответственно управляет Россией...».

Против самодержавного правления ленинского ЦК противостояли и многие коммунисты. На 8-м партсъезде в марте 1919 года они жаловались на постоянные нарушения внутрипартийной демократии. Старый большевик Валериан Осинский на первом заседании организационной секции заявил: «Деятельность партии была перенесена в Центральный комитет. В ЦК установилась политическая линия. Что делалось в самом ЦК, об этом местные организации не осведомлялись. Да и сам ЦК, как коллегиальный орган, в сущности говоря, не существовал... Каким же образом за это время определялась партийная политика? Преимущественно так, что товарищи Ленин и Сверд-

лов решали очередные вопросы путем разговоров друг с другом и теми отдельными товарищами, которые опять-таки стояли во главе какой-нибудь отрасли советской работы...».

На следующем, девятом съезде в марте 1920 года другой член группы «демократического централизма» старый большевик Тимофей Сапронов протестуя против «вертикального централизма» заявил: «...сколько бы ни говорили об избирательном праве, о диктатуре пролетариата, о стремлении ЦК к диктатуре партии, на самом деле это приводит к диктатуре партийного чиновничества. Это факт. И как бы вы, товарищ Ленин, ни были грамотны и как бы мы невежественны и безграмотны ни были, никакие заявления, что этого нет, не помогут, никакими словами замазать этого нельзя. Стремление к единонаучанию видно не только в управлении фабриками и заводами, оно уже заметно в стремлении заменить советы, исполнкомы, президиумы губернаторами и после этого всеу говорить о самодеятельности рабочих, об избирательных правах и так далее... Никакой самодеятельности нет! Вы и членов партий превращаете в послушный граммофон, у которых имеются заведующие, которые приказывают: иди и агитируй, а выбирать комитет, свой орган не имеют права. Я тогда задам вопрос товарищу Ленину. А кто же будет назначать ЦК? А впрочем и здесь единонаучение. Тоже здесь единонаучальника назначили. Очевидно, мы до этого не дойдем, а если дойдем, то революция будет проиграна... Но все-таки позвольте нам, невеждам, задать вам вопрос. Если вы идете по этой системе, думаете ли вы, что в этом спасение революции? Думаете ли вы, что в машинном послушании спасение революции?»

Некоторые старые большевики критиковали самовластие ЦК и на 11-м партсъезде. На вечернем заседании 27-го марта Давид Рязанов заявил под грохот аплодисментов: «Наш ЦК совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может, он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее: он уже не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается... нет ли чего-нибудь во всем нашем строительстве такого, что ослабляет нашу партию: ЦК нарушил и не провел в жизнь тогда, когда это можно было сделать, в течение всего этого года, все начала внутрипартийной демократии...».

Испуганная обнаружившимися на съезде оппозиционными настроениями правящая группировка приняла решение учредить должность Генерального секретаря. На эту должность был «избран» Stalin.

Так еще при Ленине была заделана последняя отдушина плюрализма — допущение внутрипартийной оппозиции. Но многие старые большевики еще продолжали противиться. Осенью 1923 года группа «сорока шести», образованная сторонниками Троцкого и бывшими руководителями группы «демократического централизма» выступила с заявлением: «Режим, установившийся внутри партии, совершенно нетерпим. Он убивает самодеятельность партии, подменяя партию подобранным чиновничим аппаратом».

На 13-м партсъезде в мае 24-го года обсуждалась брошюра Троцкого «Новый курс». Троцкий писал в этой брошюре: «Партия живет на два этажа: в верхнем решают, в нижнем — только узнают о решениях... Главная опасность старого курса, как он сложился в результате как больших исторических причин, как и наших ошибок, состоит в том, что он обнаруживает тенденцию ко все большему противопоставлению нескольких тысяч товарищей, составляющих руководящие кадры, всей остальной партийной массе, как объекту воздействия... Дело не в отдельных уклонениях от правильной, идеальной линии, а именно в аппаратном курсе, в его бюрократической тенденции. Заключает ли в себе бюрократизм опасность перерождения или нет? Было бы слепотой эту опасность отрицать...»

В 26 году, в 14 номере журнала «Большевик» Яков Оссовский доказывал необходимость двух партий. В наказание Оссовский был из партии исключен. На расширенном пленуме Исполкома Коммунистического интернационала в декабре 26-го года Stalin обвинил в стремлении создать вторую партию уже всю оппозицию. «Оппозиционный блок, — сказал Stalin, — есть зародыш новой партии внутри нашей партии. Разве это не факт, что оппозиция имела свой центральный комитет и свои параллельные местные комитеты?.. Задача в том, чтобы разбить этот блок и ликвидировать его».

Stalin победил. Последний голос в защиту внутрипартийной демократии прозвучал в «Дискуссионном листке» номер 6, приложенном к «Правде» от 22-го ноября 27 года. В статье «Уроки внутренней борьбы» Александр Шляпников пи-

сал: «Настало время установить внутри партии другой порядок, при котором члены партии могли бы обсуждать, решать и действовать без бюрократической опеки чиновников, не спрашивая разрешения секретарей. Только при открытом обсуждении всех вопросов, по которым возникают разногласия, партия и рабочие массы сумеют правильно оценить, кто куда идет: вправо или влево. Без этих условий борьба с разногласиями, борьба с инакомыслием принимает характер расправы. Однако, карательная политика никогда и нигде разногласий не разрешала, не разрешит их она и у нас».

С тех пор открытых разговоров о внутрипартийной демократии и о второй партии больше не было. Оппозиционный блок был окончательно разбит и ликвидирован. Но вот в феврале 36 года приезжал в Париж Бухарин. Приезжал для приобретения архивов Маркса и Энгельса, переданных германской социал-демократической партией на хранение меньшевику Борису Николаевскому. В разговоре с Николаевским о проекте конституции СССР Бухарин сказал: «Вторая партия необходима. Если на выборах выдвигаются кандидаты только одной партии и нет состязания, то это то же самое, что у фашистов. Для того, чтобы люди как в России, так и на Западе видели, что мы не нацисты, мы должны иметь систему, при которой партии состязались бы на выборах».

Ни в России, ни на Западе людям не суждено было увидеть, что большевики не нацисты. А. Авторханов в своей работе «Происхождение партократии» приводит знаменательное заявление Муссолини в октябре 1939 года: «Большевизм в России исчез и на его место встал славянский тип фашизма». В той же книге Авторханов рассказывает, что Риббентроп после банкета, данного в его честь Политбюро по случаю заключения пакта между Сталиным и Гитлером, говорил, что он на этом банкете «чувствовал себя в Кремле, словно среди старых партийных товарищей». Напоминает Авторханов и о том, как понимал диктатуру пролетариата Ленин. «Партия, — писал Ленин, — вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру», то-есть диктатуру пролетариата осуществляет от имени пролетариата партия. А диктатуру Ленин определял так: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими

кими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

В 26 году, в брошюре «Вопросы ленинизма» Сталин еще обстоятельнее чем Ленин объяснил, что это такое «диктатура пролетариата»: «Высшим выражением руководящей роли партии, например, у нас, в Советском Союзе, в стране диктатуры пролетариата следует признать тот факт, что ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас нашими советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партии. В этом смысле, можно сказать, что диктатура пролетариата есть, по существу, «диктатура» его авангарда, «диктатура» его партии».

В следующем 27 году в номере 7-8 журнала «Большевик» Сталин уже без всяких обиняков утверждает: «Руководство перешло целиком и полностью в руки одной партии, в руки нашей партии, которая не делит и не может делить руководства с другой партией. Это и называется у нас диктатурой пролетариата».

Таким же верным учеником Ленина в вопросе диктатуры партии был Гитлер. В 1934 году он объявил в специальном законе существование всякой другой партии преступлением. Подражал Гитлер Ленину и Сталину и в сентябре 34 года в речи на съезде нацистской партии: сознанием своей исключительности... партия должна быть исполнена железной решимости не допускать существования ни одного политического соперника». В речи в Рейхстаге, 20-го февраля 38 года Гитлер так определил руководящую роль партии: «величайшая гарантия национал-социалистической революции заключается в полном внешнем и внутреннем господстве национал-социалистической партии над Германией и всеми учреждениями и организациями Германии».

Еще большим подражателем Ленину и Сталину был Гебельс. Он долго колебался в молодости к какой партии примкнуть: национал-социалистической или коммунистической. На митинге в Берлине 10-го марта 33 года он сказал: «национал-социалистическое миросозерцание заключает в себе тотальное оформление политической воли немецкого народа». Совсем как утверждения советской печати, что коммунистическая партия была, есть и будет единственным властителем дум, выразителем мыслей, воли и чаяний, руководителем и организатором народа.

Геббельса особенно восхищало, как Сталин ликвидировал внутрипартийную оппозицию. 8 мая 43 года он записывает в своем дневнике: «преимущество Сталина перед нами в том, что он избавился от всякой оппозиции, уничтожив за двадцать лет всех оппозиционеров».

Сомнения нет: нацистская революция — питомица большевицкой. Диктатуру своей партии нацисты строили по образцу диктатуры КПСС и свою идеологию они сделали такой же государственной религией, как большевики марксизм. Для показа поразительного сходства «анатомии» большевицкой и нацистской революций можно привести еще великое множество свидетельств. Приведенных мною, думаю, уже достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Вот важнейшие из них, вернее их заглавия.

Вывод первый. Никакая даже самая великая цель и никакие достижения не могут оправдать массовый террор и нечеловеческий концентрационный мир. Убеждение в этом должно быть безоговорочным, императивным как десять заповедей. Никаких рациональных или метафизических доказательств тут не нужно. Это нравственная аксиома, которая должна быть вынесена за скобки всех дискуссий. Обо всем можно спорить, только не об этом. С тем, кто этого не чувствует, не стоит говорить.

Вывод второй. Большевицкие и нацистские заговорщики одинаково начали с убийства демократии, с замены либерально-демократического правового строя партдиктатурой. По существу две эти революции — только два варианта одной и той же тоталитарной революции двадцатого века, вернее антидемократической контрреволюции и стихийного восстановления тоталитарных структур древних империй и первобытных кланов. Как могло произойти это убийство демократии, как мир допустил? И почему и в России и в Германии демократия так легко рухнула, в Германии чуть ли не по всенародному голосованию. Опять, как в первые годы эмиграции многие теперь говорят: либеральная демократия привела к тоталитаризму, «породила» тоталитаризм. Более симпатичный вариант: «да, демократия хорошая вещь, я сам люблю демократию, но почему демократии так легко кончают самоубийством?» На это можно было бы ответить: самоубийством кончают вовсе не все демократии и не только демократии, случается это и с самыми авто-

ритарными режимами. Но есть все же в этих разговорах о склонности демократий к самоубийству грозное напоминание. В 57 году в Стокгольме Альбер Камю при получении Нобелевской премии сказал: «Сохранение демократии самое трудное дело на свете. Демократия это не что-то завоеванное раз навсегда. Она может быть потеряна в несколько часов. Она требует постоянной заботы, постоянного обновления». Какой же сделать вывод? Усомниться в демократии? Нет, надо искать средства, как предохранить демократию от гибели врасплох.

Но вот раздаются уже и другие голоса: да такая ли уж хорошая вещь демократия? Вслед за Бердяевым многие верят, что в недемократических странах свободы может быть больше, чем при либеральной демократии, с ее юридическим формализмом. Материалы Нюрнбергского процесса напоминают к чему приводит упразднение демократии. Вы скажете, это западным странам нужно думать о том, как устоять перед натиском марксизма-ленинизма, а перед Россией совсем другая задача: как без новых страшных потрясений и нового моря крови перейти от общества тоталитарного к обществу хотя бы немного более человечному и свободному. Теперь многие и в России и в эмиграции об этом думают. Это и на самом деле самая важная задача. Все так, но память об уроках Нюрнбергского процесса ничему не помешает при обсуждении возможностей перехода без потрясений и разрухи.

Вывод третий. Международный военный трибунал в Нюрнберге не повторил ошибку Версаля. Он возложил ответственность за преступления гитлеровского режима не на немецкий народ, а на ближайших сподвижников Гитлера. Вот указание охотникам объяснять преступления гитлеровского режима национальным характером немцев, а преступления большевистского режима национальным характером русских. Такие разговоры никогда ни к чему хорошему не ведут. Во-первых, каждый определяет характер данного народа пристрастно, в зависимости от того любит он его или нет. Перефразируя одного средневекового автора: у национального характера нос из воска, каждый перелепляет его по-своему и поворачивает в какую хочет сторону. Во-вторых, национальные черты немцев и русских в течение веков менялись, но всегда оставались разными и во многом противоположными. И вся история немцев и русских была другая, и политический и социальный строй

другой, и кровь другая, и обычаи и все традиции другие, а вот пришли к такому же тоталитарному строю только с фасадом, выкрашенным в другой цвет. Уже одно это казалось бы должно было заставить задуматься.

В-третьих, считать весь народ ответственным за преступления его правителей — безнравственно, в последнем счете — это всегда призыв к геноциду. Представление о наследственной коллективной ответственности — трагический пережиток примитивного сознания. Наиболее знаменитый пример: кто приговорил Христа к смерти? Синедрион или Пилат? Во всяком случае Синедрион не имел *jus gladii*, т.е. права казнить. По приказу Пилата Христа распяли римские солдаты. И мы не знаем в какой мере Синедрион представлял еврейский народ. Повидимому в нем главенствовала садукейская аристократия. Не знаем мы и того, сколько членов Синедриона присутствовали в то страшное утро. Толпа кричала: «распни его», но по всем данным это были главным образом солдаты храмовой стражи, преданные первосвященникам. Они конечно не представляли всех жителей Иерусалима, тем более всего еврейского народа, большинство которого уже жило в то время в рассеянии, в Месопотамии, в Персии, по всем берегам Средиземного моря. Все это не приходит в голову погромщику. Примитивное магическое сознание не делает различия между прошлым и настоящим. Когда погромщик говорит «жиды распяли Иисуса Христа» он разумеет не только всех евреев, которые жили при Христе, но и всех теперешних евреев.

Разговоры о том, что русский народ ответственен за все преступления большевицкого режима, какими бы ссылками на историю и пророков эти разговоры не подкреплялись — такие же проявления примитивного сознания, как убеждение погромщиков, что все евреи ответственны за распятие Христа.

Вывод четвертый. В чем же искать тогда объяснение преступлений большевицкого и нацистского режимов, если национальные свойства русских и немцев тут не причем. Во избежание недоразумений я имею тут ввиду не весь многосторонний кризис, коотрый привел к революции в России и в Германии, а только один этот вопрос: почему большевицкая и нацистская революции одинаково завершились построением тоталитарного концентрационного мира. Думается, объяснение надо искать в идеологии этих двух революций. Тут я расхо-

жусь с благородным и героическим апологетом демократии Михаилом Михайловым. Я преклоняюсь перед его подвигом и полностью разделяю его убеждение, что политическая демократия есть величайшее историческое чудо и что эссеция демократии евангельского происхождения. Но я не могу согласиться с его мнением, что идеология не имеет решающего значения для устойчивости и сохранности тоталитарного большевицкого строя. Я убежден в обратном. В тоталитарном обществе 20-го века, в большевицком и нацистском одинаково, идеология выполняет роль того, что Бергсон назвал «статической религией», то-есть социальную и биологическую роль, симметричную роли инстинкта в «совершенных» обществах насекомых. Именно в этом, по-моему, объяснение почему у тоталитарных режимов не бывает и не может быть «человеческого лица».

Но как же так, ведь нацистская идеология совсем другая чем большевицкая: национал-социализм крайняя форма национализма, а марксизм-ленинизм крайняя форма социализма? А вот строй такой же тоталитарный и преступления такие же! Однако, стоит вместо борьбы классов подставить борьбу рас и сразу станет видно: идеологии эти не такие уж разные. Это только две чудовищные метаморфозы видения тысячелетнего царства: оно придет завтра, стоит только истребить нечистивых врагов: классовых, расовых или еще каких-нибудь.

Повторяю, это только перечень выводов из размышлений над уроками Нюрнбергского процесса. Обсуждение каждого из этих выводов потребовало бы отдельной статьи.

В. Варшавский

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И КО ВСЕМ ОТЦАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ И К ХРИСТИНАМ МИРА

Я, политический заключенный, Григорьев Виктор Евгеньевич, обращаясь к мировой общественности, ко всем христианам мира с заявлением, прошу о помощи п/зак, находящимся в бедственном положении, которое невозможно терпеть дальше. Той помощи и того воздействия на советское правительство, которые смогли бы прекратить действия органов МВД на полит. зак., ведущих к физическому и духовно-психологическому уничтожению нас как людей.

Родился я в 1948 г. в Новгородской обл., в Парфине. Национальность — украинец, крещен в Русской Православной Церкви и исповедую православную веру и церковь. Со времени крещения носил крест Господень до того момента, пока учителя той школы, где я учился, не потребовали от моей матери снять его. Пионерская организация ради выполнения нормы по количеству членов, приняла меня в пионеры, хотя я в то время никаким образом не подходил по уставу этой организации быть ее членом. В результате с меня-ребенка, не осознающего себя, был снят символ Бога и надет противоположный по значению и подобию своему символ антихриста, т.е. сатанинский символ. Перед тем как надеть на меня галстук с меня была взята клятва на верность коммунистической партии и советскому государству.

Это был первый акт духовного насилия над человеком, который еще не осознает себя и не может воспринимать мир таковым, каким он есть. Второй акт насилия, подобный первому,

Мы получили этот документ через Самиздат. Полагаем, что какие-либо комментарии к нему лишни. РЕД.

был произведен в 1964 году, в результате которого я стал комсомольцем. В третий раз, в том же году, я насильно был принят в гражданство СССР. В четвертый раз меня насильно забрали в армию, где так же, как и в первый раз, с меня была взята присяга на верность советскому правительству и государству.

Постепенно я начал осознавать и понимать, кто я и что представляет собой тот мир, который меня окружает и который постепенно и неотвратимо-уничтожающе действовал на меня.

В 1966 г. я сжег комсомольский билет и учетную карточку комитета комсомола, так как эта организация по своей идеологической линии, так же как пионерская и коммунистическая организации, прямо противоположны духу христианской веры. Я понял и познал на собственном опыте, что этим организациям мало противопоставлять себя церкви, им нужна борьба с церковью и эта борьба ведется любыми средствами по принципу: цель оправдывает средства, начиная с 1917 г. по наши дни. Результаты пятидесятилетней борьбы очень хорошо видны в наши дни. Государством уничтожено около 44 тысяч только православных храмов. Руины некоторых из них до сих пор являются немыми свидетелями дикого варварства и разбоя, узаконенного правительством от имени народа, того народа, который сотни лет из поколения в поколение ходил в храмы, к Единому Богу и Господину своему, и который никак не мог сам рушить то, что создавал столетиями.

Но коммунистической партии мало было разрушений и грабежей одних только храмов. Эта партия открыто начала и провозгласила физическое уничтожение служителей культа, начиная с патриарха Тихона, отравленного органами ВЧК, епископов, священников, дьяконов, псаломщиков, монахов и просто верующих людей. Жертва, которую принесли народы СССР коммунистической партии, прежде всего поражает ужасной цифрой в 70 миллионов человек, не говоря о том, в каких ужасных муках эти люди расстались с жизнью. Несмотря на то, что Православная и Католическая церкви сняли проклятие с коммунистической партии и с коммунистов, но проклятие десятков миллионов людей, умерших от голода во время искусственного голода тридцатых годов на Украине, в России и других республиках, замученных в годы открытых репрессий

и произвола, висят над партией коммунистов как нож гильотины, который скоро совершил суд правосудия.

Коммунистическая партия, стремясь во что бы то ни стало удержаться у власти, приносит и готова принести во имя свое миллионы жертв. Сегодняшними жертвами этой организации являются 20 миллионов человек, осужденных по уголовному кодексу и около 2 тысяч политических заключенных, томящихся в страшных застенках советских тюрем, концлагерей и сумасшедших домов.

Поняв в армии, что я служу не народу, не государству, а всего лишь организации, на совести которой миллионы жертв, чье знамя окрашено кровью ни в чем не виновных людей, оружие которой не светлые идеи счастья народов, а армейские штыки против всех народов, я отказался служить под командой коммунистов, дезертировав из армии. Стремясь избежать суда за нарушение присяги, я пытался покинуть пределы СССР.

Но эта попытка мне не удалась и меня отправили на так называемое исправление в концлагеря, режимы которых поражают своим бесчеловечным изуверством, основанным на подлости и гадости.

Например, нас за 2 дополнительных рубля, больничный паек и более легкую работу привлекают в целях «исправления» сотрудничать через органы СВП с лагерной администрацией, нелегально с оперчастью и органами КГБ. Из всего этого я делаю вывод, что государство всеми своими силами поддерживает подлость в масштабах всей страны.

Рабский наш труд никак нельзя назвать добровольным. Нас гонят на работу насильно, пуская в ход штрафные изоляторы, карцеры, понижение нормы и без того мизерного пайка. Заставляя от имени правительства работать на пайке ценою в 46 копеек, с нас спрашивают норму выработки выше, чем с вольных рабочих. С нас высчитывают за пайки, кошару, одежду, содержание лагерной администрации. Это ли не издевательство со стороны властей, тех властей, которые за наш рабский труд отращивают животы и погоняют нас на работу законом как палкою?

У меня, как верующего, 8 июля 1972 г. лагерная администрация 385/3, Мордовской АССР, во время обыска личных вещей перед этапированием отобрала или украла рукописи религиозного содержания, 2 иконы, подаренные мне, 7 жур-

налов Московской патриархии и церковный календарь. При этом капитаны Мальченков и Бойков, посмеиваясь, сказали, что режимом «не положено» брать лишнее. Все это я хранил при себе с вещами и для меня вера является самой жизнью. Но коммунисты отнимают у меня жизнь. Лагерная администрация, как одержимая самим сатаной, преследует верующих христиан, бросая нас по любому поводу в карцера, при этом всячески издеваясь над нами, снимает нательные кресты, отнимает молитвенники, псалтыри и священное писание.

17 марта 1971 г. во Владимирскую тюрьму был отправлен из нашего лагеря священник Заливако Борис Борисович только за то, что он, как и положено каждому священнику, творил молитву и служил Богу, исполняя все обряды богослужения.

Безусловно, все это является насилием над свободой личности человека. Насилием, которое исходит от партии коммунистов и советского правительства.

В знак протеста против произвола властей я вынужден был объявить голодовку конвою. Сухой паек я не взял, но конвой, несмотря на это, принял меня. Само этапирование политических заключенных вылилось в целый ряд диких экзекуций. Нас погрузили в переполненные вагоны. В клетку, где должно разместиться по рассчитанным местам 7 человек, конвой затолкал 15-17 человек, а в камеры для троих по пять человек. В результате в вагоне страшное удушье. Окна и вентиляторы были наглухо закрыты. Наше положение усугубилось, когда нагретые на солнце вагоны полили холодной водой. Этим была искусственно создана конденсация испарений. От удушья люди теряли сознание. Из состояния обморока были выведены Данне, Павлов, Гримас, Безуглый, Суслинский и др. Пот разъедал кожу и тела покрылись язвами. В камерах нигде не было сухого места. С верхних нар на нижние и на людей, сидящих на них, ручьями, как вода, скатывался пот. На полу пот разлился озером и люди буквально купались в поту.

Воду давали в недостаточном количестве. В уборную водили два раза в сутки, при этом изощренно издевались над естественными отправлениями людей. Хотя в двери уборной было окошечко, в которое солдат мог следить за человеком, нам было категорически запрещено закрывать дверь. Многие из нас, в том числе и я, не могли оправиться только потому, что на нас смотрели солдаты. Этот зверский приказ об откры-

тых дверях был издан или гомосексуалистом или садистом, для которого вид мук невольников за решеткой составляет потребность зверских наслаждений. Воды в уборной не было во все время пути. Невозможно было помыть даже руки.

Все эти муки нам стараются преподнести как гуманное обращение коммунистов. Хотя я знал от множества людей много примеров «гуманного» коммунистического исправления своих противников, но то, что я увидел своими глазами и испытал на себе, превосходит по своей садистской изощренности все приемы пыток.

До 1953 г. в СССР открыто убивали и истязали миллионы заключенных. Этот период сплошных убийств был признан самими коммунистами. И коммунисты «раскаивались» в своих злодеяниях. После 1953 г. в СССР начался новый период медленных убийств и более изощренных репрессий. Совершенно здоровых людей начали бросать в сумасшедшие дома. Создали нового типа концлагеря и тюрьмы.

Но коммунисты не учли одного, как бы ни умер человек — в сумасшедшем доме, в тюрьме или концлагере — все эти смерти ложатся на совесть коммунистической партии и правительства. Только одно управление Мордовских концлагерей хоронит в месяц в среднем 40 человек. Я лично считал количество изготовленных за месяц гробов. Цифра колебалась от 70 до 30. Явно занижая число жертв, я пришел к выводу, что все 200 управлений МВД СССР только за месяц хоронят около 10 тысяч человек. Начиная с 1953 года по наши дни жертвами «гуманного» коммунистического исправления стали около 2,5 миллионов человек.

С начала 1972 г. органы МВД, с разрешения правительства СССР, ввели личные бирки-номера для заключенных. На бирках написаны фамилия, начальные буквы имени и отчества и номер отряда, в котором находится заключенный. С одной стороны я не знаю, с какой целью делается это, ибо после того, когда сняли номера, бирки выписывались только на умерших, но с другой стороны, я точно знаю, что надо мною издеваются как над рабочей скотиной. В доказательство прикладываю свою бирку-номер, которую я удостоился получить от начальника отряда. С целью издевательства над личностью человека лагерная администрация с 17 по 21 июля 1972 г. «гуманно» надевая наручники, сбивала бороды с таких зак-

люченных как Садо, Чесноков, Платонов, Чердынцев и др.

В знак протеста против насилия властей 31 человек заключенных объявили гоолдовку. На пятые сутки гоолдовки начальник отдела по режиму, вызывая на собеседование голодающих людей, объявил им, что гоолдовки не принимаются лагерной администрацией, и требовал с каждого голодающего выхода на работу и выполнения 100% выработки нормы. Желая показать свою власть над жизнями политических заключенных, лагерная администрация бросила в штрафной изолятор, похожий на волчьи ямы, Чердынцева на 10 суток, Федорова на 8 суток, Чумовских на 5 суток.

Нас, как скотов на пойло, гонят в столовую строем. Взрослых людей исправляют методами, пригодными для домашней скотины, вышедшей из повиновения хозяина: методами клеймения, общей кошары, общего пойла, холодных изоляторов с пониженными пайками, стадного сопровождения.

Взрослых людей лишают нормальной человеческой пищи. Кормят нас ровно столько, сколько нужно для того, чтобы человек не умер. Благодаря этой пище заключенные теряют зрение, умственные способности, нормальное кроветворение организма. Благодаря тому, что коммунисты кормят нас продуктами четвертой категории или, если честно сказать, отбросами уже гнилых продуктов, мы приобретаем такие заболевания, как язва желудка и кишечника, гастрит, рак, туберкулез, хроническое малокровие, радикулит, геморой, ревматизм, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени, почек, мочевого пузыря. Многих из нас коммунисты наградили самой страшной болезнью, какие знает человечество, — это постоянные страдания хроническим голодом. Многим из нас нечем пережевывать даже те помои, которые нам еще дает правительство, т.к. повыпадали зубы, а те зубы из нержавейки, которые разрешило выдавать правительство, приходится беречь, так как за них уплачены деньги.

Вот те далеко не полные результаты коммунистической политики «исправительно-трудовых учреждений». Благодаря этой политике ни один из нас не выходит из советских тюрем, сумасшедших домов и концлагерей физически здоровым человеком.

По какому праву нас, политических заключенных, коммунисты приравнивают к уголовным преступникам, я также не

могу понять, потому что даже в Уголовном Кодексе СССР наши статьи выделены в особом разделе государственных преступлений. Многие из нас являются и проявили себя как политические противники советской политики, поэтому мы должны находиться на определенном статусе политических заключенных. Советское правительство, обманывая мировое общественное мнение, фальсифицируя внутренние политические движения и инкриминируя их как уголовные преступления, обманывает только себя, ибо на сегодняшний день политическими противниками коммунистической политики практически являются все народы СССР. И хотя все государство в целом представляет собой огромный концлагерь, границы которого стерегутся не от внешних врагов, а от внутренних политических противников, стремящихся уйти от произвола надзирателей-коммунистов, нас, как особо опасных противников коммунистического режима, собрали в специальные концлагеря для того, чтобы физически и духовно уродовать или просто уничтожать как непокорных.

Весь этот произвол, воздвигая на пьедестал «справедливой борьбы с врагами народа», нам проподносят как гуманную политику КПСС. Пропагандируя свои социалистические законы, сами законодатели нарушают их. Закон о помиловании политических заключенных ни разу не был выполнен честно и точно самим Президиумом Верховного Совета СССР, потому что те люди, которые были помилованы при мне, все без исключения сотрудничали с оперчастью и органами КГБ. Мне лично представители органов КГБ также предлагали свободу за сотрудничество. Когда я отказался от подлой свободы и подлой торговли ею, органы КГБ установили за мной постоянную слежку через своих осведомителей-заключенных и с их слов и докладов характеризовали меня Политотделу МВД. Когда я отсидел половину своего семилетнего срока концлагерей, я, согласно закону, отправил правительству СССР заявление о моем помиловании. Самим заявлением я уничтожил все правительственные лазейки демагогических законов и инструкций к ним, благодаря которым правительство должно было признать мое заявление ложным, руководствуясь при определении моей личности из характеризующих материалов органов КГБ, лагерной администрации и политотдела МВД. Но юридический отдел Президиума Верховного Совета СССР, просмотрев при-

сланные соответствующими органами материалы, которые были ложны со стороны фактов и истины, со стороны идеи и духа, истинность которых я не отрицал ни на следствии, ни на суде и ни в заявлении о помиловании, все-таки признал это заявление ложным, отклонив его удовлетворение. Благодаря этому факту я лично убедился, что ложь, клевета и подлость процветают не только в среде коммунистов-функционеров, но и в правительственные кругах.

19 мая 1972 г. я послал в Президиум Верховного Совета СССР заявление о выводе меня из гражданства СССР, давая при этом мотивы моего требования. Но до сих пор правительство не удосужилось дать мне какой-либо ответ. Поэтому, исходя из всех описанных мною фактов, личного опыта, общения с «народным правительством» СССР, я вынужден обратиться через ООН непосредственно к мировой общественности, ко всем отцам христианских церквей и ко всем христианам мира за помощью в деле спасения и сохранения жизней всех советских политических заключенных и граждан СССР, имеющих совесть, честь и свою личность, против чего коммунисты борются, не покладая рук, спасения и защиты всех верующих людей, разрушаемой из дня в день Русской Православной Церкви, Греко-католической Церкви, Автокефальной Украинской Православной Церкви и всех институтов других религий и вероисповеданий.

Обращаясь ко всему здравомыслящему человечеству, я прошу его единым голосом потребовать от правительства СССР:

- 1. Немедленного освобождения всех политических заключенных, независимо от их вероисповедания, национальности и мировоззрения.
- 2. Предоставления права выезда *любому* человеку, изъявившему свое желание по каким-либо причинам покинуть пределы СССР.
- 3. Немедленного установления контроля со стороны Советов над деятельностью КПСС, с лишением права доминирования этой организации по отношению ко всем остальным организациям, вынужденным по этой причине скрываться в подполье.
- 4. Немедленного предоставления права на легальную деятельность любой организации или партии.
- 5. Немедленного предоставления действительного права на выход из состава СССР любой республики СССР.
- 6. Немед-

ленного предоставления свободы деятельности всех Христианских церквей и других религиозных институтов. 7. Немедленного предоставления права любому гражданину СССР на выход из гражданства СССР.

31/VII-72 г.

С глубоким почтением ко всем людям мира
Григорьев, Виктор Евгеньевич.
СССР, Пермская область, Чусовской р-н,
пос. Кучино, учреждение ВС 389/36.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

СОЛЖЕНИЦЫН В СТОКГОЛЬМЕ

Приезд Солженицына в Стокгольм был сенсационным, но сенсация эта носила благородный характер и вызвали ее острый интерес и преклонение. Уже на вокзале, в ожидании поезда, собралась толпа народа.

После прибытия, Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна осматривали Стокгольм. Переводчик Солженицына однако говорил, что писатель даже и в шведской столице продолжал работать над основными своими рукописями.

10 декабря 1974 года — знаменательный день вручения Нобелевских премий. Семьдесят третье Нобелевское торжество. Около двух тысяч человек до отказа наполнили Концертный дом. Зал блестит: фраки мужчин, всех цветов нарядные туалеты женщин. В шестом ряду партера Наталья Дмитриевна Солженицына, простая, красивая,держанная; на ней голубое платье, в руках роза на длинном стебле.

За несколько минут до начала церемонии наступает абсолютная тишина. Ее прерывает торжественный королевский марш. На подиум выходит и занимает почетное место молодой, стройный король и члены королевской семьи. Начинается выход лауреатов. В этом году он особенно торжественный. Идут парами, непринужденно, но строго по регламенту. Внимание в зале доходит до предела, когда

появляется Солженицын, высокий, во фраке, со свежим загаром на лице. В памяти всплывает каторжная стеганка, изнуренное лицо, месяцами не заживающие руки.

Приступают к церемонии вручения дипломов. Лауреатов — десять, одинадцатый — Александр Исаевич. Каждую группу ученых представляет профессор их специальности. Очередь доходит до литераторов. Доктор филологических наук Карл Гиров называет Солженицына. Спокойно сидевшие до того и чинно аплодировавшие люди взволнованы. Словно ветер прошел по залу. И ливень аплодисментов; аплодировали еще и еще. Оркестр исполняет увертюру к «Руслану и Людмиле».

После торжественной части лауреаты в лимузинах, приглашенные в специальных автобусах едут в ратушу, на обед Нобелевского фонда. Народа много, обед сервирован не в золотом, а в синем зале, огромном, высоком, со стенами из необлицованного кирпича, с гроздями светильников под потолком. От галереи хора с двух сторон спускается великолепная мраморная лестница, на ней не утихает движение: то сходят, играя, музыканты, то, ровными рядами, студенческий мужской хор, спевший на русском языке «Метелицу», то сбегают официанты, балансируя над головой подносами с разноцветным мороженым. Эффектно пронесли вниз шведские стяги.

Обед окончен. Стоя на нижних ступеньках лестницы, лауреаты произносили речи.

Солженицын говорил, что Шведская Академия ни с кем из лауреатов не имела столько хлопот, как с ним. Четыре года возил он с собой трехминутную речь. Когда, преследуемый, собирался он ехать на Нобелевские торжества в 1970 году, ему не могло хватить ни бумаги, ни дыхания, чтобы сказать все, что хотелось. Для Шведской Академии был большой риск, что она присудила премию ему, тогда в сущности молодому еще писателю, когда была опубликована лишь малая часть его книг. Он сердечно благодарит Академию за то, что своим выбором в 1970 году она чрезвычайно поддержала его работу писателя.

В среду, 11 декабря, Солженицын посетил 86-летнюю больную мать Рауля Валленберга, о котором он говорил на своей пресс-конференции. Валленберг — шведский дипломат, спасший во время войны жизнь многим евреям, был схвачен СМЕРШЕМ в 1944 году в Будапеште и увезен в Советский Союз. По сведениям, данным советским правительством, он умер в тюрьме на Лубянке в 1947 году, но многие из бывших заключенных, попав на Запад, сообщили, что встречали Валленберга, в разных тюрьмах и лагерях, много позднее. Последний раз его видели в лагере в 1970 году.

Пресс-конференция Солженицына состоялась в Зеркальном зале Гранд-отеля. Собралось несколько сот журналистов, из многих стран.

Проходила она не совсем обычно: Солженицын сначала собрал вопросы, систематизировал их и только потом, после сорока минут работы над ними, стал отвечать.

Начало конференции было испорчено неприятным случаем. Солженицын приветствовал журналистов широким и радостным жестом, — в этот момент с высоты пяти метров сорвался экран, с тяжелой рейкой внизу. Он пролетел в полуимetre от головы писателя и ударился о микрофоны. Присутствующие заволновались, но увидев, что Солженицын не пострадал, отнесли происшествие к случайности. Вечером газета «Экспресс» сообщила, что один из фотографов по ошибке развязал шнур, державший экран под потолком.

Говоря о Валленберге, Солженицын сказал, что Валленбергу теперь 62 года: 29 лет он провел в советских тюрьмах и лагерях. Надо торопиться, — Солженицын призвал общественность всего мира выступить в защиту Валленберга. Он напомнил, что в Советском Союзе есть лагеря и тюрьмы, где десятилетиями томятся тысячи узников. После отбытия одного срока, им дают новый срок, причем многие сидят без фамилий, под номерами, или под чужими фамилиями. О них никто не знает, — в то же время на Западе и в третьем мире жизнь политических заключенных известна до малейших подробностей. Поэтому Солженицын критиковал работу организации «Международная амнистия», которая одинаково подходит к заключенным на Западе, на Востоке и в третьем мире, тогда как положение их и судьба резко различны.

На вопрос о пригодности для России демократии западного типа Солженицын ответил, что его «Письмо вождям» на Западе было исключительно неверно понято: он никогда не заявлял о непригодности демократии для России. Он лишь считает, что Россия сейчас еще менее готова к ней, чем в 1917 году, когда у страны был 12-летний опыт парламентаризма. Переход к демократии должен происходить при наличии сильной власти, иначе может начаться межнациональная война, которая смоет демократию в один миг.

Говоря о социализме, Солженицын заметил, что социализм всегда связан с террором. Уничтожение миллионов людей в Советском Союзе приписывали «дурному характеру» Сталина, — но основоположником террора в России был Ленин. Идеи террора содержатся в сочинениях Маркса.

Писатель считает положительным фактом предоставление возможности выезда из СССР 60.000 евреям, но люди должны быть свободны дома. Солженицын не приемлет революций: он предлагает нравственную революцию, самосовершенствование. Так, при любых условиях говорить надо только правду.

Солженицын подверг резкой критике западных журналистов за их поведение с советскими гражданами в СССР: нередко они обра-

щаются в Москве, на улицах, к прохожим с вопросами политического характера, — люди испуганно шарахаются от них, иногда бормоча что-то о хорошей жизни. Иной раз журналисты, находясь в полной безопасности, звонят с Запада по первому попавшемуся телефонному номеру, — слушающий в Москве приходит в смятение и бросает трубку. Чтобы узнать что-то, надо быть в Советском Союзе, самому рисковать и говорить лишь с теми, кто тоже готов к риску. Такие есть. Одна женщина например позвонила из Советского Союза в иностранное пресс-бюро, — вскоре она страшно закричала, разговор прервался, — факт этот не нашел никакого отражения в западной прессе.

Затаив дыхание, с огромным интересом слушали журналисты выступление Солженицына на пресс-конференции, которая продолжалась четыре часа. Подкупали и его обаятельность, исключительно богатая и живая мимика. Твердая уверенность в своей правоте сочетается у него со скромностью. Умение живо и искренне печалиться, гневаться, гордиться и смеяться — все открыто и непосредственно отражается у него на лице.

Во время недельного пребывания писателя в Стокгольме были и некоторые шероховатости. Была небольшая прокоммунистическая демонстрация против него; часть шведских журналистов наверно почувствовала себя обиженной, что отразилось в некоторых газетных отчетах и статьях. Но все это было комариными укусами, да и они были даны с западным чувством меры и заслонить огромное внимание и уважение к писателю не могли.

В пятницу 13 декабря, утром, Солженицыны покинули Стокгольм. Их триумфальное пребывание в шведской столице, кстати, совпало с днем рождения Александра Исаевича: 10 декабря, в день Нобелевских торжеств, ему исполнилось 56 лет.

Стокгольм, 1974

Ольга Иртышева

Отдел библиографии переносится в кн. 119-ю «Н. Ж.» РЕД.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ, Л. РЖЕВСКОГО

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1975 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена на 1975 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков

**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

**THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025**

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

**Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня**
